

А. СПЕШИЛОВ

Бурда
КМ

ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО

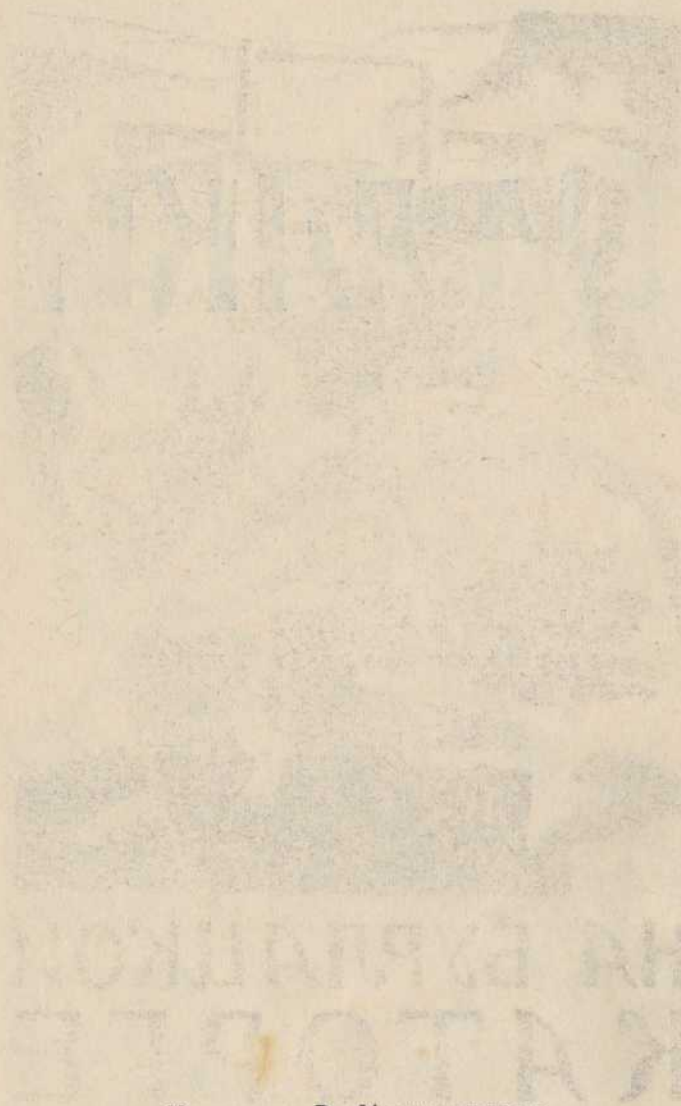


АЛЕКСАНДР СПЕШИЛОВ

БУРЛАКИ

ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1967

КНИГА ПЕРВАЯ



Художник Р. Исмагилов

КНИГА ПЕРВАЯ



НА БУРЛАЦКОЙ КАТОРГЕ

ЧУЖАЯ СТОРОНА

1

— Сегодня приехал отец с Печоры.

К нам в избушку, на край бурлацкого поселка, в обычное время даже нищие не заглядывали, а тут весь день народ. Пришли старые товарищи отца — речные ветераны, грыжные от купеческих штурвалов. Ребята с утра разнесли весть по всему бурлацкому увалу:

— Никола Большоголовый приехал. На побывку...

Нас, братьев и сестер, шестеро. Мне, старшему, четырнадцать, младшей сестренке Сютке два года. Целая лесенка.

На улице весенняя теплынь. Ребята играют в бабки на пригорках, а нас мать никак не может вытурить на улицу. Мы забралась на полати и с открытыми ртами слушаем разговоры старших. Соседи похваляют нас:

— Ну и помощники растут у тебя, Николай Иванович. Хорошие! Старший-то! Женить впору. Надо бы его уже того, на подножный корм — на самостоятельное житье. Поди, уж думаешь об этом, Николай Иванович?

Отец стал искать глазами меня. Я спрятал голову за выступ печной трубы.

— Верно! Работник я один, а их у меня, погляди, какая команда.

— То-то и оно. Да и Сашка у тебя — оторви ухо с глазом. Бурлак выйдет не хуже Стеньки Разина.

К вечеру бурлаки опростали большую корчагу браги. Отец захмелел. Шатаясь, подошел он к полатам и помянул меня корявым пальцем:

— Сашка! Слезай давай. Ты думаешь что? Айда бурлачить, полундра. Больше я тебе не поилец, не кормилец. Понятно?

— Да ты чего, Николай? — заступилась за меня бабушка Якимовна. — Паренек еще не нагулялся, поди. Какой он бурлак? Пусть это лето дома поживет. Успеет еще горя хлебнуть на чужой сторонушке.

— Замолчи, старуха! А ежели вдруг якорь отдам, робить не замогу, тогда что? Всем христарадничать придется.

Мать дрожащей рукой поставила на стол кружку и заплакала.

— Ты чего, Анна, реवेशь? Мало тебе, что ли, помощников останется?

— Хоть который палец отрежь, все равно больно, — почти простонала мать.

— Ванюха растет, — сказал отец примиряюще. — То же скоро матросом станет. Так, Ванька?

— Не хоч. Мамка плачет, — ответил пятилетний Ваня.

Отец стукнул кулаком по столу:

— Молчок! Кто здесь хозяин? Я! На то вы и сыновья, чтобы отцу быть подпорой... Отдать чалку! И весь разговор...

На следующий день мне собирали первую бурлацкую котомку. В холстяной мешок положили нитки, дратву, иголки, сухари-подорожники, а поверх всего каравай хлеба для матушки-реки. По бурлацкому обычаю я должен буду бросить его в Каму, чтобы она дала мне счастье и удачу.

Отец написал письмо знакомому водоливу и наказывал:

— Будешь проситься на службу, поклонись: я к вашей милости. Понятно? Будь они прокляты! Не связывайся со всякой шпаной. Если человек на вид добрый да ласковый, а на самом деле пьет да ворует — это худой человек. Дружбу с тем заводи, кто самостоятельный, сам себя в обиду не дает, у кого нутро хорошее, рабочее. У того учись. Настоящего бурлака сердитого не бойся... Ты на меня погляди. Я сам девяти лет ушел из дома. Хватит! Погнул спину на казну да на купца... Сегодня на вечернем пароходе и выедешь.

После обеда я побежал в деревню проститься с ребя-

тами. Панька Рогожников, с которым мы вместе и рыбу удили и огороды опустошали, подарил мне свой самый лучший самострел.

— Завидно даже. Ты, Сашка, как большой, бурлачить идешь... А я...

— Ничего, Панька, на будущее лето сам пойдешь. Вместе, может, бурлачить будем, на одном пароходе. Я, как поступлю куда, тебе письмо напишу, обязательно.

Вечером я отправился на пристань в село Строганово. Провожала меня вся семья, дальше всех бабушка Якимовна. До дальнего лога дошла.

— Прощай, внучек. Не видать уж мне будет тебя. Стара я стала. — Сунула мне в руку гривенник на гостинцы и, не оглядываясь, поплелась обратно по зеленой меже.

Долго я глядел на бабушку Якимовну, на соломенные гумна, на деревню. Хотелось сбросить с плеч бурлацкую котомку, догнать бабушку и никуда не уезжать. Ребят жалко, братишек, сестренок, Ванюшку-крестника.

Хотелось реветь.

2

Через несколько дней я приехал на пароходе в Пермь, а из Перми, по совету пристанских матросов, отправился пешком в Королёвский затон — верст восемнадцать от города. Здесь несколько лет подряд зимовал отец, а мы из поселка к нему в гости ездили. Но зимой в затоне была тишина, и людей редко увидишь. Только сторож ходит с колотушкой.

Теперь, весной — совсем другое дело. Еще на пристани меня оглушил скрежет черпаков и цепей: работала землечерпательная машина. Через ровные промежутки времени машина стихала, и тогда раздавался густой бас парового гудка: с землечерпалки вызывали пароход за шаландой, наполненной свежечерпанным речным грунтом.

Наглядевшись на страшную машину, я пошел вдоль затона. Крутые глинистые берега его были завалены снастями, лодками, якорями, лотами, старым железом, разным судовым хламом. На пригорке лежал вросший в землю огромный паровой котел.

Недалеко от устья затона стояла на клетках черная баржа. Вокруг нее, под днищем, на лесах, на палубе копошился народ.

На воде плавало бесчисленное множество лодок, завозен, брандвахт, мониторов и других деревянных «посудин».

Маляры красили каюты. Матросы грузили такелаж. Раздавалась потогонная «Дубинушка».

На низком месте расположились казармы — зимовки бурлаков. Отец всю жизнь прожил летом на судах, а зимой — в таких зимовках. Неужели и мне придется? Окна в зимовках узкие, как щели, в ширину баржевой доски. Полы земляные. Около стен нары в три этажа. Большая вода каждую весну заливает эти казармы, оставляя сырость на лето, осень и на всю зиму. Кое-где выкопаны землянки. Живут в них бурлаки по поговорке «не теса ны стенки, да свой уголок».

Разный был народ в затоне. Слышался и плавный говор нижегородца и чоканье вятича; энергичная речь татарина перемешивалась с говором чувашей. Здесь можно было встретить и крестьянина-отходника и настоящего бурлака-зимогора, не имеющего ни дому, ни лому, а одни только рабочие руки да рваные брезентовые штаны. В затоне работали и пермяки, и вотяки, и люди с Кавказа в тяжелых меховых папахах. И у всех на ногах лапти: лыковые, берестяные, с пермяцкой подковыркой.

Деревенские девки, работающие на промывке завозен, сердились, когда проходившие мимо рабочие заигрывали с ними.

— Акулина! Повыше юбку подоткни, не то подмокнешь...

— Иди ты, собачья морда!..

Я искал контору затона. Но сколько ни спрашивал, где она, эта контора, мне никто ответа не давал. Огрызались только:

— Посторонись, сопляк!

— Чего, кикимора, под ногами путаешься?

Я робко пробирался по затону и ушел бы обратно в Пермь, если бы неожиданно не остановил меня ласковый оклик:

— Молодец, заблудился, что ли?

Передо мной стоял седенький старичок в пиджаке со светлыми пуговками.

— Мне контору надо, дяденька.

Старичок расхохотался. Трясущимися руками он вытащил из кармана берестяную коробочку-тавлинку с табак, понюхал, чихнул и с усмешкой проговорил:

— Дяденька? Да какой я тебе дяденька, я — бакенщик Петр Казаковцев. Самый последний человек... Контору, говоришь, надо, племянничек? Ты чей?

Я рассказал о себе.

— Говоришь, Николая Ховрина наследник? Большеголового? Знаю. Мы с ним вместе в Сибири на «Ретвизане» бурлачили. Дружки были. Знаю Николая Ховрина. Что он теперь подельвает?.. Айда поговорим. — И мелкими шажками Казаковцев засеменял по берегу Камы, а я за ним...

Будка Казаковцева стояла недалеко от затона на берегу, поросшем черемухой. От нее к приплеску спускалась аккуратная лесенка. На воде две лодки. Одна, с белыми набоями, — казенная, другая — своя. Рядом с будкой полосатый шест-мачта, знак поста бакенщика.

На полянке, на четырех колях, стоял самодельный стол. Да еще две колоды вместо стульев. Поодаль большое пепелище костра.

Мы вошли в будку. Четыре шага вдоль да три поперек — вот и все жилье. Стены оклеены светлыми обоями. На полу — ни соринки. Чугунная печь, прослужившая, верно, не один десяток лет, выглядела совсем новой. У стены топчан — это и сиденье и кровать для старика. Над топчаном маленький шкаф. На самом видном месте, в красном углу, висит белоснежный спасательный круг.

Я снял шапку, но в избушке икон не было. Бакенщик, заметив мое удивление, сказал:

— Иконы? Есть они. В ларе лежат. Вешаю, когда начальство приезжает. Уедет начальство, опять в ларь прячу. Есть иконы. Они казенные, в инвентарной ведомости записаны. А мне они ни к чему. Есть, есть иконы...

Петр Николаевич угостил меня чаем и рассказал о своем незабываемом горе:

— Сын был у меня — Андрюшка. Утонул он на реке на Печоре. Андрюшка сынок был. Веди мы караван в низа. Погодка стояла дождливая. Побежал парень по рулю на другую баржу... Все ходили — ничего, а Андрюшка побежал и свалился. Пока пароход останавливали, так уже версты три отмахали... Искали его — не на-

шли... Я водоливом служил. С той-то поры много было горя пережито, много вина выпито. Не пью теперича, а горе осталось... Ты, вот, походишь на моего Андриюшку. Такой же он был молодец... Нету его больше у меня. Утонул Андриюшенька на реке на Печоре, милый сын... Ты у меня и ночуй. Будем вместе жить. Старый да малый...

До слез разжалобил меня старик. Я сразу полюбил его, как родного. И странно — его горький рассказ был для меня первой лаской на чужой стороне.

Утром хозяин объяснил мне, как найти контору затона, и я живо нашел ее. Не в пример бурлацким казармам, контора стояла в лесочке на высоком месте, да еще на сваях, хотя видно было, что ее никогда не топило.

Поднявшись по крыльцу, я осторожно и боязливо открыл дверь. Меня встретил окрик:

— Чего надо?!

За столом сидел огромный дядя в одной нижней рубахе. Из-под носа свисали рыжие усы, на голове большая лысина.

— Чего уставился?

— Я к вашей милости, насчет службы.

— Паспорт есть? — Я подал паспорт. — Так. Александр, значит, фамилия Ховрин. Сын солдата. От роду четырнадцать лет... Писать умеешь?

— Грамотный.

Начальник сунул мой паспорт в ящик стола и крикнул в соседнюю комнату:

— Сидор!

Вошел рассыльный.

— Отведи этого паренька к Юшкову. Ему, кажись, табельщик нужен.

Повел меня Сидор через весь затон. Снова резал уши скрежет землечерпалки, да так, что больно не только ушам, но и зубам. Неистовый шум кружил голову. А мы все шли и шли. Наконец, добрались до большого сарая. Вокруг пыль столбом. Здесь теребили паклю для пробивки судов. Встретил нас сам Юшков — подрядчик.

— Ага! Углана приволок. Давай его сюды... Откуда?

Сидор доложил, что меня послали из конторы и велели сказать, что писать умею.

— Ага! Писарь. А ну, повернись!

Юшков так сжал мне локоть и повернул кругом, что у меня после этого три дня рука болела.

— Штаны трековые. На неделю не хватит. Все на хозяйское надеется... Вахромей! Объяви парню его должность... А ты, писарь, смотри у меня, не баловаться... — Хозяин скрылся в сарае. Оттуда высунулся Вахромей и поманил меня пальцем.

Вахромею лет под тридцать. Лицо бабье — ни усов, ни бороды. Одет в холстину, на ногах донельзя истрепанные лапти, а на голове форменная фуражка с серебряными топором и якорем. Фуражка линяла, и по лицу Вахромея текли грязные зеленые ручейки. Он положил мне руку на плечо.

— Такое твоё дело, — сказал Вахромей. — Сегодня гуляй, а завтра будешь паклю тереть. Ногти остриги, не то до крови обломаешь. Еще будешь вести табель, записывать, кто робил, кто не робил. А теперь айда!

— Жалованье сколько положите? — осмелился я спросить Вахромея.

— Такое же, как и всем зимогорам. Тебе разве не говорили? Двадцать пять копеек поденщина, на своих харчах и на своей фатере. Да пять копеек за табель. Завтра, смотри, приходи, а то твой документ в волость пошлют из конторы и уведут по этапу обратно к тятке-мамке, да еще и выстегают... Ну, топай отсюда. Мне некогда. До завтра, господин писарь.

До вечера я протолкался в затоне. Разыскал бакалейную лавку, чтобы купить кренделей. Меня заинтересовала вывеска: «Торговля протчими бакалейными сесными припасами Загидуллина». Какой-то шутник зачеркнул фамилию торговца и жирно смолой написал: «...торговля Агафурова». Агафуров — это известный на Каме купец-миллионер. Его фамилия на жалкой затонской лавчонке невольно вызывала смех. И самого Загидуллина бурлаки прозвали Агафуровым, но он не обижался. Когда я вошел в лавочку, кто-то из покупателей спросил торговца:

— Как дела, господин Агафуров?

Загидуллин ответил:

— У Агафурова дела хорош. День торгуем, ночь воруем, год тюрьма сидим.

Когда я вернулся в будку, Казаковцев готовился зажигать бакены. Я напросился помочь ему. Мы взяли

фонари и сели в лодку. Белый бакен зажгли на гриве затона, красный — у правого берега. Поплыли обратно. Я сидел «в гребях», а старый бакенщик едва управлялся с кормовым веслом — так он утомился.

— Стара стала — слаба стала, — шутил он над собой. — Давно ли ты, Петр друг Николаич, один барку на быстроводье удерживал! Бывало — плывем... Надо пристать на ночевую, водолив кричит: «Петька! На берег с чалкой». А Петька и рад. Чалку в зубы. Перемахнешь с борта на яр... с чалкой перемахнешь. Упрешься ногами в землю. Кнеки на барке трещат. Травят чалку, дым идет от трения... дым, а ты стоишь, хоть бы хны. Так барка и остановится... По двадцати пудов в трюм носил. Ох-хо-хо! Был конь, да уезжен...

Казаковцев разбудил меня на восходе солнца. Он успел уже снять с бакенов фонари. Приготовил чай.

— Давай, Лександрушко, управляйся живее. Семен Юшков не любит, когда работнички на работу опаздывают. Не любит он.

Выпил я кружку чаю, сменил свои «трековые» штаны на старые брезентовые, которые дал мне Петр Николаевич, и, путаясь в длинных штанинах, зашагал к затону.

За рекой полыхало солнце. От заречного леса падали синие тени.

Вдоль реки летели дикие гуси. Вдруг они один за другим нырнули в солнечный луч и исчезли из глаз.

В тихой речной заводи плескалась рыба, рассыпаясь дождем от щуки, стоявшей в засаде, в тени нависших над рекою кустов.

Вот и затон. На железных предметах высыхала роса. Затон начинал свою трудовую жизнь.

У сарая меня встретил приказчик Вахромей.

— Мое почтение, тятькин-мамкин! Первым делом беги к Агафуру. Четыре шкалика. Понял? Велел, мол, приказчик Вахромей... Пока черта Сеньки нет... Да бегом... бегом!

Я побежал в лавочку. Торговец в водке отказал. Пусть, дескать, сам господин приказчик придет, он, дескать, уже три рубля должен.

— Вина брал, деньга не давал. Махорка брал, деньга не давал. Без деньга ничего давать не будем, — наотрез отказал торговец.

Пришлось идти обратно.

— Принес?

— Нет. Агафуров не дает. Велел самому приходить. Вахромей вскочил с кучи пакли, на которой сидел, разметал ее пинком.

— Князь, татарская морда! Уйди, углан. Убью! — И, перепрыгивая через паклю и канаты, Вахромей побежал в сторону лавочки.

К сараю подходили работники. Первыми появились молодая высокая женщина в лаптях, в татарской соломенной шляпе, и хромой работник со страшным лицом. Правая сторона лица была в шрамах и без единого волоска. Здороваясь, он снял картуз. На голове волос не было.

Вахромей вернулся из лавочки навеселе и без фуражки. Проходя мимо меня, он скорчил уморительную рожу и подмигнул:

— Молчок, тяткин-мамкин!

Раздались удары железного болта по рельсе. Вахромей скомандовал:

— Ну, золотая рота! Топай за мной. Надо чалку к сараю припереть. Она давно об вас плачет.

Человек двадцать работников взялись за толстый канат.

Работник с уродливым лицом сильным, красивым голосом запел:

Золотая наша рота
Тянет черта из болота.

Артель подхватила:

Эй, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, сама пойдет.
Идет, идет! Бери, пойдет!
Идет, идет! Бери, пойдет!

Канат сильными рывками стал подвигаться к сараю.

Мы хозяина уважим...

Дальше шла ругань. Но никто из артели не вникал в содержание песни. Важно было другое — под песню легче держать ритм в работе. Усилия отдельных людей сливались в единую, мощную силу, и работа спорилась. Я крепко сцепился в канат и изо всех сил рвал его вместе с другими.

Через четверть часа канат лежал у стены сарая. Застучали топоры. Канат изрубили на части. Вахромей крикнул:

— Залога!

Это означало пятиминутный отдых — малый перекур. Все побросали работу. Одни закурили, другие бегом направились в лавочку к Агафурову. Ко мне подошел Вахромей с конторской книгой.

— Видишь, книжка. В ней записаны все зимогоры. Обойдешь, когда работать будут. Ежели человек на месте, ставь одну палочку, а ежели нет его, пиши крест. Понял?

— Понятно.

— То-то. Спрашивай всех: как твоя есть фамилия? Нет кого, возьми да и перекрести в книжке. На и отвяжись... Кончай курить!

Артель не успела еще как следует начать работу, а с каравана уже пришли рабочие за паклей и стали ругаться.

— Лодыри царя небесного...

— Давай, давай! Пошевеливай!

— Отвяжись, худая жись.

Мы не успевали готовить паклю. Вслед за ремонтными рабочими приходили водоливы, подручные.

— Набрали тут богадельщиков, — ругались водоливы. — Срамота одна, а не работа.

— А ты сам потереби! — огрызались теребильщики.

— Я тебе потереблю, сукин кот!

Теребить паклю было нелегко. Прежде всего приходилось развивать на пряди обрубки каната, потом раскручивать каждую прядь, и только после этого начиналось уже самое теребление. Работали вручную. Только один работник, с искалеченным лицом, теребил паклю на «ерше». Это толстая доска с гвоздями, напоминающая щетку. «Ерш» был укреплен на тяжелой колоде. Работник набирал в руку пучок раскрученных прядей и изо всей силы лупил им по железной щетке. Получалась пышная мелкая пакля. Я тоже было попробовал потеребить на «ерше», но у меня ничего не вышло. Не хватало силенки.

В первый же час работы заболели кисти рук. Но отдохнуть было нельзя. То сам Юшков стоял над душой, то подгонял приказчик:

— Робь, парень. Бог да хозяин Сенька чужие труды любят. Думай, что не веревку, а самого господа бога те-ребишь, тогда легче работа пойдет, бурлацкая твоя бого-родица.

Перед полдником я пошел по сараю с табелем. Подошел к работнику на «ерше», спросил, как его зовут. Он с улыбкой ответил мне:

— Андрей Заплатный. Разве не слыхал?

Женщина в соломенной шляпе назвалась Екатериной Паниной. Я отметил их в таблице и подошел к следующе-му работнику. На мой вопрос, как звать, он отвечает:

— Василь Иваныч.

Обращаюсь к его товарищу:

— А твоя как фамилия?

— Василь Иваныч.

— А тебя как зовут?

— Василь Иваныч.

Их четверо, и все Василии Ивановичи! А в таблице сов-сем не было таких имен.

— Может быть, вас в список не записали? Давно ра-ботааете?

Они ответили хором:

— Давно... Третье лето.

Ко мне подошел худой, высокий, черный, как кочегар, рабочий.

— Они чувашаи, — объяснил он мне. — Одним словом, забитые люди. Боятся настоящее имя свое назвать. И ме-сто их самое забиенное...

Он помог мне найти в таблице фамилии чувашей и на-звал себя.

— Кондряков Михайло Егорович.

— Кондряков? — переспросил я. — Не увальский ли?

— С увала. А что?

— Значит, земляки.

— Не может быть, — удивился Кондряков. — Ты от-куда?

— Из Балдина.

— Да ну! Смотри-ка ты, какое дело...

По увалу, в бурлацких поселках, вот уже лет восемь шли разговоры о Михайле Кондрякове. В девятьсот пя-том году кузнец Кондряков сжег на Каме склады графа Строганова. Его поймали и куда-то увезли. Одни говори-ли, что он вернулся и по ночам в своей старой кузнице

деньги кует, другие — что он давно в Сибири сгнил. Разные были слухи.

А я теперь разговариваю с самим Кондряковым. Из детского любопытства я, конечно, был рад этой встрече. Да и сам Кондряков был доволен, что увидел земляка. Я не успевал отвечать на его вопросы.

— Проживаешь где? — спросил он.

— У Казаковцева остановился, у бакенщика.

— У Петра Николаевича? Добрый старик, знаешь ли, только придурковатый. Известный бурлак на всей Каме. Верно, и про Андриюшку рассказывал?

— Говорил.

— Одинокий человек...

У входа в сарай послышался голос Юшкова. Нам пришлось разойтись, и мы условились встретиться в обед у бакенщика.

Я стал продолжать свой обход. В конце сарая, где от пыли слезились глаза, работала молодая женщина. В углу на пакле лежал грудной ребенок. Когда я подошел, ребенок заплакал. Мать, отвечая на мои вопросы, взяла его на руки. В это время незаметно, как кошка, к нам подкрался Семен Юшков.

— Молод еще с бабешками заигрывать. Почему не на деле? — грубо спросил он меня, но, увидев в моих руках табель, свое внимание перенес на работницу.

— Ежели хочешь жрать, убирай, черна немочь, своего выродка или сама с ним убирайся!

— Куда же я с ним денусь, Семен Кузьмич?

— А по мне хоть куда. Ты сюда работать пришла или что? Нянька ты здесь или работница? Долой отсюда! Вшивики...

Мать собрала тряпье, крепко прижала к себе ребенка и со слезами на глазах вышла из сарая. И никто за нее не заступился. Все работали и делали вид, что не замечают, как расправляется подрядчик с несчастной женщиной. Я не выдержал и сказал Юшкову:

— Она ведь ничего плохого не сделала...

— Молчать! — крикнул подрядчик. — Вахромей, запиши штраф углану один рубль... Только потому держу, что писарь, — объяснил Юшков. — А ежели дальше станешь зубоскалить, выброшу, как поганого кутенка.

В перерыв мы с Кондряковым пошли к бакенщику. Петр Николаевич сварил на костре уху из свежей рыбы.

Уха была аппетитная, но у меня от пакли распухли руки и я еле держал деревянную ложку. Кондряков говорил: — Вот она, спешка. Пальцы болят. А почему эта спешка? Знаешь? Можно было раньше тихо да ладно натереть пакли на три весны. Все это потому, видишь ли, что у Юшкова с заведующим затоном Желяевым большие ленты...

— Какие ленты? — спросил я.

— А шахер-махер, обоюдный грабеж... Тянет, например, Желяев до весны. Все сметы пишет на ремонт судов. А как придет весна, сделает подряд Юшкову. Раз дело спешное — к смете надбавка. Глядишь, от подрядчика и будет благодарность. Семен Юшков — не дурак. Набирает на работу разных, знаешь ли, калек да малолетних и дерет с них по десять шкур, а платит... Сколько тебе, Ховрин, поденщина?

— Четвертак.

— Вот-вот. Ты получишь двадцать пять копеек, а Юшков заработает на тебе трешницу да оштрафует на рубль в свою пользу. Вот она — нажива на рабочем хребту.

Я слушал Кондрякова и сердился на Петра Николаевича, который упорно старался перевести речь на другое.

— Если перед Миколой нет дождей, лето всегда будет дождливое. Мокрое будет лето...

— Я за это самое сколько по Сибири страдал, — продолжал говорить Кондряков, не обращая внимания на ворчанье старика.

— Мокрое, ребятушки, нынче будет лето, мокрое...

— Не бойся, старик, не промокнешь. Эх! Крепко сидят у нас на шее эти мизгири... Ну да поживем — увидим...

3

В субботу нам выдали жалованье. Я за неделю получил полтинник — Вахромей вычел у меня штрафные. Свой первый, кровный заработок я отнес Петру Николаевичу. Он действительно был «кровным», потому что у меня на ладонях появились кровавые мозоли, из-под ногтей шла кровь.

В воскресенье я проспал до десяти часов, а когда встал, Казаковцев был уже в форме, заставил и меня почиститься.

— Потому — праздник, — наставлял меня старик. — Может, господа придут кататься на лодке. Все чтобы было в порядочке. Может, придут.

Казаковцев подмел все дорожки, вымыл с мылом казенную лодку, на мачту поднял путейский флаг.

Предположения оправдались. Часов в двенадцать явились господа. Первыми прибежали два гимназиста — племянники Желяева, потом пришел сам начальник затора, техник путей сообщения Желяев — полный господин с пушистыми усами — под руку с барыней. За ними горничная несла две пузатые корзины со снедью.

Казаковцев вытянулся перед начальством.

— С праздничком, ваше благородие, Александр Афанасьевич. Доброго здоровья, Софья Васильевна.

— Здравствуй, — пробурчал Желяев. — Готова лодка?

— Готова, ваше благородие, пожалуйста.

Я помог Петру Николаевичу столкнуть лодку в воду. Первой вошла в нее горничная с корзинами, потом сам Желяев.

— Сонечка, давай руку, — повернулся он к жене.

Барыня охала, ахала, но никак не решалась шагнуть через борт.

— Обождите, Софья Васильевна. Я сейчас досочку приволоку, доску.

Я предупредил Казаковцева. Притащил трап. Один его конец мы приспособили на борт лодки, другой положили на кочку. Желяев подал барыне руку. Она встала на трап, оступилась и одной ногой попала в воду.

— Петр! Ты что наделал? Скотина! — закричал Желяев.

Бакенщик бросился с носовым платком к ногам барыни.

— Прости ты меня, старика, матушка Софья Васильевна. Сейчас ножку обсушу. Я...

Старик не договорил. Желяиха злобно пнула его ботинком прямо в лицо. Желяев выпрыгнул из лодки, резко оттолкнув ее от берега. Одно весло упало в воду. Лодка поплыла. Горничная ухватила за оставшееся весло и неумело стала подгребать к берегу.

Гимназисты хохотали, барыня визжала в истерике.

Петр Николаевич стоял, опустив руки, по лицу его текла кровь. Желяев продолжал кричать:

— Ты, старый козел, попомнишь у меня! Выдумал тоже — «доску приволоку».

Через день Петра Николаевича вызвали в город. Обратно он приехал с другим бакенщиком. Погрузил старик свои пожитки в лодку, простился с нами и отправился вниз по Каме, сам не зная куда.

В тот же день новый бакенщик выгнал меня с квартиры. Я перешел к Михаилу Егоровичу Кондрякову в затон, где он жил в своей собственной землянке.

Однажды вечером над рекой протянули на север запоздавшие журавли.

— Тоже, должно быть, запоздали с ремонтом-то. Поздненько открыли навигацию. Справная птица летит с юга в апреле, а теперича июнь, — пошутил кто-то из рабочих.

— Вот так бы и мне улететь... — мечтала Катя Панина.

— Улетишь. Скоро все улетим, только неизвестно, где сядем, — говорил Андрей Заплатный.

Действительно, работа в сарае подходила к концу. Еще день-другой, и расчет. Уходи, куда знаешь.

Уже многих рабочих Юшков уволил за ненадобностью. Одно за другим вышли из затона отремонтированные суда. Осталось последнее — карчеподъемница, которую должны были отбуксировать в Кай, в верховья Камы. Старшина карчеподъемницы Василий Федорович Сорокин не раз заговаривал с нами, чтобы мы шли к нему в команду. Но работники знали, что это не лучше сарая Семена Юшкова, и не соглашались. В верховьях и от голода намучишься и комары до смерти заедят.

В последние вечера почти все оставшиеся в затоне собирались у землянки Михаила Кондрякова. Как-то раз Андрей Заплатный пришел раньше всех, и я осмелился спросить его:

— Дядя Андрей, почему у тебя такое лицо израненное?

— Как сморчок, моя рожа? Правильно. Только не всегда я такой был, как теперь, друг мой Ховрин. Служил я машинистом на «Ольге». Знаешь, с деревянным корпусом была?

— Маленький был я. Не знаю.

— Ладно, не перебивай, — вдруг обидчиво заявил Заплатный и продолжал уже спокойно: — Кончил я когда-то техническое училище. Всего добился своим умом да горбом сын флотского кочегара. И где я только не служил машинистом и механиком. И на море служил, и на Волге, и на Амур-реке. А потом попал на Каму. Шли в тот год, после японской войны, забастовки. Бурлаки тоже не отставали от мастеровых. У нас на «Ольге» в ту пору команда была дружная... Мы потребовали, чтобы хозяин за погрузку платил нам отдельно. Он отказался. В Перми было дело. Вызвал хозяин грузчиков. А они тоже свои ребята. Мы, говорят, против своих не пойдем. Мы снова к хозяину. А он уперся, как бык в колоду. Мы взяли да и решили уйти в затон. «Отдать носовую! Отдать кормовую! Вперед до полного!..» Шли мы мимо полигона, а тут пушки пробовали. Я на вахте стоял в машинном отделении. Вдруг как ударит. Меня будто кипятком ошпарило. Очнулся в больнице. Вылечили кое-как да в тюрьму посадили. Не бунтуй, значит. С тех пор и рожа у меня на всех чертей похожа, и нога испорчена, и в механики никто не берет. Прозвище мне дали Заплатный. Свою настоящую фамилию я уж забыл давно, а ведь Панин — моя настоящая фамилия. Хотя я и «права» имею, как машинист, а тереблю паклю. Ну, да, кажется, уже и оттербился, — с усмешкой закончил Заплатный свой рассказ.

— Почему оттербился? — спросил я.

— От Вахромья слышал: завтра расчет.

— Что делать-то будем?

— Пойдем к Сорокину. Куда сейчас поступишь? Работы в затоне больше нет. Матросов на пароходы в апреле набрали.

На другой день нам объявили о расчете. Деньги выдавал сам подрядчик. Он прикинулся ласковой лисичкой.

— С богом, братцы. Не поминайте лихом Семена Юшкова. Всякое было. На работе и поругивал кое-кого. Сами знаете — спешка. На будущий год милости просим. Хватит работенки, слава богу, у Семена Юшкова.

На артель Юшков выставил ведро водки. Кондряков от вина отказался:

— Мягко стелешь, Семен Кузьмич, да жестко спать. Юшков сверкнул глазами.

— Вольному — воля... Спасенному — рай.

Василий Федорович Сорокин, кренкий старик лет шестидесяти, с курчавой рыжей бородой, в белой рубахе навывпуск, в жилетке, принимал матросов на свою карчеподъемницу. Меня, как грамотного, Сорокин усадил рядом с собой и заставил записывать людей в книгу. Сам он внимательно рассматривал паспорта и диктовал:

— Пиши: чуваш Василий Иванович косою. Дальше — Василий Иванович молодой. Записал?

— Записал.

— Записывай: чуваш Василий Иванович седой, Василий Иванович могутной...

За чувашей заступился Кондряков:

— Слышь, старшина, у них в паспортах не так записано. Имена и фамилии у всех разные и настоящие.

— Не твое дело, Кондряков. Захочу и тебя запишу: Мишка черный, а захочу, еще и не так запишу... Записывай, Ховрин: Андрей, по прозванью Заплатный. — Сорокин ощерился на Заплатного. — Только давай, Заплатный, уговоримся — медведей в верхах, уж будь другом, не пугай. Страшная у тебя физиогномия... Записал? Панина Катерина, значит, — наш кок... Да, хороша Маша!..

— Да не ваша! — подбоченясь, отрезала Панина.

— Ой, девка, не гляди, что стар, побереги язычок. Живенько прикусить заставлю... А ты, писарь, запиши-ко давай Сорокина Трофима... Для разводу.

— Кто это Сорокин Трофим? — спросил я.

— Внучек мой.

— А где он?

— Не спорь, а пиши. И дело это не твое. Младенец он еще. Не дорос, поди, до матросов. Ему второй годок пошел, дай бог здоровья. — И старшина истово перекрестился.

К столу подошел незнакомый мне человек в старом кожаном бушлате, с лицом, до глаз заросшим бороною.

— Я к твоей милости, Василий Федорович. Прими ты меня вместе с бабой, ради Христа. Куда она без меня. По чужим людям таскаться ей, что ли? Да и я без нее тоже ни то ни се, сам знаешь, Василий Федорович.

— Не могу, Спирия. Баб держать на казенных судах запрещено. Правил таких нету.

— Она поварихой может. Да постирать там.

— Опоздал, Спирия. У меня уж есть такая повариха. Куда твоей жене! Погляди-ко, девка — ягодка.

— Ягодка, да не для твоих зубов, — проворчала Катерина. — Прими уж лучше этого Спиридона с женой, а меня уволь.

Спиридон повернулся к Паниной.

— Что ты, девка! Я не знал, что ты уж в поварихи поступила. На живое место кто же позарится. Да и моя баба — какая она повариха? Ты уж как-нибудь того... — Спиридон встал на колени перед Сорокиным и попросил:

— Василий Федорович, благодетель. Много благодарны мы тебе. Сам знаешь, сколь годов я тебе крыши поправлял. Возьми мою бабу в свое хозяйство. Все она на месте будет.

Сорокин погладил свою рыжую бороду, подумал и сказал:

— Ладно. Встань, Спирия. Посылай жену к нам в деревню. Это самое можно, в деревню если... Пиши, сынок: Спиридон Кошелев... Записал?

— Готово, — ответил я.

Старшина просмотрел список, оглядел свою команду и ласково проговорил:

— Остальные господа, давайте отсюда на берег. Больше матросиков не требуется. Ваканций не будет. Не обессудьте... Есть еще петля, ну да и шея для нее имеется. Старшим матросом у нас будет Пепеляев Вахромей.

По трапу, расталкивая народ, поднялся на судно — легкий на помине — сам старший матрос Вахромей. Он заметно был навеселе.

— Наше вам почтение! Сорок одно с кисточкой, полтора рубля сдачи. Господину волостному старшине!

— Хе-хе-хе! Здесь я не волостной, а старшина карче-подъемницы, — усмехнулся Сорокин.

Заплатный заметил:

— Похож на волостного. Тоже рыжий и с брюхом.

Сорокин побагровел и бросил злобно:

— Чего, чего? Я тебе на плесе, смотри, последние кишки из твоего худого брюха повытрясу. Паспорт-то у меня. Вот где твой паспорт. Что хочу, то и ворочу. Я начальник!

— Видно, что начальник, — с улыбкой пробурчал Заплатный. — Только голос у тебя, как у комара...

— Молчать! Я ведь и кусать умею.

В старые годы, еще когда только начиналось паровое судоходство, по Каме ходил пароход под названием «Близнецы». Это были два отдельных деревянных судна, скрепленных брусьями. На одном стоял паровой котел, на другом — машина, а между ними, в так называемом шалмане, — гребное колесо.

Наша карчеподъемница походила на этих «Близнецов». Тоже два судна, два баркасика, сажен по десять в длину, связанные поперек толстыми бревнами. Над шалманом перекинут сосновый вращающийся вал для подъема карчей. Над валом ферма — два столба с переключиной. На переключине разные тали — «вистоны», цепи, крючья. На одном из «близнецов» — каюта старшины, на другом — кладовая.

Матросы жили на особом судне — брандвахте. Одну ее половину занимала кухня — камбуз, другую — кубрик. Во всю длину кубрика двухэтажные нары. Только в конце помещения стояла отдельная койка для старшего матроса.

Половицы в кубрике прогибались. Из копаней через широкие щели брызгала вода. Пришлось немедленно взяться за откачку. До вечера мы проработали у насоса, выплевывавшего за борт мутную, вонючую воду.

После скупого ужина назначили суточную вахту. Начать вахту пришлось мне.

Старший матрос объяснил мои обязанности. Вахтенный должен колоть дрова, топить печи на кухне и в каюте старшины, мыть полы, швабрить палубу, на ночь поднимать на мачту фонарь, караулить лодки, снасти. Спать вахтенному не полагалось.

Команда устроилась на покой, а я вышел на палубу. Наступила теплая летняя ночь. Тихо. Только где-то в кустах журчит вода. На лугах перекликаются коростели. Через палубу бесшумно проносятся летучие мыши. На высокой мачте тускло маячит фонарь. От всего этого меня стало неудержимо клонить ко сну.

Я уже задремал было на бухте каната, как на брандвахте скрипнула дверь. Ко мне подошел старший матрос с большим обломком кирпича в руке.

— Вахтишь?

— Сам видишь, — ответил я. — А тебе чего надо?

— Ничего не надо. Проверить пришел. Якорь на кор-
ме видишь?

— Вижу.

— Грязный весь, ржавленный. Его, знаешь ли, надо
хорошенько вычистить. Бери кирпич.

Я принял из рук Вахромей кирпич.

— Тебе ночью все равно делать нечего, вот и поскоб-
лись немножечко. Утром погляжу. Якорь иваныч должен
блестеть, как плешь.

Вахромей ушел, а я принялся чистить якорь, нарушая
тишину благодатной ночи противным скрежетом кирпича
о ржавое железо.

В кубрике кто-то выругался по моему адресу. На па-
лубе появился старшина Сорокин.

— В ученье взяли? Так, так, сынок. Учись бурлацко-
му обхождению. Ежели якорь вычистишь да болонь пе-
рекусишь — женим. Ей-богу, женим. На Катьке на Па-
ниной.

Старшина справил нужду и скрылся в своей каюте.
Через некоторое время на палубу вышел Спиридон и за-
говорил ворчливо:

— И ночью покоя нет. Спать — и то не дают. Чего ты
скрипишь, чучело? Брось, говорят тебе.

— Как брось, если Вахромей велел, — возразил я
Спиридону.

— Старшой велел? Значит, так и должно. Против
старшого не пойдешь... Пойду на берег, может, там усну
в спокойе. Ну, скрипи.

Спиридон спустился по трапу на берег. Я продолжал
чистить якорь. То и дело на палубу выглядывали из две-
рей кубрика растревоженные матросы. Одни ругались,
другие, ни слова не говоря, скрывались в кубрике. Пока-
зался Михаил Егорович Кондряков. Он быстро подошел
ко мне и спросил:

— Кто это тебя заставил?

— Старший матрос.

— Так, знаешь ли, это — издевательство. Какой ду-
рак якорья чистит? Дай-ка кирпич. — Я отдал Кондряко-
ву кирпич, он повертел, повертел его и швырнул далеко
за борт со словами: — Морду бить за такие дела.

Кондряков возвратился в кубрик.

Я вымыл руки, лицо и сел на канат. На небе вечер-
няя заря уже сходилась с утренней. Потянул легкий ве-

терок. Запахло свежими травами и медом. Я задремал. Вдруг послышалась ругань:

— Ты очумел, что ли? Почему якорь не чистишь? Я, что ли, за тебя буду спину гнуть? Где кирпич? Бросил, холера! — Вахромей схватил меня за ухо и потащил к якорю.

— До тех пор будешь вахтить, покуда якорь не вычистишь. Кирпич где хошь возьми и чисти, чисти! Что я сказал? А не вычистишь, потычу мордой о лапу, будешь знать, как начальство не слушать.

Я сходил на берег за новым кирпичом и снова стал чистить якорь.

Наступил рассвет. На реке появилась белесая пелена тумана. Заиграла проснувшаяся рыба, запели птицы, а я все еще чистил проклятый якорь. «Музыку» мою прервал вышедший на палубу Андрей Заплатный.

— Кто тут всю ночь скоблится? Кто тебя заставил заниматься таким делом?

— Вахромей. Я не стал было, так он мне чуть ухо не оторвал, — и я показал Заплатному распухшее ухо.

— Сволочь! Бери, вахтенный, швабру — пора палубу мыть. А с Вахромеем я сам поговорю.

Заплатный спустился в кубрик и пошептался с чувшином Максимом могутным. Разбудил еще кое-кого. Подобрались к Вахромее, который спал с лицом праведника. Заплатный заткнул ему рот грязной паклей, потом его прикрутили веревкой к койке. Лежал он, корчил рожи и дико вращал глазами...

Таковы были бурлацкие нравы. Чистка якоря считалась позорным крещением начинающих бурлаков. Над чистильщиками якорей матросы обычно глумились не одну навигацию. Работая в сарае Юшкова, я не раз слышал, как один бурлак говорил другому:

— Помнишь, как ты у Мешкова якорь чистил?

— А тебе на барже в прошлом году сколько банок наставили?

Обиженный лез в драку. Банки позорней чистки якоря.

Сейчас в кубрике карчеподъемницы матросы ставили банки старшему.

— Ты знай, кого заставлять якорь чистить. Спирю бы заставить поскоблится, туды-сюды, а ты над мальчишкой измываешься.

Вахромей пытался что-то возразить Заплатному, но комок пакли был надежно забит в его рот.

Максим оголил Вахромеею живот и намылил зеленым мылом. Андрей Заплатный левой рукой оттягивал кожу на брюхе Вахромей, а ребром ладони правой руки сильно ударял по оттянутому месту. На теле старшего матроса появлялись багровые пятна. Вахромей жмурился от боли, по щеке на грязную подушку стекала слеза.

— Дрожь взяла, холуй хозяйский! — шипел Заплатный. — Если не оставишь парня в покое, полетишь вниз башкой в омут раков давить...

Я стоял в дверях кубрика, и мне было жаль Вахромей. Заплатный, взглянув в мою сторону и заметив жалостливую мину на моем лице, убедительно погрозил кулаком. В это время проснулся Кондряков. Он быстро пробежал к койке старшего матроса и схватил Заплатного за руку.

— Ты, старый товарищ, должен понимать, что не к лицу нам это зверство.

— Клин клином вышибают, — пробурчал Заплатный. Вахромей развязали. Он порывисто схватил руку Кондрякова, поцеловал ее и заплакал.

Кондряков отер руку о бушлат и бросил ему:

— Гадина ползучая...

Взошло солнце. Я ударил в колокол. Один за другим выходили матросы из кубрика, оплескивали лица холодной водой и садились на палубе за стол, на котором уже стояли два медных чайника.

Никто ни словом не обмолвился о ночных происшествиях. И только когда стали выходить из-за стола, Заплатный сделал жест, как бы собираясь ударить старшего матроса. Вахромей смешно, по-бабьи, скрестил руки на животе. Грянул хохот. Больше всех смеялся сам Вахромей.

На карчеподъемницу нагрянула комиссия: начальник отделения Казанского округа путей сообщения инженер Зубайло-Милославский, начальник Верхнекамского технического училища Великанов, заведующий затоном Желяев и практикант Попов. Все в узких брючках в обтяжку, в белых кителях, в форменных фуражках с белыми околышами.

Комиссия осмотрела суда. Заглянули начальники в трюм, в каюты, брезгливо потрогали снасти. Велика-

нов — коротконогий толстяк с бородкой клинышком, — пыхтя и охая, забрался для чего-то на крышу брандвахты и пошатал печную трубу. Потом Зубайло-Милославский потребовал список матросов, и началась перекличка.

— Заплатный Андрей! — выкрикивал Сорокин.

— Я!

— Кондряков Михаил!

— Есть!

— Панина Екатерина!

— Я буду...

— Сорокин Трофим!

«Как, — подумал я, — будет выкручиваться старшина за своего двухлетнего внука?»

— Здесь я! — басом ответил Вахромей Пепеляев...

Комиссия составила акт, по которому выходило, что команда налицо, карчеподъемница готова к буксировке.

Вечером в затон тихим ходом вошел буксирный пароход «Орел» и пристал к нашим посудинам.

— Здорово, ребята! — поздоровался с нами капитан «Орла». — Доброго здоровья, Василий Федорович... У меня приказ взять тебя на буксир до самого Кая. Одно плохо — вода велика. Недели две прошлепаем, не меньше.

Мы выкачали якоря, вытянули с берега чалки.

— Ну, с богом...

Пароход взял нас «под крыло» и вывел из затона. На плесе отошел от карчеподъемницы и уже на вытянутом буксире потянул ее вверх по реке.

Раздался свисток на молитву. На пароходе закрестились лоцман, капитан, а у нас — Сорокин. Стоя на коленях, молился Спирия Кошелев, за его спиной гримасничал старший матрос, а нас разбирал смех. Сорокин положил последний поклон, пригрозил:

— В тартарары вас, нехристи окаянные...

На корме у нас сидел новый вахтенный чувашин Максим и вслух думал о своей родине:

— Васька-Сурск хорош, а город Чуксар всем городам город. Хлеба-ту, лыка-ту, мочала-ту, лаптей-ту, церквей-ту, едри твою мать!

На носу брандвахты собрались матросы. Спиридон Кошелев вытащил старую, с заплатанными мехами гармошку. Заиграл «Стеньку Разина». Андрей Заплатный затынул:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...

Песню подхватил хор. Пели так, что возникал перед глазами, как живой, сам Степан Разин. Так и казалось, что из-за острова вот-вот выплывут острогрудые «Стеньки Разина челны».

Пели с воодушевлением, страстно, забывая все — и работу, и нужду, и самого Сорокина с его внуком и карчеподъемницей. Так могли петь только арестанты да бурлаки.

Наш караван плыл на север, в приуральскую тайгу.

6

В буксировке время проходило медленно и тоскливо. Вставали мы по привычке в пять часов утра и до обеда слонялись по палубе. В двенадцать часов кок Катя Панина и вахтенный матрос выносили из кухни железный таз с варевом из солонины. Мы чинно рассаживались вокруг стола и кто откуда доставали свои ложки. Старший матрос ударял ложкой по краю таза, и все набрасывались на еду. Не успеешь оглянуться, как в посудине остается лишь жижа без единого кусочка мяса.

Я со своей деревенской ложкой первое время жил впроголодь. Катя Панина, заметив это, подарила мне большую бурлацкую ложку. Я научился сразу вытаскивать по три куска мяса. Раз, не дождавшись сигнала старшего, я полез за мясом и получил такой удар ложкой по лбу, что не сразу очухался. Это Катерина Панина соблюдала в своем кухонном деле справедливые бурлацкие порядки.

В конце обеда выносились на стол кости. Блюдо это считалось лакомством. Кости ели по очереди. Получивший кости подолгу сидел на палубе, выковыривая мозги из желтых мослов. Некоторым доставались одни ребра. Ни жиру, ни мяса. Над такими подтрунивали:

— Не мясо ешь, а кости гложешь.

Нам делать было нечего, а Спиридону Кошелеву дня не хватало. Он с утра до вечера портняжил. Из старых штанов шил новые фуражки. Вскоре вся команда стала щеголять в невообразимых головных уборах. Коку Кошелев из старого казенного полотенца сшил настоящий по-

варской колпак. Свою соломенную шляпу Катя выбросила «воронам на гнездо».

В одном месте пароход пристал к берегу грузить дрова. С каким удовольствием мы вышли на твердую землю! Пароходским помогли и свои дровяные запасы пополнили.

Пока мы таскали дрова, Вахромей с двумя матросами отправился на лодке за Каму, где маячили балаганы рыбаков, и привез оттуда пуда два свежей рыбы.

— На какие вши купил? — спросил Сорокин Вахромея.

— Я, господин старшина, не хуже тебя умею в мутной водичке рыбку ловить.

— Отобрал, что ли?

— Нет! Сами дали. Припугнул только, что на нашем пароходе большие начальники. Нельзя не угостить. Иначе забуксируют все невода и пропал рыбацкий промысел. Поверили. На мой век дураков хватит...

— Ну и ну! — удивился Сорокин. — Катька! Забирай рыбу, вари уху!

Панина выбрала самолучшую рыбку и унесла на кухню. За ней увязался Спиридон Кошелев. Через минуту мы услышали ожесточенный спор. Вдруг на палубу выбегает Кошелев с большим судаком, которого он держал обеими руками за красные жабры.

— Робя! Что за рыба? Сроду не видал.

Мне захотелось пошутить над Спиридоном. Я сказал:

— Не видишь разве? Ерш.

— А ведь походит на ерша, — обрадованно проговорил Спирия и снова отправился на кухню.

С этим же судаком выбежала Катя Панина.

— Верно, что ли? Спирька говорит — ерш.

— Что ты, девка? Какой ерш? Это окунь. Гляди-ко, как перья расшеперил и полосы на становом хребту седые, — объяснил Катерине Заплатный.

— Я и то говорю — окунь, а он заладил свое: ерш, ерш.

Катя возвратилась на кухню, и там поднялся содом.

— Окунь, окунь! Будь ты проклят! — визгливо кричала Катерина.

— Ерш! Ерш! — глухо и тяжело выкрикивал Спиридон.

И, подгоняемый кочергой, под смех матросов Спирия выскочил из кухни. За ним вдогонку полетел злополучный судак и упал за борт.

Когда поспела уха, Катя заявила, что если Спиридон сядет за стол, она всю рожу ему поварешкой размозжит.

С этого дня Спирия возненавидел ершей, а Вахромей дал ему прозвище «ершова порода»...

Тихо подвигался наш караван вверх по реке. «Орел» шлепал своими деревянными плицами по быстрой воде и тяжело пыхтел. Шли мы по версте в час.

Я пристально вглядывался в синюю даль — все пытался увидеть знакомую церковь на высоком горном берегу. Совсем-совсем недалеко мои родные места — бурлацкий увал.

Но, как на зло, один случай еще на сутки отдалил встречу с родными. Однажды утром пароход отклонился от фарватера и по старице завел караван на залитые водой луга. На пароходе заметили это тогда, когда по его бортам и по окнам нашей брандвахты захлестал ивняк. Карчеподъемница шаркнула днищем о землю. Буксир не выдержал и с визгом порвался. Один его конец ударил по рубке парохода, другим концом на карчеподъемнице снесло мачту, без памяти свалился на доски палубы вахтенный матрос Максим. Спиридон Кошелев, стоявший на борту с шестом, полетел в холодную воду.

— Спасите, тону!.. Ради Христа!..

Спустили лодку и вытащили «утопленника». Максиму мачтой сломало ногу и повредило ребра. На пароходе пострадал штурвальник.

Пока пароход порожняком отвозил в ближайшее село пострадавших, мы целые сутки простояли на якоре.

Когда пароход возвратился и вытащил карчеподъемницу на плес, у нас на левом судне обнаружилась течь. На стоянке мы не заметили, что днище повреждено, да и напор воды был небольшой. На ходу — другое дело. Прямо на глазах прибывала вода в трюме. Сорокин просил капитана парохода сделать остановку, чтобы выкачать воду паровым насосом и исправить днище. Капитан не согласился: и так, дескать, много было простоя. Он заявил:

— Как хочешь, так и спасай свою горчицу...

Пришлось обходиться своими силами. Подвели мы под днище брезент и стали откачивать воду. Старый насос — качёк — был тяжёл и работал плохо. Качали все по очереди: и матросы, и кок, и сам Сорокин. Работали без перерыва, ели на ходу, а вода в трюме убывала незаметно — в час по ложке.

Матросы ворчали:

— Ты, Василий Федорович, за двоих работать должен. За себя и за внука, холера ему в живот.

Прошли вторые сутки, а мы все еще откачиваем воду. В довершение всего и погода резко переменилась. Заморосил дождик. Народ совсем озверел. Андрей Заплатный бросил качек и налетел на Сорокина:

— На, сам качай, леший! Ремонт бы лучше сделал, жила. А нам что? Гони паспорт, и на берег... И тебя прихватим на всякий случай... Качай, качай, не оглядывайся. А я откачался...

Сорокин, качая воду, поманил к себе Вахромея:

— Четверть вина ставлю для команды. Вот те Христос!

Старший матрос ухмыльнулся:

— Мало, волостной старшина. Они, конечно, не нанимались к тебе воду откачивать. Ставь ведро. Не то возьмет Заплатный да и наставит банок. Сам знаешь, какой он арестант. Он не поглядит, черт ли, старшина ли. Матросы перестанут работать, и пойдешь ты со своим суденышком в омут раков ловить.

— Потихе ты. Тоже от рук отбился.

— А что я? Я о пользе говорю. Как бы из-за твоего скупердяйства чего не случилось, господин старшина.

Сорокин перестал качать. Рукавом рубахи вытер мокрое лицо и сказал:

— Молодцы, матросики! Ну и молодцы! Ей-богу, ставлю на артель ведро вина. Вахромейко! Неси ключи от кладовки.

И снова с ожесточением закипела работа на борту карчеподъемницы. Только Заплатный стоял в сторонке и посмеивался над матросами.

— Дурачье! Готовы на брюхе ползать перед старшиной за черепушку водки. Эх, вы! Каторжные.

— Ты, Андрей, опять не прав, — попытался было уговорить Заплатного Кондряков. — Все равно, с водкой ли,

или без водки, а воду откачать надо, карчеподъемницу исправить надо.

— А мне какое дело? Пусть она идет на дно ко всем чертям.

— А что делать будешь? Работать где будешь? Да и не только, знаешь ли, о себе мы должны беспокоиться, но и о товарищах. Подумай, куда пойдут те же чуваши. На голодную смерть?

— За вино продались этому сукину сыну...

— Слушай, Андрей! Я, знаешь ли, человек непьющий, мне эта водка совсем не нужна, а откачивать воду не отказываюсь. — Кондряков сменил уставшего матроса. Андрей Заплатный со словами «непонятный ты стал, Кондряков...» ушел в кубрик и завалился спать.

Так, выкачивая воду, исправляя поврежденное днище, мы доползли, наконец, до моего родного плеса. Река здесь делает дугу в несколько верст. Вдали уже виден увал с бурлацкими поселками.

У меня терпения не хватало. Я суетился на палубе и приставал к старшине, чтобы высадил меня на берег. Я хотел пешком добежать до села Строганова. Обрадовал меня Кондряков.

— Как пройдешь? — сказал он мне. — Видишь, все луга затоплены. Сиди и не ересься. Скоро все равно будем на месте.

За три версты до села раздался долгожданный свисток нашего парохода, вызывая из деревень родных, матерей, жен матросов на «поплав» — так бурлаки зовут свидание.

Я стащил из каюты старшины бинокль и с крыши брандвахты первым увидел на берегу кучку знакомых людей.

Пароход сбавил ход. На воду спустили лодку. Я сел в весла и изо всех сил стал грести к берегу...

Вот лодка ткнулась носом в песок. Я выскочил через борт и подбежал к матери, поздоровался с братьями и сестренками, с Панькой Рогожниковым.

— Санушко! — говорила мать, смахивая со щеки набежавшую слезинку. — Какой ты большой вырос. Голос у тебя хрипучий какой стал, милый сын.

Я отдал матери пять рублей — задаток, полученный от Сорокина.

— Тебе, поди, самому надо?

— А для чего? В верхах деньги-то девать некуда.

Мне родные передали шаньги, сухари, чулки и чистую рубаху.

Михаила Егоровича встретил отец, древний старик. Ничего старик не говорил, сидел на камне и, не отрываясь, глядел на сына.

Я вспомнил про бабушку Якимовну и спросил, как живет она, почему не пришла на берег, уж не хворает ли?

— Умерла наша бабушка. Царство небесное. Отмаялась...

Пароход свистками настойчиво вызывал нас обратно на суда. Свидание с родными пришло к концу.

Мы простились.

Долго стояли наши семейщики на удалявшемся берегу Камы и махали платками.

Над рекой, над увалом, неслись прощальные свистки нашего парохода.

Караван перевалил косу. Село и родной берег скрылись за густым ивняком.

НА КАРЧЕПОДЪЕМНИЦЕ

1

Через две недели мы бросили якорь у старинного села Вятской губернии — Кая.

Вечером зашел к нам в кубрик Сорокин и рассказал о предстоящей работе.

— До плеса Кильгимы — это верст сто ниже Кая — будем очищать берега от леса, на десять сажен от воды. Очистку будем делать в ветреную погоду, а в хорошую придется плавать с урезом, карчевник вытаскивать.

— Воскресенья как? — спросил кто-то.

— Никаких праздников, спаси Христос, у нас в навигацию не положено. Работать каждый день. Бурлак, сами знаете, зимой отдыхает, а летом с утра до темной ноченьки — матушка-работушка. А придется, так будешь и все сутки работать. Бог терпел и нам велел, ребяташки. Должен сказать, что всех лентяев да лодырей буду высаживать на берег с медведем жить. Вот оно как. До свиданья. Спите с богом...

На рассвете мы на двух больших лодках-завознях выехали на плес. На одной из них, на корме с «навесью» — большим кормовым веслом, — стоял старший матрос, на другой — Андрей Заплатный. Одна лодка шла возле правого берега, другая у левого. Между лодками была протянута полудюймовая веревка — урез.

Лодки плыли вниз по течению, и урез шел по дну реки. На первой же версте он за что-то зацепился. Мы стали выбирать его из воды, подтягиваясь к «добыче». Завозни сошлись борт о борт. Нашупали баграми: что-то звякнуло.

— Якорь, будь он неладный, — сказал Заплатный и вытянул багор из воды.

Обследовали глубину. Оказалось — не меньше двух сажен. На урезе не вытащишь — порвется, как ниточка. Выходит, надо под якорь канат подводить.

— Эй, — скомандовал старший матрос. — Кто смелый, с чалкой вместо водолаза. По шесту, по шесту.

— Ты сам попробуй, — сказал Кондряков.

— Мне жизнь надоела, что ли? — нахально ответил Вахромей.

Пока шли препирательства, Андрей Заплатный разулся и разделся.

— Давай чалку, — глухо проговорил он.

На конце толстого каната Вахромей сделал петлю. Заплатный взял ее в зубы и по шесту спустился за борт. На поверхности воды запрыгали пузыри. Канат натянулся.

— Трави, сволота безголовая, трави, тебе говорят. Трави чалку! — покрикивал Вахромей.

Проходили томительные секунды. Андрей не показывался. Все беспокойно глядели в воду. «Что, если человек, — думал я, — запутается там на дне, у якоря?»

Вахромей стоял на четвереньках на корме завозни и усиленно глядел в мутную воду. Его пробирала судорожная дрожь. Он понимал, что в случае несчастья с Заплатным его самого заставят нырнуть на дно.

Михаил Егорович всей грудью налег на верхний конец крепкого шеста, ухватив его намертво крепкими руками. На кулаках вздулись синие жилы. Наконец, шест зашатался, и все мы облегченно вздохнули. Вахромей оторвался от борта и крикнул Кондрякову:

— Держи, черная морда!

В это время вынырнул Заплатный. Ему помогли забраться в завозню.

— Готово. Прямо за лапу зачалил, — объявил он и стал поспешно одеваться.

Вначале мы тянули якорь вручную. Когда же стало тяжело, обернули канат вокруг шпиля, вставили в гнездо березовый аншпуг, и пошла карусель.

Вот показалась первая ржавая лапа якоря, другая, третья. Подхватили мы якорь баграми и с трудом выворотили на завозню. Посыпались возгласы:

— Пятьдесят пудов дядя! Ноздреватый стал.

— А ты не шути! Может, с Петра Великого лежит.

С первой удачей поехали на карчеподъемницу. Старшина якорь на палубу не принял. Пришлось его выгружать на берег. Промаялись с ним до обеда, а потом снова поплыли с урезом. Попала карча — огромная, утонувшая в незапамятные времена береза. Вершину удалось поднять на урезе. Пробовали взять на шпиль — сил не хватило. У карчи оставили буюк и возвратились на карчеподъемницу.

— Зачем обратно, Вахромей? — спросил Сорокин.

— Здоровенную карчу зацепили. Придется карчеподъемницу плавить.

— Плыть так плыть. Дело твое. Валяй... А я отдохну маленько с устаточку. — И старшина скрылся в каюте.

Мы подняли якорь и на шестах подошли к буйку. Вытанули вершину карчи наружу, прикрутили ее цепью к подъемному валу и стали накручивать.

На палубе появился старшина.

— Слава те господи, с легкой руки почин сделали. Будем, значит, робить на урок. Когда вытащим всю березу на палубу да выгрузим ее на бережок, тогда и шабаш...

По мере того как береза поднималась, мы пилили ее на чурки, а цепь перевязывали ниже по стволу, вытягивали дальше и снова пилили. Но чем ближе к комлю, тем толще ствол. Приблизительно со середины дерева стало зажимать пилу. Пришлось пилить вчетвером.

Когда втянули на борт комель с корнями, закатилось солнце. Пока обрубали пень, стало темно.

А у Сорокина откуда и прыть взялась. Он бегал по палубе и ругался:

— Шевелись, дармоеды, зимогоры бездомные! Во весь день березку не могли испилить, лентяи!

— Замолчи, рыжий дьявол! — огрызнулся Андрей Заплатный.

— Сам помолчи, косорылый, если бог ума лишил. Выгону к лешему со службы... Не разговаривать!

К Сорокину подошел Вахромей:

— Василий Федорович! Дозволь сказать слово.

— Чего?

— Я думаю выгрузку завтра сделать. Сегодня не успеем, ей-богу.

— И думать брось! — завизжал старшина. — Ты че-

го, опупел, что ли? От рук отбился. Огрею по башке аншпугом!

— Да я ничего. Ребята просят.

— Ты чей? Кому служишь? Мне служишь. Казне. Да! Сегодня все выгрузить и палубу вымыть! Такой мой приказ есть!

Всю ночь, до солнышка, мы выгружали березу. Чурки в аршин длиной весили не менее пяти пудов каждая. Все было покрыто слизью: и палуба, и чурки, и трап. Трап прогибался, ноги скользили. У нас шла кровь из-под ногтей.

По окончании каторжной работы, не раздеваясь, в мокрой и грязной одежде я упал на свое место в кубрике и сразу заснул.

На вахте уснул Спирия Кошелев. Его разбудил Вахромей, окатив из ведра холодной водой. Спиридон очумело влетел в кубрик и заорал:

— Братцы! Вставать велено. Эй!

После короткого сна мы вышли из кубрика. По палубе, заложив руки за спину, шагал Сорокин.

— С добрым утречком, матросики. Как отдохнули? Какие сны видели? Вчерась поработали во славу господ. Вон какой якорь выудили. А карча? В низах таких карчей сроду не видано. Молодцы, что ни говори... А тебе, Ховрин, писарь, делаю первый выговор. Вчерась почему ничего в журнал не записал? Умаялся, парень? Знаю. На первое время штрафну тебя на три рубля, вдругорядь не забывай свою должность.

Я удивленно переглянулся с Кондряковым, сказал Сорокину:

— Я не знал, что надо чего-то в журналы записывать. Я не писарь, а матрос.

— По штанам видно, что матрос! Они у тебя отцовские. Еще на губах материно молоко не обсохло. Ты — углан. Вот ты кто. Держать-то малых ребят на казенном судне не велено. Только из-за твоей грамоты принял я тебя. А в писаря тебя определил, когда мы с тобой матросиков на службу принимали.

Так я стал писарем карчеподъемницы. И на меня легла двойная обуза. Я должен был работать как матрос и как писарь за одно и то же жалованье — тринадцать рублей в месяц.

Подул ветер, ездить с урезом стало невозможно. Старшина распорядился, чтобы мы очищали от леса берега.

Столетние пихты и ели, подмытые весенней водой, клонили свои кроны к воде. И надо было так их свалить, чтобы падали они не в реку, а на яр, на берег. Упадут в воду — хлопот не оберешься. Придется доставать, как вчерашнюю березу.

Мы делали так. К вершине накренившегося над рекой дерева мы привязывали толстый канат. Это было моим делом. Я умел, как белка, лазать по деревьям.

Недалеко от нашего бурлацкого поселка в лесу был хутор местного богатея. В его лесных угодьях сохранились древние кедры. В детстве мы устраивали настоящие набегии в поисках кедровых орехов. Тогда-то я и наловчился забираться на деревья. Теперь это пригодилось мне.

По сучкам и прутьям я добирался до вершины елки, которую мы должны были убрать с берега, конец крепкого каната привязывал вверху и спускался на землю. Другой конец веревки, натянув ее, как струну, мы прикручивали к толстому дереву подалеже от края берега или к свежему пню. Кто-нибудь из матросов рубил елку, другие в это время налегали на растянутый канат. Ель, описывая дугу, ложилась на берег. Обрубить сучья, разделить поваленное дерево на части было уже второстепенным делом.

Однажды мы сваливали огромную сосну в три обхвата. При падении, подхваченная неожиданным встречным вихрем, сосна пошла в противоположную сторону. Товарищи мои успели бросить канат, а я замешкался. И меня протащило животом несколько сажен по пням и кустарнику...

Я не помню, как очутился в кубрике, на нарах. На голове у меня лежала мокрая тряпка. Возле стоял Кондряков.

— Как дела, Ховрин? — спросил он.

Я не в силах был ответить.

— И угораздило тебя, — продолжал Кондряков. — Кричал я, знаешь ли, бросай веревку! Разве можно одному такую махину удержать. Эх, ты!

Подошел Спирия Кошелев и рассмешил меня, как мне ни было больно. Он заявил:

— Ежели бы сломал становую жилу, тогда и окочуриться недолго. А у него, у Сашки, становая жила крепкая. Молодой он — Сашка...

Через неделю я ожил и стал, как ни в чем не бывало, по-прежнему с веревкой в зубах лазать на вершины деревьев. Но теперь я уже был осторожен. Если дерево начинало тянуть к воде, я с легкостью акробата нырял под веревку и смеялся над зазевавшимся товарищем, которого тащило по пням и кустарникам.

2

Ветер из западного «гнилого угла» нагнал тяжелые тучи. Пошли проливные дожди, и мы получили неожиданный отдых. Я ежедневно писал в рабочем журнале: «По случаю сильного дождя работа не производилась». Мы спали, собирали ягоды, ходили за грибами, удили рыбу.

— Ой, лежебоки! — ворчал старшина. — Чем вам не жизнь? И за что только вам казна деньги платит? Лежи, лежи, а денежки получишь. Хоть бы грибов, не для своей мамы, а для кухни, для меня, старичка, насобирали, хоть бы воду из завозен вычерпали.

На Сорокина стала жаловаться Катерина:

— Хуже горькой редьки старый кобель. Прилипает, как банный лист к этому месту. А на кой он мне грех? Боюсь, что стукну поленом старого кержака. Хоть бы из вас кто ко мне спать ходил.

— Ай да Сорокин... Крепкие старые люди, благочестивые, потому и сила в их большая, — заявил Спирия Кошелев.

А Андрей Заплатный объяснил по-своему:

— Любит рыжий пес даровщинку. Всю жизнь так живет. У него в деревне десятин двадцать земли, а сам никогда в жизни не кашивал, не жинал. На чужом хребту живет. С жиру бесится. Смотри, Спирия, Васька Сорокин, если поедет на побывку, то и твою жену ублагоутворит...

Но, чтобы дело и впрямь не дошло до греха, мы в кухню из нашего кубрика прорезали в стенке дыру, и каждый раз, как Сорокин появлялся на кухне и начинал

заигрывать с Катей Паниной, в дыре маячила чья-нибудь матросская физиономия.

— Доброго здоровья, Василий Федорович.

— Для чего окно сделали?

— Чайник скипит, не надо его по борту перетаскивать, а взять в это окошко, и все в порядке.

— Эх, где мои семнадцать лет! — сокрушался Сорокин. — Тогда не посмотрел бы я на все ваши окошки.

Когда настала ясная погода, мы из Вятской губернии поплыли на север, в Чердынский уезд. Ночи здесь холодные, по ночам иней. И круглые сутки комары. Тучи комаров. Из-за них противоположного берега не видно. Единственное спасение от комарья — дым. В кубрике неугасимо тлели гнилушки. А в редкие теплые дни нас до крови кусали оводы — пауты и слепни.

Сорокин окна в своей каюте затянул марлей из аптечки и не показывался на палубе. Никого к себе в каюту не пускал. Рабочий журнал он передал мне, и вел я его в кубрике.

Старшина отсиживался от комарья, а мы работали. Мазали лицо и руки керосином, дегтем, смолой, надевали на лица сетки, но ничего не помогало. У некоторых, особенно у Спири Кошелева, лица превратились в сплошную коросту.

Сорокину, наконец, надоело сидеть взаперти, и он придумал себе поездку в Усолье за жалованьем для команды. Карчеподъемницу передал Вахромюю, закрыл свою каюту на замок, взял гребцом Спиридона и отплыл вниз по течению.

Вахромей заважничал. И на работу не стал ездить. Выйдет, бывало, на палубу и придирается к вахтенному матросу:

— Почему палуба грязная? Фонарь не прочистил! Почему много комаров? Ты смотри у меня. Я не Васька Сорокин, а Пепеляев Вахромей.

Кормежка все хуже и хуже. Однажды Катерина рассказала по секрету, что солонины в кладовке всего на два варева, а муки совсем нет... Есть зерно, да где его смелешь? Ближняя деревня верст за пятьдесят. Мы взяли в работу Вахромья. Он с важной миной заявил:

— Мухоморы жрать заставлю. Собирайте грибы, вот вам и мясо. Недовольные стали, а раньше у Семена Юшкова всухомятку жрали, и ничего...

— Ты, новый старшина, не ерунди! — вступился Андрей Заплатный. — Здесь работа — не паклю теревить. Тяжелее работа. Без приварка немного сделаешь.

— Ты, косорылый, каждый раз против начальства. Заставлю, так кору будешь глотать. Я тебе не Сорокин.

— Дурья голова, — неожиданно мягко стал уговаривать Вахромей Заплатный. — Надо на день — на два остановить работу, съездить на завозне в деревню, мяса заготовить, муки намолоть. За это время не сгниют твои карчи.

— Как в рабочем журнале запишешь?

— Это Сашка знает.

— Можно записать, что по случаю сильного ветра работа не производилась, — сказал я.

— Жулики! А если кто из вас начальству донесет? Кого будут судить? Меня! Когда очистим плес, тогда и сплывем до деревни.

И началось: утром чай, на обед чай, вечером чай. И больше ничего. У меня после работы кружилась голова. Самый старый наш матрос Тетюев совсем обессилен и не мог уже выезжать на работу. Заплатный советовал действовать решительно.

— Наплевать на все. Нас шестеро — Вахромейка один. Выбрать якорь, да и сплыть верст на семьдесят. Не пропадать с голоду, в самом деле.

— Обовшивели все. Месяц в бане не мылись. В Каму здесь не полезешь — комарье заест. Каторжные мы, что ли? — жаловались чуваши.

Еще раз поговорили с Вахромеем. Он — ни в какую.

— Нельзя. Робить надо. Приедет старшина, спросит: что, Вахромей, сделал? А я что скажу? Муку молот?.. Да что вы, в самом деле, бунтовать выдумали? В острого сгною!..

В глухую полночь мы выбрали якорь и поплыли в низа от комаров, от голода. За ночь проплыли верст тридцать. Утром на палубу вылез Вахромей. Поглядел по сторонам и набросился на вахтенного:

— Сукин ты сын! Говорил тебе якорь перенести к берегу. Ослеп, что ли? Теперь вот сорвало. Буди команду, а я... — и осекся, увидев на корме Кондрякова и Заплатного с шестью.

— Вон какое дело. А я думал, с якоря сорвало... Кто велел плыть? Кто приказал?

Заплатный хотел ответить, но его опередил Кондряков.

— Я! — сказал Михаил Егорович.

— Ты, арестантская харя? Отвечать будешь. Отдать якорь!

Заплатный подошел к Вахромею и взял его за шиворот:

— Скачи, жила, на яр! Ну!

Подошли остальные матросы. Вахромей обвел всех глазами и, хотя понял, что ни у кого не найдет сочувствия, все-таки стал просить заикаясь:

— Андрюша! Отпусти, ради Христа. Я это так, а вы всурьез. Да плывите вы хоть до самой Перми. Я ведь и сам тоже думаю: комарье, мяса нет, хлеба нет. Плыть надо... плыть...

— Мы поплывем, а ты скачи, пока берег близко. Ну! — и Заплатный сделал выразительный жест коленкой. Тут за Вахромея вступился Кондряков:

— Оставь ты его, Андрей. Он жучок, знаешь ли, маленький.

Вахромей ухватился за это, как утопающий за соломинку:

— Ты правильный человек, Михайла. И то, в самом деле, отпустите меня, братцы. Я ничего плохого вам не сделал.

— Прыгай, говорят тебе! — крикнул потерявший терпение Заплатный и пинком сбросил Пепеляева за борт.

Вахромей взмахнул руками, судорожно цепляясь за кустики на яру, не удержался и скатился в омут. Я схватил багор, чтобы помочь Вахромею. Заплатный прикрикнул на меня:

— А ну, брось багор! Тоже на берег захотел? Сопляк!

Карчеподъемница плавно проплыла мимо барахтающегося в воде Вахромея...

В первой же деревне Катя Панина заготовила мяса чуть не на месяц. Съездила в село на мельницу. У нас появились и хлеб, и приварок.

3

Стояла тихая безоблачная погода. Местные мужики воспользовались этим и пустили палы. Над рекою клубился удушливый дым. Молчали кукушки. Таежные век-

ши переселялись в безопасные места и тысячами гибли, переплывая глубокую реку. В лесу трещал сушник: лопался красавец тайги — сохатый.

К карчеподъемнице подплывала лодка. Греб старший матрос Вахромей. Посередине на куче барахла сидел Спиридон Кошелев, на корме сам Сорокин.

Когда лодка ткнулась в борт нашего судна, старшина стал пробирать своего неудачливого помощника:

— Вон куда сплыли. Что за самоуправство? Расчету хошь? Чем глядел? Где был?

— Не велел я плыть-то, — оправдывался Вахромей. — Спроси их, не отопрутся... на берег меня высадили. Я уж три дня живу в лесу. Жрать нечего. Еловыми шишками питался.

— Пакостлив, как кошка, труслив, как заяц... Возьму да и назначу старшим матросом Спирию. Распустил сопли... Вахтенный! Принимай чалку.

Первым из лодки вылез Спиря, польщенный тем, что его ставят выше Вахромей. За ним выбрался на палубу старшина и за его спиной Вахромей Пепеляев.

— Доброго здоровья, соколики, — поздоровался с нами старшина. — Как поробили? Я тоже стараюсь, забочусь о команде. Жалованье вам привез. У меня не то, что у Юшкова. У меня жалованье матросику тринадцать рублей. Рукавицы привез, мясо, харчи, то да се. Я за вас стараюсь, матросики.

Старшина ушел в каюту. За ним уплелся Вахромей. Мы, разгрузив лодку, собрались в кубрике. Явился Вахромей с повинной, и пошла потеха. Даже Катя Панина смеялась над старшим матросом.

— Я чай кипятила. Вдруг мимо окошка как промелькнут чьи-то ноги! Выглянула из кухни, Вахромейко барахтается в воде, как мокрая курица... Зачем высказывал? Не с грибов ли тебе приспичило?

— Эх! Все может быть. Я сам — человек подневольный. Давай-ка, ребята, опять вместе жить. Сознаюсь, сам я был виноват. Спасибо за науку... Подожди-ка! — Вахромей вытянул из одного кармана, а затем из другого две бутылки с красными головками.

— У старшины стащил, — объяснил Вахромей. — Он, старый хрен, из Усолья привез. Раздавим, давай, на мировую.

Утром чуть свет нас вызвали на палубу. Придетый,

в новой форменной фуражке, руки за спиной, по карче-подъемнице разгуливал Сорокин.

— С добрым утречком, ребяташки! — ласково приветствовал он нас. — А сейчас расскажите-ка, как додумались до такого дела?

— До какого? — настороженно спросил Кондюков.

— А плыть сюда. Как оно вышло?

— Голодом сидели, знаешь ли. Думали съездить в деревню за харчами, а Пепеляев все поперек. Не дает лодку, и шабаш.

— И правильно делал. Как же ты можешь разъезжать во время службы? Ежели ты, Михайло, умный человек, должен ты рассудить, как и что, почем сотня гребешков. Так-то... Чего теперь делать будем? Ведь придется, соколики, помолясь-перекрестясь, поднять карче-подъемницу на старые места. Бечевой...

— Чего? — возмущенно возразил Заплатный. — Верст за семьдесят вверх по Каме? Нашел дураков.

— А вы разве умные? Как есть дураки. Кто сплавил судно на свою «самку»? Я, что ли? Вы сплывили... Да! Кто не желает служить — не держу... Старший матрос! Распоряжайся, а я пойду сосну маленько.

Не хотелось снова забираться на глухой плес. Но что поделаешь? Куда уйдешь? До Чердыни, если пробираться туда, будет верст триста. Да едва ли Сорокин согласится добровольно выдать паспорта. А без паспорта в Российской империи жизнь совсем волчья. Кондюков сразу оценил положение и посоветовал:

— Садись, ребята, в лодки. Не все ли равно, знаешь ли, карчи доставать или бечеву тянуть. Все одно.

Оставив на судне старшину, старшего матроса и Катью Панину, мы с бечевой перебрались на берег запрягаться в веревочные лямки.

На берегу, растянув чалку, Заплатный припутал воровые петли, по одной на каждого, и мы выстроились один за другим вдоль берега.

— Тянем!

Медленно, а потом постепенно ускоряя шаг, мы гуськом пошли по глинистому берегу.

При обходе разных коряг, пней и ям канат ослабевал, а затем натягивался, как струна. Терялась устойчивость, меня болтало из стороны в сторону. На первой же версте заныли плечи, спина.

Немилосердно кусали комары. Я вначале, как мог, отбивался от них, а вскоре не стал на них и внимания обращать, так как боль в плечах была сильнее комариных укусов.

В полдень сделали привал. Катя привезла нам на берег обед. Все быстро и жадно поели и прикорнули у разведенного костра. Но через час пришлось снова впрягаться в бечеву.

Я выбивался из сил и в иные моменты уже не тянул, а тащился на канате. За моей спиной ворчал Спиридон Кошелев:

— Это тебе, углан, не качеля. Зачем висишь-то? Шагай, шагай, не оглядывайся.

Иногда он просто тыкал меня в спину кулаком, но от этого мне нисколько не было легче.

Перед моими глазами все время была голая спина Заплатного, усыпанная комарами. Я однажды не удержался, сорвал ивовый прутик и замахал им над спиной Андрея.

— Не машись, Сашка! — сказал Заплатный. — Первое дело — чем больше будешь махать, тем больше будут одолевать, а второе дело — у меня кожа толстая, ее никакой гнус не прокусит. Давай лучше споем «По Дону гуляет». Видишь ту кривую? С песней до нее быстрее дотянемся.

Заплатный запел:

С по Дону гуляет,
С по Дону гуляет...

Мы дружно подхватили:

С по Дону гуляет
Казак молодой!

И понеслась старинная казацкая песня по Каме-реке. Мы и не заметили, как дошли до излучины, где нас в тот день ожидал отдых.

Так, где бечевой, а где и с помощью якоря-рыскача, мы через неделю добрались до своей прежней стоянки.

4

Меня вызвал к себе в каюту старшина. Он сидел за столом в очках и щелкал на счетах. Поглядел на меня поверх очков, разгладил бороду и проговорил елейно:

— Опять месяц, слава богу, проробили. Сию минуту жалованье буду выдавать. Ну-кошь, позови матросиков...

Один за другим стали входить в каюту матросы. Чуваши вошли артелью и стали поодаль в уголке. Самый старый из них, Тетюев, быстро-быстро перебирал пальцами. Кондряков при входе ударился головой о притолоку.

— Выросла орясина — больше усольской девки. Башкой до потолка достает. Потри лоб, а то шишка вырастет, — посоветовал Сорокин.

К столу подошел Андрей Заплатный и устался на старшину.

— Господи Исусе! Вытаращился на денежки. Отойди-ка подальше.

Андрей крикнул басом и отошел в сторону.

— Начнем, братцы, — сказал старшина. — Подходи, Василий Иванович седой.

К столу подошел Тетюев.

— Получай-кося, давай, свои кровные, заработанные. — Зашелкали костяшки. — За месяц тебе причитается тринадцать целковых. Три рубля шестьдесят три копейки долой за харчи. Остается ровнешенько восемь целкачей с полтиной.

Тетюев подумал, что-то прикинул в уме и заявил:

— Господин старшой, больше бы я должен получить-то.

— Не сам считаю. Видишь — счеты. Они, брат, не обманут. Иди с богом. Следующий кто?

— Я! — сказал Заплатный и облокотился о стол.

— Вот лешак, господи прости. Да подожди ты маленечко... Давай сюда Василия Ивановича молодого! — приказал Сорокин.

Молодой чуваш Степан стоял в это время на вахте. Крикнули на палубу:

— Панко! Айда жалованье получать!

Степана пропустили к столу.

— Расписывайся, — предложил Сорокин.

— Мы неграмотные.

— Распишись за него, Ховрин.

Я расписался.

— Сейчас, Андрюха, ты получай. Дело надо по порядку делать. Денежка счет любит, — наставлял Сорокин.

Заплатный получил деньги, не считая их, положил в карман и, хромая, вышел из каюты.

Получила жалованье Катя, расписался в ведомости Спиридон Кошелев, а Степа все еще стоял у стола и переминался с ноги на ногу. Надел на голову фуражку, потом снял ее, потом снова надел.

— Чего стоишь? — спросил его старшина. — Получил деньги и айда робить. Не я ведь буду за тебя вахтить.

— Я не получил еще жалованье-то. Ховрин Сашка расписался, а я не получил, — сказал Степа.

— Какое мое дело. Расписка есть в ведомости. Вот она, гляди. Не я расписывался... Испужался. Получай восемь целковых. Остальные скостить за харчи.

Я заметил, что старшина выдал Степе всего шесть рублей. Но тот с радостной улыбкой взял деньги и вышел на палубу.

— Спирия, расписался? — спросил Сорокин.

— Ага!

— С тобой тоже надо иметь расчет. Долой три рубля за харчи, да еще трешница, потому — не робил, а плавал со мной в Усолье. А в лодке грести какая работа? Подумай сам.

— Я премного благодарен тебе, Василий Федорович, не осуди... Баба тоже моя у тебя в хозяйстве...

— Правильно. Вот тебе пятерка, и квиты, Спирия...

Получил деньги чуваш Сергей косою. Дошла очередь до меня. Вдруг в каюту с шумом вбежал Андрей Заплатный.

— Обсчитал, старый грошевик, на полтину!

— Ничего не знаю, вот те Христос. Надо было считать, когда получал. Может, и врешь ты, кто тебя знает.

— Давай полтинник! — Заплатный стукнул кулаком по столу. Чуть чернильница на пол не упала. Старшина вздрогнул.

— Ты не шуми. Обсчитаешь тебя...

— Давай деньги! — гремел Заплатный.

— Прими Христа ради. — Сорокин выбросил рубль.

— Мне чужих денег не надо. Получай сдачу. — И по столу покатился выкинутый Андреем полтинник.

Сорокин накрыл полтинник корявой рукой, бережно положил себе в карман.

— Не хочешь — не надо. Когда сдохнешь, я за упокой твоей души свечку поставлю.

Очищая реку от карчей и берега от деревьев, карчеподъемница ежедневно сплывала на несколько верст вниз по течению. Когдаплыли мимо того места, где был сброшен Вахромей Пепеляев, Спиридон Кошелев напомнил старшему матросу:

— Ты, кажись, у этого куста скакал?

— Заткнись, ершова порода.

— Здорово! — сказал Кондряков и улыбнулся. — Так его, Спиридон. Ты, я вижу, начинаешь с начальством вслух разговаривать.

— Стал, значит, Спирия понимать, что к чему. Вот вслух и заговорил, — закончил мысль Кондрякова старый Тетюев. А Спиридон вдруг взъелся на товарищей:

— Чего привязались? Все вы не лучше Вахромея. Рады, что я совсем зря болтаюсь на свете.

— А ты не болтайся, — поддразнил Кошелева Вахромей. — Отдал бабу на лето сорокинским холоумам и форсишь...

Спиридон неожиданно схватил валявшийся на палубе колун и занес его над головой Вахромея. Тот с криком бросился в сторону. Михаил Егорович вырвал топор из рук Спиридона и сильным рывком усадил его на связку каната. Спиридон, совсем обессиленный, заплакал.

— Жестянщик я. Рабочим был. За что такая каторга? — говорил он сам с собой. — Вся душа голая.

— Пойдем, Ховрин, — сказал мне Михаил Егорович. — Пусть посидит один, подумает, как снова сделаться настоящим человеком.

Спустившись в кубрик, я вскоре забыл о Спиридоне.

Чуваш Тетюев вот уже больше месяца мастерил самодельную скрипку. Скоблил разные дощечки, склеивал их. Долго искал подходящее дерево на верхнюю доску — на деку. Для нее обязательно нужна елка, да не простая, а без сучков и некосослойная. Случайно в трюме он отыскал толстую еловую доску от старого ларя. И скрипка была сделана.

В деревне Тетюев выменял на старые рукавицы горсть конского волоса и связку сырых бараньих кишок.

— На что тебе эту падину? Не придумай на кухню тащить. Вытурю вместе с кишками, — бранилась Катя Панина.

Конский волос Тетюев использовал для смычка, а из кишок сделал струны.

Сегодня Тетюев решил испробовать свою скрипку.

— Неужели заиграет? — спросил я Андрея Заплатного.

— А почему ей не заиграть? Как настоящая.

— Все-таки интересно.

— Не шуми, — остановил меня Заплатный. — Слышь, настраивает.

— Я в третьем году в прислугах жила в Мотовилихе, — вполголоса рассказывала Катя Панина. — Хозяйский сын тоже на скрипке играл. Жалостливо.

— Ты его что, жалела? — пошутил Заплатный.

— Его-то? Да отстань ты.

Тетюев настроил скрипку и заиграл чувашскую песню. Перед ним на корточках сидел Степа с открытым ртом. Пришел послушать игру и сам Сорокин и попросил:

— Ну-ко, повеселее что-нибудь. Играть так играть. Грешить так грешить.

Тетюев заиграл плясовую.

— А ну расступись, народ! — С этими словами на середину кубрика вышла Катя Панина. Навстречу ей — Андрей Заплатный. И началась пляска. Катя улыбалась, а Заплатный хмурился, и все смеялись. Потом плясал с Катей Кондряков. Длинный, как жердь, он, к общему удовольствию, раза три ударился головой о потолок и скоро умаялся. Катя вызвала желающих:

— Выходи, зимогорики!

Как бы невзначай, махнув фартуком, она задела по лицу Сорокина. Василий Федорович не удержался и вышел в круг. Плясал он плавно, по-старинному. В конце быстро заперебирал ногами, сел на пол и ловко, по молодому, вскочил.

Тетюев водил по струнам и строил уморительные рожи, шмыгал носом, мигал попеременно то одним, то другим глазом. Мне тоже захотелось плясать. На меня цыкнул старшина:

— Прижмись, углан. Не мешай большим... Одним словом, побаловались, и хватит. Спать надо. Спасибо, Тетюев, Василий ты мой Иванович. Я со своей свадьбы так не плясывал. До свиданьяца, матросики. Не проспите утреннюю побудку.

Но почти до рассвета стояло веселье в матросском кубрике. Не было среди нас лишь Вахромея да Спиридона Кошелева, который, пригорюнившись, всю ночь просидел на палубе.

Я даже во сне видел тетюевскую скрипку и сам играл на ней. И утром, во время работы, она не выходила у меня из ума. Я стал просить Тетюева научить меня играть на скрипке. Он согласился, и каждый день после работы мы с ним выходили на корму брандвахты. Я брал инструмент в свои натруженные за день руки, водил смычком. Скрипка издавала такие звуки, как будто с живой кошки шкуру дерут. Всем это надоело. Стали меня гонять с музыкой в лес.

Один Тетюев мне сочувствовал:

— Не тоскуй, паря, — говорил он мне. — На скрипке нельзя сразу. Вырастешь — научишься.

Но я так и не научился.

6

Ниже устья Вишеры на урез все чаще и чаще стали попадать якоря и стопудовые лоты. Нам такая добыча была не под силу. Мы ставили буйки иплыли ниже. Сорокин написал рапорт, чтобы привели водолазный кран или послали на карчеподъемницу водолаза.

Через несколько дней на винтовом пароходе «Волна» к нам приехали водолаз Пигалев и сигналист Григорий Галкин. Принимая чалку, я заметил на борту парохода своего друга Паньку Рогожникова.

— Паня! Здравствуй!

— Ты! — обрадовался Панька. — Здорово, Сашка!

— Тоже бурлачишь, а я не знал.

— Меня тятка взял, — рассказывал Панька. — Он здесь штурвалит. Пойдем к нам, у нас каюта отдельная.

Пока выгружали водолазное имущество, мы сидели с Паней в крохотной каюте и разговаривали.

— Как, Паня, живешь? — спрашивал я.

— Хорошо. Только капитан сердитый. Знаешь, наш, с увала. Тюря одноглазый. Все пьет, все пьет. Сперва вино, потом чай. По пяти самоваров в день ставлю. Потом прикуривать заставляет. Я прикурю, а он дерется. Ты, говорит, заразный. Сойдет на берег, все подошвы в

глине вымажет, потом прямо по ковру ходит, а мне мыть надо. Тятка говорит: терпи. Я, говорит, раньше тоже терпел. Меня, говорит, раньше в мокрый брезент закатывали, а тебя не закатывают... Вот такая моя жизнь. Теперь в поселке ребята рыбу удят, по огородам бегают, в шары-бабы играют...

После перегрузки водолазного имущества на карчеподъемницу «Волна» потянула нас обратно по Каме до красных буйков, под которыми лежали разысканные нами чугунные утопленники.

Уже над рекою и над прибрежными болотами поднялся первый сентябрьский туман. Яркими пятнами на фоне хвойного леса краснели заросли калинника. Высоко в небе курлыкали перелетные журавли.

Сигналист Григорий Галкин был однодеревенцем Сорокина. Он привез Спиридону Кошелеву письмо от жены.

— Видел твою бабу у сорокинских, — рассказывал он. — Ничего, говорит, живу. Да какая жизнь в чужих людях? И зачем ты живешь отдельно? Женился для чего?

— Все это правильно. Я кровельщиком работал. Что ни день — целковый, а то и два. Пил раньше. Женился и пить бросил. Жили сперва хорошо. По деревням ходил, ведра, чугунки починял... Теперь видишь, до чего дошло. Никакой работы — ни слесарной, ни жестяной нету. Даже в деревнях. Не на что им посуду починять. Сами в голодном тифу маются... Жену в батрачки отдал... к Василию Федоровичу, из-за хлеба. Точку я потерял, вот что.

— Здорово похудела она на сорокинских харчах, — продолжал рассказывать Галкин. — К родителю хочет уехать, в Тамбовскую губернию. А я ей говорю, как навигация окончится, Спиридон денег принесет, и будешь жить барыней...

— Не смеди ты... Ничего я не принесу, кроме гармошки... И в самом деле, чего ей маяться. Были бы деньги, сейчас послал бы — пускай едет на родину... Нет, ребята, нельзя жениться рабочему человеку, если еще его с завода прогнали, если он безработный...

Показался первый буюк. Отдали чалку. Карчеподъемница прошла сажен десяток и остановилась. Бросили якорь. Пароход пришвартовался к борту. Вахромей, принимая чалку, оттолкнул ногой Спиридона Кошелева.

— А ну, соломенный вдовец, ершова порода! Подбери свои ходули.

Спиридон поднялся с места и боязливо отошел в сторону.

На палубу вышел водолаз в серой вязаной рубашке и таких же штанах. Он проверил нагнетательный аппарат, шланги, лебедку и стал натягивать на себя водолазный костюм. Сигналист приволок ботинки с толстыми свинцовыми подошвами. Я попробовал надеть один ботинок. Надел — и не мог отодрать ногу от палубы. Пигалев усмехнулся:

— Хороши полусапожки? В них бы тебе за девками. А ну, попляши!

На грудь водолазу подвесили двухпудовую свинцовую пластину. К широкому поясу пристегнули железную лопату с короткой ручкой.

Четверо матросов стали к маховику аппарата. На голову водолаза нахлобучили медную корчагу с тремя большими круглыми стеклами. Сигналист велел быстрее вертеть ручку аппарата, а сам стал прикручивать корчагу к ошейнику водолазного костюма.

Пигалев потряс одной ногой и пошел к борту. Вот и край. По лестнице, опущенной за борт, он слез в воду. На поверхности забурили пузыри. Галкин велел вертеть маховик аппарата медленно. Мне это совсем не понравилось. И я запротестовал.

— Когда он на палубе был, так вы быстро вертели, а почему сейчас не быстро? Утопить, что ли, хотите водолаза?

— И утопим, — пошутил сигналист. — Мало, что ли, у казны водолазов? На тебя надеть скафандр — вот и водолаз. Нельзя много накачивать воздуха, когда водолаз в воде. Он, как пузырь, всплывет. Смени лучше вон того... о нас не беспокойся.

Я стал к маховику. Работал и думал: «А что, в самом деле, каждый человек может в воду полезть! Интересно! Галкин не зря сказал — только скафандр надеть».

Через полчаса задергалась сигнальная веревка. Аппарат завертелся быстрее. На лесенке показались руки водолаза. Вот он весь вышел из воды. Мы помогли ему сесть на кнехт. Сигналист быстро развертел медный шлем-корчагу. Показалось веселое лицо Пигалева.

Я подобрался ближе к нему и спросил:

— Дяденька водолаз, а в омуте не страшно?

— Как не страшно. Каждый раз боюсь, кабы кит не проглотил.

— Нет, в самом деле?

— Хорошо под водой! Ходи да в потолок поплеывай.

Вечером я отправился на пароход к Пигалеву, чтобы попросить его поучить меня водолазному делу. Он, к моей радости, серьезно выслушал просьбу, даже похвалил.

— Будешь водолазом, — говорил мне Пигалев, — никогда без работы не останешься. Дело это пока на Каме новое. Были тут у нас водолазы, да кто спился, а кто ожирел — скафандр не лезет. Это от сердца. А кто и чахотку заработал. Твой земляк Ванюшка Громыхалов так похудел с чахотки, что ветром качает.

— Как же мне поучиться-то?

— Очень просто. Попадет тихое место, и валяй. У нас запасный костюм есть, легкий, на всякий такой случай. Годов тебе сколько?

— Шестнадцать доходит, — соврал я.

— Парень ты, вижу, крепкий — заготовка хорошая, бурлацкая.

На другой же день Пигалев велел сигнаlistsу быстро подучить меня водолазному делу. Он ему прямо при мне так и сказал:

— Меня на будущий год поставят багермейстером на кран, тебя сделаю водолазом, а Ховрина сигнаlistsом. Через год тоже будет самостоятельный водолаз.

И я стал учиться. Все свободное время торчал у аппарата, возился со скафандром, все разбирал до винтика, до последней резинки, читал даже книжки по водолазному делу. Через некоторое время меня поставили работать за сигналиста. Я понял, что это очень серьезное дело. Сигнаlistsу вверяется жизнь человека. Неправильно понятый сигнал, неполадки с аппаратом во время работы — для водолаза смерть.

Галкин и сам Пигалев внушали мне, что каждый водолаз должен знать сигнальное дело лучше сигналиста, а сигналист должен уметь и под водой работать. Водолаз и сигналист, как нитка и иголка. Друг без друга никуда.

Наконец, настал мой желанный день.

В тихий сентябрьский вечер сигнаlists Григорий Гал-

кин облачал меня в водолазную амуницию. И наши и пароходские собрались поглазеть и поудивляться, как человек по своей воле лезет в воду. Спиридон спрашивал:

— Не трусишь?

— Что ему трусить-то, — поддерживал меня Заплатный. — Он не твоей, а настоящей бурлацкой породы.

— Ничего не трушу! — доказывал я. — Меня маленького тятка плавать учил. Вывез меня на лодке от берега, да и столкнул в воду. Я кувыркался, кувыркался, а выплыл. С той поры через Каму переплываю, а сегодня пешком по дну перейду.

— Если, Сашка, сморкаться захочешь, чем нос урешь? — пошутила Катя Панина.

Галкин привинтил шлем и подал знак. Я спустился по лесенке за борт, зажмурился и разжал руки.

В первые секунды я ничего в воде не видел. Перед глазами переливалась какая-то зеленая муть. Неудержимо тянуло вверх. Казалось, вот-вот вытянет из скафандра, как улитку из раковины. Но прошло постепенно это неприятное ощущение, и я поглядел вверх. Вода вверху была розовой. Я сообразил, что это от заката. От судов падала косая и густая тень.

Понемногу стали вырисовываться окружающие предметы. Глаза привыкли к туманной мгле. Влево от себя я увидел большой камень, осторожно подобрался к нему, взял за угол и, как перышко, выворотил из песка. Кверху полетели воздушные шарики. Я попробовал сесть на камень — ничего не выходило. Груз на ботинках крепко держал меня на песке. Я качался из стороны в сторону, как «ванька-встанька». Вдруг что-то меня дернуло за голову. Ноги отделились от грунта, в глаза ударил красный луч солнца. Я оказался у лестницы.

На палубу выбрался с помощью товарищей... Сняли шлем. Все глядят на меня, как на чудо морское.

— Чего уставились?

— Почему не сигналил? — набросился на меня сигналист. — Целый скандал тут из-за тебя. Ведь больше часа прошло. Что ты делал? Спал, что ли?

— Ничего не спал! Я на дне камень пудов в пять два раза перевернул одной рукой, истинный бог.

Заговорили все разом:

— Думали, захлебнулся, потому и вытащили.

— Как там? Рыбу видно?

Я пошел в кубрик переодеваться, небрежно бросив на ходу:

— И нечего спрашивать. Хотите, так сами в омут полезайте.

7

С запада надвигались осенние дожди — наша надежда на отдых. Только Кате Паниной было все равно. Дождик ли, ветер ли — у нее всегда работа. В любую погоду надо стряпать на команду.

Рабочий день пока начинался с трех-четырёх часов утра. В десять вечера мы уже спали, а Катя долго еще стучала посудой, мыла, чистила. Для старшины приходилось готовить отдельно, подавать ему в каюту и выслушивать всяческую похабщину. Сорокин проходу ей не давал.

Возвращаясь с работы усталыми и злыми, матросы частенько срывали сердце на Кате Паниной. То суп недосолен, то пересолен. Одному не нравился красный перец, другому кирпичный чай, третьему еще что-нибудь. Толковали и о том, что вообще бабе на казенном судне не место.

Катя не спускала никому. Огрызалась не хуже любого бурлака, а Спиридон Кошелев даже тычки от нее получал. Про Катерину так говорили:

— Жалко, что в юбке, а то бы работала вместе с нами не хуже Заплатного.

— Полумужичье, — ворчал Спиридон.

— А ты не мужик, не баба, соломенный вдовец, — ехидничал Вахромей Пепеляев. — Катька, на будущий год просись в матросы! Пусть за тебя тут Спирия покухарит...

Однажды я спросил Панину:

— Катерина! Зачем ты здесь у нас служишь?

— А ты зачем?

— Я — мужик, а ты — девка.

— Ой, ты! Мужик! — расхохоталась Катерина. — Да и все вы тут собрались... какие мужики? Мусор. Кроме вот Заплатного да Кондрякова. А я не хуже вашего брата. Всего в жизни повидала. Я порченная. Ты молодой, непорченный. Подожди, сосунок, тебя тоже скоро испортят... Испортят, если жизнь не переменится.

— Как переменится? — с недоумением спросил я. — Для чего ей меняться-то?

— Чтобы жить по-человечески...

Мы выплыли в большую Каму. Мимо нас то и дело проходили низовые пароходы. Волны разбалтывали старые корпуса карчеподъемницы и брандвахты. Нас одолевала вода. Сорокин покоя не давал вахтенным. Выйдет ночью на палубу и начинает скулить:

— Не сиди, не сиди. Качай водичку-то, качай! Изленились все, прости господи. Мне, что ли, качать-то?

И вахтенные сутками качали воду.

Чем ниже, тем меньше попадалось карчей. Река широкая. Бывало, на перекатах мы не успевали выбрать урез, как он зачаливался за якорь бакена. Сорокину постоянно приходилось выдерживать перепалки с бакенщиками.

Все чаще к нам стали приезжать начальники. На угощение их Вахромей отбирал у рыбаков рыбу. Для отвода глаз Сорокин заставлял матросов на берегу пилить сушняк и складывать в клетки. Это, дескать, вытасченный из реки карчевник. Начальство не замечало жульнических проделок старшины.

Бывал на карчеподъемнице и начальник постов, маленький человек, с короткими рыжими усами, в очках. Ему и сорока еще не было, а волосы уже наполовину седые. Он, не в пример другим начальникам, всегда вежливо здоровался с нами: «Здравствуйте, ребята!» — а к Сорокину, не принимая протянутой руки, обращался сурово:

— Старшина! Я вас предупреждаю, если еще собьете урезом хоть один бакен, составляю протокол.

— А как же быть-то, ваше высокородие? На урезе глаз нету.

— А у вас есть глаза? Если мешает бакен — отведи, а потом поставь на место.

— Бакенщики у вас для чего же?

— Бакенщикам приходится промеры делать, им на день работы хватает. Одним словом, если пароход на мель сядет, будете отвечать по суду. Поняли?

— Ваше высокородие, вот те Христос... Вахромейко! Езди в следующий раз по ходовой, а не по пескам. Бакены не трожь. У господина Қалмыкова бакенщики, видеть, из дворянского сословия.

— Бакенщики у нас получают жалованья полтора рубля в месяц. Заставлять их работать из-за вас я не намерен.

Провожал Калмыкова и отдавал чалку всегда Михаил Егорович Кондряков. Прощались они, как равные. Некоторые из нас удивлялись, что общего у инженера с зимогором. Заплатный прямо спрашивал:

— Кондряков! С золотыми пуговками не родня тебе?

— Родня! И тебе, знаешь ли.

— Ну-ну! Пришей кобыле хвост...

Осень застала нас высоко по Каме. Посыпалась первая крупа. Работать стало невозможно. Сорокин распорядился плыть без остановок.

Проплыли Усолье, остался за кормой Чермоз. Я так же, как и весной, нетерпеливо ждал, когда наконец попадем в родные места.

— Ползем, как вошь на аркане, — возмущались матросы. — Нету, что ли, пароходов у казны? Плавом-то и к покрову не доберемся до затона.

— А наше какое дело, — успокаивал нас Кондряков. — Так ли плыть, знаешь ли, или на буксире. Когда-нибудь все равно будем на месте.

Заплатный ворчал:

— Экономию наводят. Своих шкур катают на самолучших пароходах, а для нашего брата жаль дать какую-нибудь горчицу вроде «Волны».

И я возмущался:

— Плыдем, как плотовщики.

А Катя Панина меня дразнила:

— Знаю, знаю я, зачем ты торопишься. О мамке за-тосковал...

Верст за двадцать до увала мы с Кондряковым отпросились на сутки домой на побывку. С нами в лодке поехала Катя Панина, чтобы закупить в деревне овощей для команды.

Нас не ждали, и никто не встречал на берегу в Строганове. Мы вытащили лодку подальше от воды и пошли в бурлацкий поселок в обход села по мокрым осенним лугам.

Я радовался каждому кустику. То уходил вперед, то отставал и бегом бежал за товарищами.

В полях, около поселка, золотились хлебные клады, в поселке дымились бани, где-то пиликала гармошка. «Ре-

бята, — подумал я, — наверное, вокруг кладей с девками в ловушки играют, на парáх крыс зорят».

Поднявшись в поле, мы по высокой меже вошли в поселок.

Первым увидел меня из окна братишка Ваня. Он выбежал босиком навстречу, схватил меня за рукав. Поглядел прямо в глаза и засмеялся.

На крылечко вышла мать.

— Саша приехал! Дорогие гостеньки, не обессудьте. Не ждали вас, не думали. Хоть бы баньку истопить...

Ребята разнесли весть по всему бурлацкому увалу:

— Санко Большоголовый приехал на побывку, а с ним Миша Кабарда!

С РАБОТЫ НА РАБОТУ

I

До затона мы добрались уже поздней осенью. Сняли с карчеподъемницы такелаж, установили на берегу два ворота и с их помощью по каткам в двое суток вытащили карчеподъемницу и брандвахту сажен на пятьдесят от воды.

И вот мы в последний раз взобрались по трапу на карчеподъемницу и явились в каюту старшины за расчетом и паспортами... Наш кубрик был уже забит досками.

— Дай-то бог снова свидеться с вами, соколики, — юлил Сорокин на прощанье. — Только, как бы сказать тебе, Андрей? Бузотер ты все-таки, будь ты неладный, а сила в тебе богатеющая. Не советую тебе больше служить в матросах под началом. Тебе надо самостоятельную работу. Больно уж гордость тебя заела.

— Я к тебе, крыса, не думай, больше служить не пойду. Хоть голову оторви, — ответил Заплатный.

— Не надо бы ругаться-то в расставанный час. По-божьему жить надо.

— Живи со своей мамой... по-божьему.

Посидели мы и разошлись.

Чуваша на последнем пароходе отправились на родину, Заплатный ушел в город, Катя Панина к знакомым в деревню, а мы с Кондряковым остались одни.

— Пойдем, земляк, в мастерские, — предложил Кондряков. — Там у меня должны быть знакомые. Переночуем, а завтра — к караванному насчет работы.

Стены в мастерских черные, в саже, пол земляной. В одном углу горн с мехами. У стен слесарные верстаки, обшитые кровельным железом. На верстаках старые тисы и разный ржавый металлический мусор.

По крутой лестнице без поручней мы поднялись на второй этаж, в столярное отделение.

Навстречу нам из-за кучи ломаной мебели вышел человек в белой рубахе, в синих холщевых штанах. Ростом он был меньше меня, а руки длинные, кулаки большие. Волосы острижены под «ерша». Круглая седая борода аккуратно выровнена ножницами, усы длинные. На носу синие очки. За ухом столярный карандаш и кудрявая стружка. Он грубо спросил:

— Чего надо?

— Здорово, Лука Ильич!

— Доброго здоровья, если не врешь. — Лука Ильич подошел поближе, поднял на лоб очки. — Да никак это Михалко? Право, Михалко. Откуда?

— С верхов недавно приплыли. Не видал, что ли?

— Да я свету божьего не вижу. Из столярки не вылажу... А это кто, позволь спросить?

— Ховрин Сашка — наш матрос. Земляк, знаешь ли.

— Так, так. Угостить вас, ребята, нечем. Только чак. — Лука Ильич снял с печурки жестянку с клеем и поставил чайник. — Перекипело, ядрена муха. В ногах правды нет. Садитесь. — Он придвинул нам два стула, сам сел в мягкое плюшевое кресло.

— Чем столяр не барин? Принесли поправить эту штуковину. Час поправляю да неделю сижусь. Ну и Лука Ильич! — похвалил он себя. — Все-таки угостить-то вас не мешало бы. Гости редкие... Обождите-ка.

Лука порывлся в шкафчике с инструментами и вынул бутыл с мутно-желтой жидкостью.

— Что это у тебя? — спросил Кондряков.

— Наше шампанское. Штуковина пользительная. Все кишки отполирует.

Мы отказались от такого угощения.

— Знаешь ли, Лука Ильич, — сказал Михаил Егорович. — Ты с политуры совсем ослепнешь.

— Чепуха! Не желаете — не приневоливаю. Ну, со свиданьем вас. — И старик опрокинул полную кружку политуры.

Спать мы устроились на душистой стружке. Я сквозь

сон слышал, как Лука Ильич ходил по столярке, стучал инструментом и напевал:

Наши в поле не робеют
И на печке не дрожат...

Утром, напившись чаю, мы с Михаилом Егоровичем пошли в контору. Меня взяли в ученики к Луке Ильичу на жалованье — пять рублей в месяц.

Для Кондрякова пока работы не оказалось. Недели через две, сказали ему, будут принимать в мастерскую слесарей. Тогда, дескать, и пожалуйста со всеми документами.

Кондряков на это время уехал в город по каким-то своим делам, а я определился к Луке Ильичу.

В столярке все делалось вручную. Ленточная пила, сверлилка, токарный станок — все надо было вертеть, крутить при помощи мускульной силы. В первый день я исполнял обязанности мотора при токарном станке. Вертел большое колесо, а Лука Ильич точил балясины.

Из-под резца летели мелкие стружки. Они попадали в лицо и больно кололи. Я жмурился, защищая глаза. Из-за малой передачи шпиндель крутился медленно, а Лука Ильич подгонял меня:

— Ходи веселее. А то брякну по башке. Наддай, наддай!

Когда мы кончили эту работу, Лука Ильич дал другую.

— Я концы заделывать буду, — сказал он, — а ты все трубки и косяки наточи хорошенько.

— Какие косяки? — спросил я.

— Оконные! Дурак ты бестолковый! Вот эта косая стамеска называется косяк, а эта круглая — трубка.

Когда я выточил косяки да трубки, Лука Ильич заставил меня долбить дыры в ножках для табуреток. Делал я это неумело, и он ворчал:

— И кто тебя родил, такую бестолочь? Долотом долби, долотом. Убери стамеску... Зачем киянку душишь? Эх ты, ядрена муха!

Лука Ильич выхватил у меня из рук деревянный молоток-киянку и показал, что надо держать ее за конец ручки, а не у шейки, как я.

В глаз попала стружка. Я глядеть не могу, а Лука Ильич ругается:

— Выставил шары-то, полошарый. Работать тебе лень, вот и выставил.

На работе Лука Ильич был зверь зверем. Ничего не покажет без ругани. Но после работы становился совсем другим. И стружку из глаза вытащит и раз десять спросит:

— Как с глазом? Не заболел бы.

Во время сна он укрывал меня своим зипуном и каждое утро беспокоился.

— Не холодно было спать-то? Ты у меня, сынок, не простынь, не захворай грешным делом.

Во время обеда — обед мы сами варили в столярке — старик подкладывал мне лучшие куски.

За две недели я так сжился с Лукой Ильичом, как будто всю жизнь провел с ним вместе. Многому научился я у старого столяра. Самостоятельно уже делал табуретки, вязал ящики в глухой шип, точил на токарном станке несложные детали.

Работы было много. Мы целыми сутками не выходили из мастерской. Я не знал, что делается в затоне. Только мельком видел из окна, как ставят на зимовку последние суда. Иногда слышал «Дубинушку», которую орали бурлаки на выгрузке такелажа.

Потянуло чадом из слесарки. Из «нижних» команд пароходов стали поступать сюда первые рабочие. Шла третья неделя, а Кондрякова все еще не было. Мы с Лукой Ильичом опасались того, что он может приехать к занятому месту.

Оставалась пока не занятой должность кузнеца. Луке Ильичу сказали в конторе, что если Кондряков опоздает на день — на два, то и это место будет занято.

И вот сидели мы вечером в столярке и пили чай. Обсуждали, как же быть, если опоздает Михаил Егорович.

— Без работы не останется, — говорил Лука Ильич, прихлебывая из блюдечка крепкий чай. — Да, мужик он настоящий — Михалко.

И вдруг в люке лестницы показался легкий на помине Кондряков.

— Принимайте гостей! — весело сказал он и поднялся в столярку. За ним маячила физиономия... Андрея Заплатного.

— Хороши гостеньки! — удивился Лука Ильич, когда Кондряков протолкнул вперед своего дружка.

На Заплатном, несмотря на холодную погоду, было рваное пальто, сквозь дыры которого проглядывало грязное тело. На босых ногах опорки. Борода на одной стороне перекошенного лица торчала, как клок старой пакли. Под глазом синяк. Плешивая голова прикрыта кучей шапчонкой.

Заплатный явно был сконфужен. Без единого слова кивком головы поздоровался с нами и сел на верстак. Лука Ильич тут же согнал его.

— На столярном-то верстаке я сам никогда не сижу. Пересядь-ка ты, друг, сюда, на чурбан.

Заплатный молча пересел и крепче запахнул свое «модное» пальто.

— Эх ты, ядрена-зелена! — с чувством сказал Лука Ильич. — И где ты, Михайло, подобрал такое чудо?

— Насилу, знаешь ли, нашел подлеца. Видали, около пристани Ржевина камни выгружают? Тут я его и забуксировал. С галахами связался...

— Я знаю, с кем компанию иметь! — заговорил наконец Заплатный. — Эх! Мри душа неделю, а царствуй день.

— Хороша компания. Нашел люмпенов — друзей... А как здесь тебя спать-то положишь?

— Да, не одна меня тревожит, а полтыщи развелось, — сокрушенно сказал Заплатный. — Как-нибудь выскоблится.

Мы развели печурку, нагрели воды и устроили баню. Пока Заплатный шпарился кипятком, мы сожгли все его лохмотья вместе с опорками. Одели во все свое. Я отдал отцовскую рубаху, Кондряков шаровары. Лука Ильич дал лапти и силой напялил на Андрея свой пиджак.

— Заработаю, товарищи, все отдам... Не стою я этого.

— А ты, знаешь ли, не прибедняйся и помалкивай, если виноват... И никаких галахов! Понимаешь? — предупредил Михаил Егорович.

Ночью сквозь сон мне показалось, что за шкафами, где был временный закуток Луки Ильича, булькает вода и слышится приглушенный разговор. Я понял, что Лука Ильич нашел себе подходящую пару. Утром я об этом ничего не сказал Михаилу Егоровичу, потому что боялся, что он окончательно рассердится на Андрея.

Для Заплатного в слесарной мастерской места не оказалось. Он поступил на работу по разборке паровой машины.

Из деревни пришла Катя Панина и передала Кондрякову шерстяные носки своей работы. Лука Ильич долго подтрунивал над Кондряковым:

— Не гляди, что черный да не баской, а какую девушку забуксировал! Ай да Михайло Егорович!

Панина нанялась в мастерские поварихой. Так оказалась в сборе вся наша бурлацкая артель.

— Все ко мне слетелись, как к атаману Ермаку! — хвастался Лука Ильич.

Катя Панина отвечала ему, передразнивая местный затонский говорок:

— Собирайтесь, биси, — сатана-то здися!

Жить в столярке такой большой артелью стало нельзя. И мы вчетвером — Кондряков, Заплатный, Лука Ильич и я — в ближайшей деревне сняли под квартиру клеть.

Человека всегда тянет на старые места. Хочется побывать там, где жил раньше. Так и я, выбрав свободное время, решил сходить в будку бакенщика.

Бакенщик, заменивший Петра Казаковцева и отказавший мне в квартире, сейчас обрадовался моему приходу.

— Подумать только. Целую зиму одному жить на отлете. И к затону все дорожки заметет. И квартирантов на зиму нет. Скажи-ко, какой дурак согласится за три версты пурхаться в снегу?.. А вы где зимовать оставились? — спросил он меня.

— В Королевой, у Ловушкина.

— В клети? Заморозят они вас зимой. Ловушкин мужик кряжистый. В лоцманах только три навигации проходил, а сколь добра у него наворочено!

Бакенщик наклонился ко мне и сказал шепотом, хотя никто нас и не подслушивал, так как мы вдвоем сидели в его будке:

— Говорят, акционер он. Вот он кто... Евлампий Ловушкин.

Простившись с бакенщиком, я направился на приверх затона. Заглянул в сарай Семена Юшкова. Пусто в сарае. В углу валяется старый канат, да на колоде ржавеет ерш Андрея Заплатного.

Обошел я все знакомые места и сел отдохнуть на заброшенный старый якорь.

Быстро-быстро бегут с севера осенние густые тучи. Падает тяжелая, как град, крупа. По реке плывет сало.

Опущены в затоне гордые мачты судов. Не слышно гудков парохода.

Зимогоры отдирают боковые доски с брандвахты, на которой я пробурлачил свою первую навигацию. Кажется, что с большого невиданного зверя сдирают живую кожу, обнажают ребра, частые и черные.

Тоскливо осенью в затоне.

2

Домой с работы мы ходили вместе. Впереди шагал длинный, черный Михаил Кондряков и басил на всю деревню, следом ковылял хромой Андрей Заплатный, а за ним я в «семиверстных» сапогах. Рядом со мной семенил Лука Ильич. На носу у него синие очки, а за ушами липовые стружки.

Дом Ловушкиных считался самым богатым в деревне. Ход в нашу клеть был сделан прямо с улицы, а не со двора, как принято в прикамских деревнях. Летом в клетке бабы ткали холсты, парили солод, сушили грибы. Зимой ее сдавали бурлакам. Мы сговорились с Ловушихой за десять рублей в месяц на хозяйских дровах.

Как-то само собой устроилось, что топить печь стал Андрей Заплатный, а варить похлебку Лука Ильич. Я был на побегушках за продуктами. Михаил Егорович числился главным хозяином квартиры и вел дела с Ловушихой.

По первому снегу приехал сам хозяин дома лоцман Ловушкин. В широко распахнутые ворота со звоном бубенцов влетела лихая тройка. Кучер соскочил с козел и помог работникам выгрузить из кошевы пьяного Евлампия Ловушкина.

Вслед за тройкой подъехали четыре подводы с добром, награбленным хозяином в счастливую навигацию.

Я глазел на обоз ловушкинского добра. Андрей Заплатный ткнул меня в бок:

— Ты, бурлачок, что привез из Верхокамья? Ничего? Одни вши! Учись у добрых людей, как бурлачить.

— Отруби руку по локоть, кто не волокет! — высказался Лука Ильич.

— Ты, старец божий, много ли наволок? — спросил Заплатный.

— Я? Ничего.

— Ну и помалкивай.

— Знаю. Самого меня жизнь до седых волос, до слепоты изволочила.

3

К нам в мастерскую привезли двери и разные рамы с судов для ремонта. Где угол сгнил, где надо заменить филенку, где переставить горбыль, где в рамах углы расшатались. Углы мы «садили» на клей да еще крепили шурупами.

— На реке сыро, — учил меня Лука Ильич, — клей от сырости размокнет, а шуруп, он, брат, медный, не размокнет.

Вместо дюймовых шурупов нам со склада давали двухдюймовые. Приходилось укорачивать их — обрубать зубилом. Пристроился я в сторонке с обрубком железной балки вместо наковальни и рубил. Прижмешь шуруп зубилом к наковальне, ударишь молотком, и... отрубленный конец с визгом летит направо, а шуруп влево, в стружку. Попробуй его найти. Положишь шуруп к себе головкой, стукнешь молотком, отрубленный конец летит в стружку, а шуруп прямо в живот. Больно до слез.

В конце дня кто-то заговорил со мной «под руку», я ударил неточно и сломал зубило. Лука Ильич побранил меня, по своему обыкновению, и отправил в слесарку.

— Иди, Михалка заправит.

Я спустился в слесарку. Кондряков работал у горна. Двой парней качали меха. В горне алела железная полоса.

— Дядя Кондряков, — попросил я, — нельзя ли заправить зубило?

А он даже не взглянул на меня. Вытащил клещами из горна железо, положил на наковальню, и парни с двух сторон заработали кувалдами. Во все стороны сыпались крупные искры. Один из парней огрызнулся:

— Не мешайся, шибздик!

Положили в горн новую полосу. Я опять попросил:
— Михайло Егорович! Мне бы зубило исправить.
Сломалось.

Кондряков закурил и стал клещами перевертывать полосу в горне.

— Зубило мне надо исправить, — не унимался я.

И совсем неожиданно Кондряков обложил меня настоящим бурлацким матом. Никогда я от него не слышал такой ругани. Не знал, что и подумать. Отошел от горна и сел от обиды на кучу железа.

Когда отковали вторую полосу, Кондряков сказал:

— Ховрин, давай зубило!

Я отдал. Он нагрел зубило в горне, заправил на наковальне, потом накалил добела и бросил в ведро с водой. Вода зашипела.

— Бери! — крикнул Кондряков. Я вытащил из воды свое несчастное зубило и исподлобья взглянул на Кондрякова. Он посоветовал мне:

— Никогда не говори под руку. Слышишь? Пошел отсюда!

Я бегом пустился в свою столярку.

Когда мы после работы пришли домой, клеть оказалась открытой.

— Воры! — вскрикнул Лука Ильич.

— Что у тебя воровать-то? — со смехом сказал Заплатный. — Пилу беззубую?

В клетки оказались новые квартиранты. У печи за перегородкой, где до этого спал Заплатный, поселился водолив с баржи дядя Афанасий с женой и годовалым сыном.

Хотя и стеснили нас эти сожители, и ребенок часто ревел, но зато стало у нас куда уютней, большая клеть приняла жилой вид. Луку от печки отставили. Кухарить стала жена водолива тетка Домна.

Маленький Илюшка начал ходить. С Андреем Заплатным у него установилась особенная дружба. На обезображенного Заплатного незнакомому человеку и глядеть было жутко, а мальчишка больше всех тянулся к нему. В нерабочие дни Андрей Иванович из дому никуда не выходил. Все возился с Илюшкой, который с рук его не слезал.

Водолив шутил:

— Отбил ты у меня сына. Смотри, красавец, бабу не отбей. Отобьешь, так не возрадуешься.

К рождеству Домна сварила корчагу браги. В первый день праздника к нам собралась компания играть в лото.

На кон ставили по две копейки. Грызли семечки, пили бражку и «банковали». Лука Ильич вытаскивал из мешка «бочонки» и кричал:

— Барабанные палочки!.. Железная дорога!.. Два сапога пара!.. Вокруг... Кто кончил?.. Чертова дюжина! У кого нету? Дед! Восемьдесят девок...

«Чертова дюжина» — это тринадцать. А «два сапога?» А «дед»? Я не понимал, что это такое, и спрашивал соседа, часто закрывал на карте не ту цифру и проигрывал...

С крепкой браги стали заплетаться языки. Некоторые уже не видели знаков на картах лото. Все перепуталось. Заплатный сгреб со стола все карты, бочонки, пятаки и копейки и запел какую-то удивительную песню, которую никто из нас не знал. Подхватил ее только Михаил Егорович. Говорилось в песне о нужде, о том, что рабочий одевает всех господ, а сам живет голым.

Вдруг открылась дверь, и песня оборвалась. В клеть вошел человек в шапке-ушанке, в залоснившемся полупальто на «рыбьем меху», с короткими рукавами. Кисти рук у него были неестественно искривлены. На груди висела дощечка, а на ней написано:

«Уважаемые благодетели.

Подайте на пропитание больному труженику».

Вошедший помолился на икону и поздоровался:

— С праздничком, добрые люди. Не осудите, что помешал вашей честной компании.

— Проходи, садись! — пригласил его водолив. — Чего дрожись? Замерз, видно?

— Нет! Болезнь у меня — подагра. Тридцать лет в Мотовилихе протрубил. Нынче по миру шляюсь. Кормлюсь кое-как.

— Вывеску для чего повесил? — спросил Андрей Заплатный.

— Просить стыдно. Весь век своим трудом жил. Язык не поворачивается просить.

— Прими, ради Христа, — проговорила Домна, подавая ему копейку.

— Благодарю, голубушка. А Христос ни при чем для мастерового.

Андрей Заплатный усадил инвалида за стол. Подал кружку браги.

— Пей! Поминай бурлака!

Мастеровой выпил и разговорился:

— Из железа я, как из теста, все слеплю, все сделаю. А отнялись руки, и нет мастера. Одна видимость... До ручки дошел.

— В сторожа можно поступить, — сказал водолив Афанасий.

— Припадочный я, — объяснил мастеровой. — Припадки на молодой месяц у меня. Какой я сторож? Хоть самого унеси.

Разошлись по домам гости. Наши легли спать. Только в переднем углу на лавке остались сидеть в обнимку Андрей Заплатный и калека-мастеровой. Они пели песню:

Кто кормит всех и поит?
Кто обречен труду?
Кто плугом землю роет?
Кто достает руду?
Кто одевает всех господ,
А сам и наг и бос живет?
Все мы же, брат рабочий.
Нужда нам спину гнет,
Нужда слепит нам очи,
Нужда и в гроб ведет...

4

Пришла ширококожая масленица.

По дорогам с гиканьем каталась на тройках молодежь. При встречах надо было залезать по колено в снег, иначе ни за что, ни про что получишь по спине удар плетью.

Мужики в деревне Королевой с утра до вечера ходили друг к другу в гости. По ночам жены подбирали пьяных мужей на улице. Евлампия Ловушкина каждый вечер приносили домой на руках.

За деревней ледяная гора — катушка: раскат на версту, до самой Камы.

На катушку с раннего утра собирался народ. Катались на стальных кованках — «резовиках», обитых бархатом, с шелковыми кистями.

Обычно у катушек чинно, рядом стояли деревенские красавицы и ожидали приглашения.

Вот к девушкам подходит парень и говорит:

— Мария Андреевна! Не желаете ли скатиться? — и идет, не оборачиваясь, на голован — вершину катушки, а за ним счастливица.

Парень садится в санки. В руках у него острые бороздилки из баржевых гвоздей для правежа. Девушка садится парню на колени, и резовики летят с голована.

На катушку приезжали и молодожены. Скатывались они по одному разу и уезжали на другую катушку, в другую деревню: на людей посмотреть и себя показать.

Заявлялись на катушку пьяные мужики. Они дурачились, приставали к девушкам. Те жаловались своим кавалерам:

— Гриша! Вань! Женатики пришли, мешаются...

Парни уговаривали мужиков, а иногда и силой выпроваживали с катушки.

Среди народа бродил шестидесятилетний дурачок Степка и охальничал. Спрашивали его:

— Степа, пошто не женишься?

— Мамка не велит, — отвечал дурачок.

У ребят он просил табаку, собирал окурки на дороге, жевал их и плевался, а народу было смешно.

Я затосковал. Дома тоже, наверное, сделана катушка. Друзья-товарищи праздничают, с девками катаются, а здесь, на чужой стороне, и покататься не на чем.

В последний день масленицы — в «целовник» — я сидел у окна и с тоской смотрел на улицу.

— Ты чего пригорюнился? — спросила Домна. — Хоть бы на катушку ходил.

— Санок-то у меня нету. Они катаются, а я должен стоять да завидовать.

— Я у хозяйки попрошу, — сказала Домна. — На амбаре белье недавно развешивала, так какие-то видела. Сам-то Евлашка Ловушкин не пойдет ведь кататься. Зря стоят резовики на амбаре.

К большой моей радости, Домна действительно спустила с амбара резовики. Бархат на сиденье давно продрался, кистей нет, полозья заржавели. Но все это пу-

стяки. Кататься и на таких можно. Смахнув с резовиков пыль, я бегом побежал на катушку.

День шел к вечеру, и катанье было в самом разгаре. По раскату одна за другой неслись на санках веселые пары. Я пригласил скатиться первую попавшуюся на глаза девушку. Она не отказалась. Протискавшись на голован, — так много было катающихся, — я усадил ее себе на колени, и мы покатались. Девушка несколько раз, пока мы катились, оборачивалась ко мне, смеялась, что-то говорила, а я из-за свиста ветра и визга полозьев ничего не слышал.

Но вот и конец. Санки с ледяного раската покатались по рыхлому снегу, остановились. Я под руку с девушкой пошел обратно к головану.

— Я обижаюсь, — заговорила она, — сегодня «целовник», а ты со мной не поцеловался. Знать-то ты, городской, деревенскими брезгуешь.

Я почувствовал, что у меня горят уши.

— Подружкам пожалуюсь, — продолжала она. — Никто с тобой не покатится больше... Ой, ты — стеснительный!..

С ней же я покатался второй раз и осмелился — поцеловал несколько раз. Одну за другой я перекатал уже не помню сколько девушек и со всеми перецеловался.

Когда стемнело, у катушки зажгли фонари и факелы. Домой уходить не хотелось. Я стал катать девушек по второму разу. Одна сказала мне по секрету:

— Поберегись. Ребята тебя бить собираются...

— А за что? — удивился я.

— Не наш ты, из зимогоров. Говорят, девок отбиваешь от деревенских.

Когда я как ни в чем не бывало пошел со следующей девушкой на голован, мне загородил дорогу коротконогий, широкоплечий парень:

— Куда прешь?

— На кудыкину гору, — попробовал отшутиться я. — Пропусти!

Меня окружили парни и оттеснили от катушки.

— Чего балуетесь? Я сам уйду...

— Не уйдешь!

Кто-то ударил меня кулаком в лицо. Кому-то я дал сдачи. Девки подняли шум. Кто-то ломал ближний огород. Размахивая бороздилками, угрожая запороть каж-

дого, кто приблизится ко мне, я вырвался из кольца и побежал. Меня догнали. Били кольями по ногам, по спине.

Поздно ночью, когда уже весь народ ушел с катушки, меня подобрали девушки, которых я катал, и на санках приволокли домой.

— Любишь кататься — люби и саночки возить! — Такими словами встретил меня Лука Ильич. — Покарябали?

Домна попросила у Ловушихи лошадь и привезла из Левшина фельдшера.

Фельдшер осмотрел меня и объявил:

— Ничего душевредного нет. Ссадины смазать йодом, на синяки ставьте компрессы. Заживет... В Левшине прошлый год одного такого совсем убили до смерти. А вчерась, — знаете Ваньку Галку? — ноги переломали. На то она и масленица.

Когда увезли фельдшера, Андрей Заплатный, чтобы сразу вылечить, вылил мне на спину целый пузырек йода. Я от жгучей боли чуть не выбежал на улицу.

Несмотря на все старания моих сожителей, я провалялся на полатах две недели. А когда явился в мастерскую... получил на руки паспорт. Меня выгнали с работы.

— Ничего не поделаешь, — сочувственно говорил мне вечером Лука Ильич. — Тебя на третий день уже уволили. Я жалеючи не сказал... И сунуло тебя к пьяным угланам. Теперь что делать-то?

— Не тужи! — успокаивал меня Кондряков. — Работенка в затоне найдется. Поговорю, знаешь ли, с приятелями.

А Заплатный ругался:

— Сволочи! За болезнь рассчитали. Самого бы заведующего Желяева треснуть по башке колом!.. Попадут мне эти кержаки деревенские весной в затоне, все кишки вымотаю. До смерти не забудут.

— Насчет Желяева ты прав, — соглашался Кондряков, — а деревенские тут ни при чем. Темнота, знаешь ли.

У заборки стояла Домна с Илюшкой на руках.

— Смотри, Илюшенька, — говорила она. — Тоже вырастешь. Одна беда с вами. До полусмерти избили, с работы уволили. Чтобы треснуть им — богатым богатыням.

За перегородкой на топчане зашевелился водолив.

— Афоня! Сашку из мастерской уволили! — крикнула Домна.

— Как так? Почему?

— Тебя не спросили.

Водолив вышел из-за заборки.

— Знаешь что? — предложил он мне. — Иди к нам на караван на околку льда. Дело бурлацкое. Что в столярном деле хорошего? Гроботесы! И заработок больше на околке. Хотя работа трудная, зато на вольном воздухе.

И я поступил на караван.

Время в труде проходило незаметно. Подкрались весенние оттепели. Лед уже больше не намерзал вокруг судов. С околки нас перевели в устье затона рвать порохом ходовую.

Мы выдалбливали во льду лунки, спускали в них фунтовые банки с порохом и бикфордовым шнуром. Шнурок поджигали и что есть силы убегали в сторону. Раздавалось глухое оханье взрыва. Кверху поднимался фонтан воды и льда. Мне было весело и интересно.

В затон начали приходить артели бурлаков. Началась обычная весенняя суматоха по подготовке судов к новой навигации.

Приехал подрядчик Юшков, а с ним и Вахромей Пепеляев. Однажды Вахромей остановил меня у лавки Агафурова.

— Стой! Зиму не виделись, бурлацкая богородица. Как поживаете, крепко ли прижимаете?

— Ничего, поживаем, — ответил я, хотя с ним мне и видеться-то не хотелось, не то что говорить.

— Я, брат, в Перми в пивной у Чердынцева вышибалой два месяца прослужил... Жалованье да чаевые, да девочки. Сходно получилось. На углу Пермской и Оханской видал прачечную? Там у меня Маруся одна осталась. Уезжал — ревела. Ей-бо! Приходи в субботу, съездим на воскресенье к девочкам.

Я едва отвязался от Вахромея.

5

Солнце, как соляным раствором, изъедало слежавшийся снег. На реке появились польньи, лед стал ноздреватым. Вода вначале прибывала по вершку в сутки, потом по четверти, а дальше — каждый день по аршину. Потом она вышла на луга, затопила все низины и отрезала от деревни наш затон.

Добровольные наблюдатели не спали ночи, дежурили на берегу в ожидании первой подвижки льда.

Начался ледоход десятого апреля. Все берега усеялись народом.

— Гляди-ка. В нашу сторону прет!

— Ну и насадило льдин на яру! Как кружево.

— На дамбе, видишь, — гора помяненная. Вон она расходилася, водичка-матушка!

Лед шуршал, трещал и стремительно плыл по реке, тащил на себе темные зимние дороги, пихтовые прутья — украшение прорубей — и разный хлам, сорванный с берегов.

Тут и там слышались разговоры:

— Попробуй-ка сейчас из затона какую-нибудь баржонку на фарватер вывести. Изотрет! В пильную муку изотрет.

— Кто-то выдумал затон, должно быть, умный был человек. Кругом такая кутерьма, а в затоне, как в озере. Тишина!

И действительно, в ласковом тиховодье затона суда хоронились, по выражению Луки Ильича, как у Христа за пазухой. Пусть скандалит река, ничего ей не сделать с затонским караваном!

В первый день ледохода бурлаки обычно бросали работу и праздновали. Команда винтового парохода «Стрела» тоже не отстала от других.

Решив прокатить гостей по затону, пьяный машинист поломал машину. Команда частью пошла под суд, частью была уволена.

На «Стрелу» набирали новых матросов.

Рулевого нашли быстро. На эту должность поставили, хотя ему и не хотелось, нашего сожителя по клетки водолива Афанасия Ефимовича. Ему удалось пристроить меня в матросы. Должность машиниста мог занять только Андрей Заплатный. Пригласили его, а он уперся:

— Стыд один — на такую козявку машинистом. Я на морских пароходах плавал механиком. Не пойду!

Едва его уломали.

Я перебирался на «Стрелу» и в первую же вахту протосковал всю ночь. Я мечтал стать водолазом, а тут снова целую навигацию матросить. Кран Пигалева был спущен на Волгу, а на камских кранах в водолазах нужды не было. Да и начальство считало, что доставать утонув-

шие якоря с петлей на шее по шесту куда выгоднее, чем с помощью водолаза.

Для «Стрелы» с завода Каменских привезли новый гребной винт. Заплатный приготовился поставить его на место.

«Стрелу» ввели в шалман карчеподъемницы. Талями отодрали корму парохода от воды. Обнажился искалеченный винт. Заплатный на маленькой лодке подобрался под корму с инструментами и новым винтом. Он благополучно снял остатки старого винта, надел на вал новый, и вдруг цепи, поддерживающие пароход, «стравили». Заплатный исчез под водой. Люди на берегу замерли. С карчеподъемницы полетели спасательные подушки. Народ волновался.

— Что такое? Машиниста раздавило?

— Спасать надо! Кто пловец?..

После секунды оцепенения поднялась суета. Двое смельчаков бросились ниже карчеподъемницы в воду. Матросы хватались за багры... Неожиданно в самом шалмане всплыла перевернутая лодка, а рядом с ней Заплатный. Бросили ему конец и вытащили на палубу.

— Где это видано? — возмущались зимогоры. — Надо на заводе такую поправку делать, а не в затоне. Чуть не погиб человек.

— Перегонять-то «Стрелу» в город денег стоит, а бурлацкая жизнь не стоит ни гроша...

Андрей отогрелся в машинном отделении. Снова подняли корму парохода, и машинист спокойно закончил свою работу.

— Ну и дядя! — судачили в народе. — Другой ни за что бы не полез во второй раз к черту на рога.

После ремонта «Стрела» развела пары, и нас заставили выводить из затона суда и передавать их буксирным пароходам.

Заплатный ворчал:

— Черт меня дернул поступить сюда. Мы здесь вроде и не бурлаки вовсе, а перевозчики какие-то.

Потом нас вызвали в город.

Перед рейсом пришли проститься с нами Кондряков и Катя Панина. Кондряков тоже на днях уезжал из затона под начальство Калмыкова, начальника постов. Вместе с ним уезжала и Катя Панина. Когда они ушли с парохода, я спросил Заплатного:

- Что она? Поваром у Кондрякова или кем?
- Нет, парень. Такая жизнь поваром у Кондрякова не будет. Поженились они. Разве не слыхал?
- Не-ет! А когда венчались? Где?
- Вокруг мастерских венчались. Вот где... Толковый ты, Сашка, а, должно быть, молод — ничего не понимаешь...

6

«Стрелу» поставили на мелкую работу. Мы развозили по пристаням и перекатам начальников, возили на дачи разных барынь.

Как-то в начале июня доставляли на казенные суда пакеты со строгими приказами: привести в блистательный вид водолазные краны, все карчеподъемницы по случаю проезда по Каме на пароходах «Межень» и «Стрежень» царских дочерей.

Когда мы подходили к суденышку, Афанасий Ефимович сдавал под расписку пакет, а из машинного отделения высывалась вымазанная в мазуте физиономия Заплатного.

— Водохлеб! — обращался он к старшине или багермейстеру, получившему пакет. — Может быть, из-за тебя царские девки по Каме едут? Большая честь, что они проплывут мимо твоего корыта.

— Что корыто, так ты брось! У меня монитор справный. У тебя пароход — это, брат, не пароход и не лодка, а так — середка на половинке, — глумился старшина, задевая самую большую струнку Андрея Заплатного.

При встрече с другим судном Андрей кричал:

— Водолив! Бороду надо отрастить, чтобы на Гришку Распутина походить.

Водолив смущенно разглаживал свою большую рыжую бороду, а Заплатный хохотал.

На перекате ниже города Оханска на одной из карчеподъемниц принял пакет сам старшина. Распечатал его, прочитал вслух приказ и, к удовольствию Заплатного, заявил:

— Ничего красить не буду. Подумаешь, едет какая-то шкура, а я изворачивайся. Скажи начальнику, что, когда поедут царские лахудры, я вместо флага портянку повешу...

Через неделю с нами поехал техник, чтобы проверить, как выполняется приказ.

Около города не только суда, но и бакены были выкрашены яркой, свежей краской. На излуцинах реки появились новешенькие перевальные столбы. Но чем дальше от города, тем хуже. Карчеподъемницу со строптивым старшиной мы нашли с трудом. Затянулась она за остров в воложку и замаскировалась кустарником. Команда шлялась где-то на берегу, а старшина удил рыбу.

Техник ругался на чем свет стоит, а старшина отвечал спокойно:

— Воля ваша, а красить и смолить судно я не буду. В прошлом году сам просил, чтобы выкрасили, однако мне отказали. Всю навигацию ходили некрашенные. А сейчас с чего это?

— Дурак! Их императорские высочества великие княжны едут. Ты не шути!

— А мне хоть кто. Хоть сам дьявол, хоть государь император...

На следующем плесе мы встретились с Кондряковым. Он служил здесь постовым старшиной. Я рассказал ему о случае с карчеподъемницей.

— Ага! Там старшиной Данилович. Немного сглушил старина.

— Что с ним будет, Михайло Егорович?

— Уволят, а может быть, и засудят за крамольные разговоры.

— Что это, Михайло Егорович? Какие разговоры?

— Не может рабочий человек так жить, как жил до сих пор. И камни заговорили. А ты знаешь, что везде пошли забастовки? В Петербурге настоящая война...

Наш рулевой перепугался даже:

— Тише ты, Кондряков. Услышит техник, так в другой раз и говорить-то не захочется. Лучше помолчи.

— Молчали, знаешь ли, триста лет. Нынче говорить будем! — заявил Михаил Егорович.

Ниже на перекате опять неожиданная встреча. На берегу с пестрой рейкой стоял Вахромей Пепеляев.

— Ты откуда? Как сюда попал? — спросил я Пепеляева.

— Я здесь наблюдатель водомерного поста. Уже второй день. Наше вам почтение, господа зимогорики!

— Наблюдатель? — удивленно спросил Заплатный. — Выгнали, что ли, из приказчиков?

— Меня? Плакали, когда уходил. Сенька Юшков тридцать три платка смочил слезами. Война скоро, господин механик. Казенных-то служащих на войну не возьмут. Я и тово... Водичку кому-то тоже надо мерять.

— Улизнул, значит, шкура.

— Жить-то всем хочется, моряк сухого болота!

В народе действительно ходили разные слухи о войне:

— К нашему белому царю в Сан-Петербург приехал запросто французский царь Пункарь из Парижа. Быть войне.

— В газете читали, что англичанка хорохорится. Обязательно война будет.

Двадцатого июля мы проходили мимо пристани Хохловки. С верхов нам навстречу тихим ходом шел пассажирский пароход «Иван». Он то и дело подавал беспорядочные свистки: то прощальные, то тревожные. Пассажиры на пароходе орали, ревели, пели песни, кричали «ура». Оказалось, началась мобилизация. Германия объявила нам войну.

На верхней палубе «Ивана», куда пассажирам раньше вход был воспрещен, сотни людей бесновались в дикой пляске под визг и вой разбитых гармошек. Пароход шел с креном на правый борт.

Заплатный выглянул из машины и сказал:

— Ого! Повезли на убой.

Мы подрулили ближе к пристани. На берегу такой же содом. «Иван» с большим трудом пристал к дебаркадеру, и началась свалка.

Женщины крепко держались за своих мужей. Они волоклись по мосткам и выли «по мертвому». Силой отрывали их от мобилизованных и выпроваживали на берег. Поодаль пьяная молодежь била урядника. Кого-то раскачали на корме дебаркадера и перебросили прямо на верхнюю палубу парохода.

Когда пароход поплыл дальше, его провожал плач и вой несчастных солдаток и солдатских матерей...

Нам передали телеграмму с требованием немедленно возвратиться в город. Оставив позади пароход с мобилизованными, мы в тот же день пришли в город и пристали к казенной пристани. Оказалось, что здесь нашего руле-

вого Афанасия Ефимовича ждала повестка о мобилизации.

И остались мы вдвоем с Андреем Заплатным. Нового рулевого найти было нелегко — мобилизация смахнула с пароходов и пристаней больше половины бурлаков.

— Видал, Сашка, — трунил Заплатный, — как все на германца окрысились?

Нашу «Стрелу» передали в водную полицию, а от нас попросили свидетельства о благонадежности, для чего вызвали к самому начальнику водной полиции Степанову.

Заплатный выслушал требование Степанова, не говоря ни слова, повернулся к нему спиной и вышел из канцелярии.

— Ну и гусь! — возмутился начальник.

Я последовал за Андреем.

7

Нас выгнали со «Стрелы» без копейки денег. И мы отправились по шпалам в Королевский затон.

Навстречу нам то и дело попадались воинские эшелоны. Из телячьих вагонов неслись песни и наш русский православный мат.

На полустанке кого-то били.

— За что? — спросили мы зрителей.

— За шпионство. Немецкая харя в фельдшерах служил. Все известно.

Затон был пуст и безлюден. Мы прошли почти весь берег и не встретили ни единого человека. На воде стояли две баржонки с алебастром и, как чудо, карчеподъемница, та самая, которую отказался красить ее старшина. Она и сейчас не была покрашена.

— Наверное, матросов надо, — предположил Заплатный. — Потому и стоит на приколе.

Мы торопливо поднялись по трапу на палубу и столкнулись... с Василием Федоровичем Сорокиным.

— Милости просим! Вот, говорят, гора с горой не сходится... А я вместо Данилыча. Заходите в каюту. Не забыли, спаси вас Христос.

Андрей ощерился:

— Для чего в каюту? Можно и здесь поговорить.

— Ты не гордись. Знаешь сам: пустой колос всегда торчит — гордится, потому что ничего в нем нет. Полный колос всегда к земле клонится.

— Уж не ты ли к земле клонишься? — спросил Заплатный.

— Господи! Бывает, что и поклонисься. От этого не переломишься. Я на покое жил, служить не хотелось. А мне и говорят: «Ты, старичок, знаешь верха, а мы не знаем». И взяли меня опять на старую должность, дай им бог здоровья.

— Дальше что скажешь? — прервал Сорокина Заплатный.

— Я не горжусь. В ножки вам кланяюсь. — И Сорокин низенько поклонился, достав рукой до пола. — Нам с вами делить нечего... Идите ко мне в матросы. Вижу — вы не у дел. Жалованье даю простому матросу двадцать пять рублей, а старшему матросу сорок... Отправляют меня на Кельтму. Ягод там, рыбы...

Я не удержался — сказал:

— Комаров...

— Комары не волки — еще ни одного бурлака не съели... Я и говорю. Знаешь, ныне какой матрос пошел? Нету матроса. Все на войну ушли. Вам все едино. Не ко мне, так к другому. Соглашайтесь, право.

— Кто старший матрос? — спросил Заплатный.

— Нету пока его. Желаеться, Андрияха? Тебя поставлю. Хотя ты ершистый, а работника лучше не найти. Потом еще будешь старшим, значит — хозяином. Я на работе не буду мешать твоим распоряжениям. На-ко, возьми ее — всю карчеподъемницу. — Сорокин протянул обе руки с раскрытыми ладонями.

Долго думал Андрей Заплатный о заманчивом предложении Сорокина и, наконец, согласился.

Меня же Сорокин и упрашивать не стал.

— Куда иголка, туда и нитка, — сказал он и записал меня в книгу матросом карчеподъемницы.

Андрей Заплатный, как старший матрос, не теряя времени, стал осматривать свои владения. Судно только с виду было неказистое, а на деле оказалось хорошо отремонтированным. Оснастка вся новая, лодки новые. Все в большом порядке. Трюм забит продуктами не на одну навигацию.

— Ты орудуй. Твое оно дело, — говорил старшина. —

Мне бы, кажись, на покой пора, старичку. Грехи замалчивать.

В кубрике вместо нар поставлены койки, на полу толстая клеенка.

— Как господа будут жить матросики, — нахваливал Сорокин. — Только кока надо бы, кока. Эх бы эту девку — Катьку Панину! Все веселее, когда женский пол.

— Ты о ней и думать перестань. Замужем она за Кондряковым.

— За арестантом?! Нашла муженька, прости господи...

Вскороости нашелся и кок — татарин Зариф. До войны работал в трактире. Сорокин его с первого же дня окрестил Захаром:

— Захар — имя христианское.

Так и в книгу записал.

Кроме кока, приняли еще двоих матросов, присланных из города с особой бумагой. Здоровые ребята, молодые. Фамилия одного Балдин, а другого — Сергеев.

— Как вы на войну не угодили? — спросил Заплатный.

— Мы на таком учете состоим, — ответил Балдин, — что на войне и без нас обойдутся. И приказ в последние дни вышел — людей с казенных судов на войну не брать.

— Опоздали они со своим приказом, — пробурчал Заплатный.

— А это без нас знают, когда какие приказы выпускать, — огрызнулся Сергеев.

Приехала комиссия. На форменных кителях инженеров по случаю военного времени сверкали серебряные погоны. После их отъезда мы ждали какую-нибудь «горчицу», а за нами пришел мощный буксирный пароход, который без остановки отбуксировал нашу карчеподъемницу до устья Южной Кельтмы. Дальше по Кельтме поднял нас в верховья маленький, но сильный верхнекамский пароходик.

Сорокин поздравил нас с благополучным прибытием, пригласил к себе в каюту, выставил целую корзину пива, закуски и между делом объяснил предстоящую работу:

— Дело наше важное. Мы Кельтму должны очистить, чтобы дать прохождение судам на Северо-Екатерининский канал. Канал уже поправляют... Дела, видите, сколько? Посмотрите-ка сюда...

Вся река была забита карчами. Болотистые берега не держали столетних деревьев. Они падали, перегораживая русло. Сплошь и рядом Южная Кельтма протекала под зеленым шатром, так как ели и пихты сходились над нею своими вершинами.

— Матросов-то всего четверо. Как работать будем? — спросил Заплатный.

— Как! Конечно, ни в жизнь нам, православным матросикам, не осилить такую трущобу.

— Кто же работать будет? — продолжал спрашивать Заплатный.

— Враги царя и отечества. Пленные будут работать.

Андрей Заплатный возмутился и резко заявил Сорочкину:

— Ты, старая борода, зачем раньше не сказал? Уйду с твоего судна при первой возможности.

— А к чему сказывать? То да се. А теперь — стоп! Приехали, ну и все в порядке. А сбегать тебе, старший матрос, некуда. Закончим работу, сплывем на Каму, тогда и скатертью дорога. Держать не буду.

— Здорово подкузьмил старый черт, — возмутился Андрей, когда мы пришли в свою каюту. — Знал бы, ни за что не пошел на такое дело.

— На какое дело? — спросил я.

— Понимаешь, какое? Мы с тобой вроде как надзиратели будем. Увидишь, револьверы выдадут пугать бедных людей.

В разговор вмешался Балдин.

— Не беспокойся, бурлак. Матросу револьвер никто не доверит.

— Ты кто? Не матрос разве? — насторожился Заплатный.

— Никогда в матросах не бывал. Мы — охрана.

Балдин встал с койки, на которую прилег было после угощения в каюте старшины. У него на поясе болталась кобура с зеленым шнуром от револьвера.

Пленных мы дождались в конце августа. Их привезли за пароходиком на шитике и перегрузили на карчеподъемницу.

Пленные австрийцы — было их десять человек — сидели на палубе и не знали, что делать. Старшина Сорокин ходил около, смешно растопырив руки. На пояске у него болтался револьвер «бульдог».

Балдин стал делать переключку. Он спрашивал по-русски, а Сергеев переводил.

— Иоахим Кишка? — спрашивал Балдин.

— Кишка! Иоахим! — возмущался Сорокин. — Сашка! — приказал он мне. — Неси книгу из каюты. Будем всех по-православному записывать.

Я принес книгу и вооружился карандашом.

— Пиши, Ховрин: Еким Кошкин.

— Жан Фрик? — спрашивал Балдин.

— Фря! Ведь он не баба, какая же он фря, если саженная остолопина. Записывай, Ховрин: Иван...

После переключки Василий Федорович вышел с речью перед пленными. Начал он ласково:

— Значит, вы, как наши пленные, должны будете потрудиться, спаси вас Христос. — Спohватившись, заговорил строже: — Не даром вас хлебом кормить! Русский хлеб дорогой... — И визгливо закричал: — Я покажу вам кузькину мать!.. Согрешишь с вами, прости господи. Кто если придумает бежать, видишь — оружия. Стрельну в мягкое место, у вашего Вильгельма не спрошуся.

Утром пленных выгнали очищать бечевник. Работали они хорошо. Даже Сорокин похвалил:

— Молодцы, хотя и пленные. Сегодня, — приказал он Заплатному, — выдать всем рукавицы и сапоги. Посмотри ты, на версту берег выпластали!

Во время обеда пленные выточили топоры, заправили пилы и до вечера сделали в два раза больше, чем с утра до обеда.

После вечернего чая старшина пожаловал в кубрик и разговорился:

— Не пойму я, господа пленные. Вы, кажись, люди, а почему против России на войну пошли? Наши солдатики, оно понятно, они воюют за веру, за царя-батюшку. А вы? Какая у вас, у басурман, вера?.. — Сорокин устался на одного из австрийцев. Тот встал. — Ты, напрымер, зачем пошел на веру православную?

Неожиданно пленный ответил по-русски:

— Моя-то вера тоже православная. Меня крестил такой же поп-то, что и вас.

— Да ну! А крест покажи.

Пленный расстегнул воротник рубашки и показал серебряный крестик. Все рассмеялись, а Заплатный разрился хохотом.

— Видишь, Андрюха. У басурмана крест, а у тебя ни креста, ни совести. А гогочешь. Грешно на сон грядущий. — И Сорокин снова стал спрашивать пленного.

— Зачем все-таки ты на войну пошел?

— Я не знаю, пан.

— Я, что ли, должен за тебя знать-то? А потом, я тебе не пан, а господин старшина. Так и говори. — Пленный, совсем сбитый с толку, стоял и молчал. Встал другой — Иоахим Кишка, он объяснил:

— Работный человек, как в песке бреза взрасти. Ветер вырвал с корнем и бросил.

— Непонятно.

— Ты понимай! — вступился Заплатный. — Они сами ничего не знают. Их загнали на войну, как баранов. Наших так же гонят.

— Врешь! — запротестовал Сорокин. — Наши сами идут за царя за батюшку.

Андрей Заплатный замахал на Сорокина рукой.

— Ты не машись! — злобно крикнул старшина. — Ну, ладно. Спите с богом, работнички. Не обессудьте, может, чего лишнего сказал. До свиданьца.

Утром старшина приказал сделать до обеда столько же, сколько пленные сделали вчера за весь день.

— А ежели не исполните, не обессудьте. Говядиной тогда кормить не буду. Это, конечно, пленных. А которые русские матросы, оно, конечно, их это не касается.

— Какая разница? Они тоже люди, а не машины, — возразил старший матрос.

— Нет, не люди! Пленные. Дело твое, старший матрос, подчиненное. Сказал, и слушайся. Не наводи на грех.

Работали без отдыха, и задание выполнили. После обеда опять двойной урок. И его выполнили.

Старшина с каждым днем увеличивал норму. Началась настоящая каторга. Некоторые пленные не выдерживали, падали на работе. Охранники хватались за револьверы, угрожали:

— Перебьем лентяев! Не смей стоять без дела! Не смей курить!

Заплатный горячился:

— В надзиратели попали. Говорил я. Надо чего-то придумать. Сорокин совсем австрийцев заездил. Свернуть бы ему башку! Вчера всех без обеда оставил. Не могли, дескать, последнюю осинку испилить. Сам ты видел, какая осинка!

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не перемена погоды. Пошли дожди и принесли вынужденный отдых. Василий Федорович прикинулся голубком.

— Вот и дождичек, слава те господи. Отдохнем от работушки. А все бог. Что вы, пленные, сробили, по правде сказать, с нашими зимогорами за две навигации не сделаешь. Хоть и нехристи, а постарались. Я даже жалею вас. Чего, думаю, маются на чужой стороне? На кого робят, сердешные? Старательные, спаси вас Христос.

Я готов был в рожу ему плюнуть. С этого времени не мог с ним и разговаривать спокойно. Стал грубить. Выговаривает он мне:

— Ховрин, писарь. Опять журнал оставил на столе. Прибери в шкаф.

А я отвечаю:

— Сам прибери, если руки не отсохли.

— Чего ты, парень, стал зубы показывать?

— Ничего не показываю...

— Ховрин! Смотри, не балуйся.

Я уходил и хлопал дверью.

Осенние дожди лили не переставая. Работать стало совсем невозможно, и надежды на хорошую погоду уже не было. Пленных перебросили на другие работы. А мы сплыли в устье Кельтмы. Сорокин выдал нам паспорта и расчет. Значит, иди на все четыре стороны.

Кое-как, где пешком, а где на лодках, добрались мы до Усолья и на пассажирском пароходе уехали в Пермь.

Сразу на городской пристани нам встретился Балдин. Он был в полной полицейской форме. Я поздоровался с ним, как со старым знакомым.

— Ладно, — сказал Балдин. — Топай дальше. А тебя, Заплатный, велено задержать. — И Балдин вынул из кобуры револьвер.

В это время подошли еще трое полицейских. Они на моих глазах скрутили руки Андрею Ивановичу и повели его. Мне было удивительно, что он не сопротивлялся и спокойно зашагал по мосткам в окружении конвоя. Я шел следом, не зная, что делать.

На выходе в город стояла какая-то извозчичья пролетка. Полицейские посадили в нее Андрея Ивановича и повезли.

Он только успел крикнуть:

— Сашка, не горюй! Еще увидимся.

Я долго стоял со своей котомкой на мостовой и провожал глазами поднимающуюся в гору по набережной улице пролетку, в которой увозили неизвестно куда и зачем моего второго отца родного Андрея Ивановича.

Зашел в бурлацкую обжорку пообедать и обдумать свое положение.

Обедающие сидели за одним длинным столом. Половой в длинной до колен белой рубахе с шутками-прибавками разносил пиво, еду, чай.

Я не успел сесть на край скамейки в конце стола, как половой живо подбежал ко мне и затараторил:

— Что прикажете, чего закажете? Суп простой, уха с икрой. Под гитару пива пару! Молодой господин! Все у нас есть. Щи постны, пирожки молосны из кишок и из рубца для матроса, для купца!

Я заказал пиво и трехкопеечный пирожок.

В обжорку заходили грузчики, матросы, палубные пассажиры, только что приехавшие со мной вместе на пароходе.

Выпитое пиво придало мне смелости, и я разговорился с соседями по столу. Против меня сидел пожилой человек с окладистой черной бородой. Он почему-то часто кивал головой в правую сторону. Меня это заинтересовало. Он заметил, что я гляжу на него, улыбнулся и заговорил:

— Думаешь, парень, чего это у Вьюгова голова трясется? Много пива употребляю и других огненных напитков. А второе дело, если прослужишь на изыскательской брандвахте водоливом лет двадцать, так у тебя не только голова, тебя всего трясушка возьмет. Приказали сегодня, например, набрать матросов на брандвахту, а где я их возьму. Жалованье-то у нас три рубля в месяц, а хлеб, сам знаешь, как вздорожал. Лучше, парень, воровать, чем служить у нас на брандвахте... Половой, еще дюжину пива!..

— Господин водолив, а мне можно на вашу брандвахту? — спросил я Вьюгова.

— Можно. Обязательно. Если жизнь не дорога... Па-

рень, спаси ты меня, сделай милость. Матросов велели набрать. А где я их возьму? Поедем на брандвахту. Сию минуту... Половой! Еще дюжину...

Я силой вывел Вьюгова из обжорки. Когда его охватило свежим воздухом, он немного ожил.

— Ты не врешь, парень, что хочешь на брандвахту?

— Не вру! Мне, понимаешь, деваться некуда. А где твоя брандвахта?

— Вон там! — неопределенно показал Вьюгов.

— За Камой, что ли?

— Угу! В Заозерье.

Припомнилось, что когда пароход, на котором я приехал, проходил мимо Заозерья, там, действительно, у полуострова я видел судно, похожее на дебаркадер. Повидимому, это и была брандвахта водолива Вьюгова.

Я привел будущего своего начальника на дачную пристань пароходства Щербаченко, купил билеты, погрузил его на дачный пароход и отправился с ним на новую бурлацкую каторгу.

9

Матросов на брандвахте было пятеро. Трое чувашей, да я, да Васька Вятский. Он и столяр, и слесарь, и портной, чеботарь, стекольщик, шерстобит, одним словом — и швец, и жнец, и в дуду игрец. Вятский пешком исходил всю Россию. Из-за безземелья занимались отхожим промыслом все его земляки. Немудрено было встретить вятча не только в Верхокамье, но и на краю света, у черта на куличках, как рассказывал мне Василий Вятский.

В военные годы у отходников заработка не было. В деревнях обходились без мастерового. Разобьется стекло в окне — затыкали дыру старой овчиной, проржавеет ведро — замазывали тестом. И пошел Василий бурлачить.

Жили мы в тесной каюте. Спали на нарах в два этажа. Обед мы должны были сами себе готовить. Но частенько заниматься этим делом было некогда да и неохота, и мы питались всухомятку.

Во сне нас заедали паразиты. Провертишься на нарах всю ночь, а в пять часов утра уже стучит в каюту водолив Вьюгов и кричит:

— Довольно дрыхнуть-то! Вылезайте!

Осторожно ступая по коридору, Вьюгов подходил к каюте старшего техника Василия Сергеевича Попова и мизинчиком стучал в дверь.

— Чего надо? Ну! — слышался из каюты сердитый окрик начальника.

— Ваше благородие! Лодка готова.

— Сам знаю! Чего стучишь? Сколько времени?

— Шестой час, ваше благородие.

— Почему раньше не разбудил?

Техник не торопясь одевался, закусывал и только через час был готов.

По реке гулял свежий утренний ветерок. От дальних островов тянулся холодный туман. Нас до костей пробирало, но мы покорно сидели в лодке. Попробуй пойти погреться! Выйдет вдруг старший техник — ругани не оберешься.

Но вот он появлялся.

— Отчаливай!

Двое из нас сидело «в гребях», третий — с кормовым веслом, а я обычно стоял на середине лодки с шестом-наметкой и измерял глубину.

Подъезжали к ближайшему берегу, где торчали шести с флажками — створы. На противоположном берегу было то же самое. Мы должны пересечь реку между створами и сделать промеры.

На берегу взмахивали сигнальным флажком, лодка мчалась наперерез реки. Через каждые два взмаха весел я кричал:

— Сорок три сотки!.. Пятьдесят четыре!.. Сто семьдесят пять...

Много дней стоял я с наметкой, а сменить меня, кроме Вьюгова, было некому.

Чуваши не знали счета. Пробовали ставить Василия Вятского, ничего не получилось. Он сосредоточенно глядел за борт. Взмахивали весла. Васька тыкал наметкой в реку, затем вытаскивал ее и разглядывал деления. Мы успевали взмахнуть веслами раз пять, и только тогда он кричал:

— Пятьдесят три!

— Балда! — кричал старший техник. — Езжай обратно. Тебе, Васька, после работы триста кольев вытесать для пикетов. Понял?

Василий и в веслах часто путался. Ты, скажем, уже опустил весло в воду, а Василий только еще соображает; ты вытаскиваешь весло, а он свое сует в воду. Грести с ним на пару было сплошным мучением.

Плохой был матрос Василий Вятский, но товарищ самый душевный. Он никогда не унывал, с его добродушного лица, изъеденного оспой, никогда не сходила веселая улыбка. «За здорово живешь» чинил он нам сапоги, неграмотным чувашам писал письма, кипятил для нас чай, мыл полы в каюте, таскал из леса пахучий багульник и на ночь раскладывал под нары.

— Гнус эту траву терпеть не может. Все передохнут, — объяснял он нам, — и клопы и прочие.

Вечерами после чая мы забирались на нары... Над дверью тускло маячил фонарь. За окном брандвахты плескалась вода, под нарами скреблись мыши. Василий сидел в углу у единственного столика за своей вечной работой. Раздавался храп уснувшего товарища. Василий со смехом говорил:

— Отдирай, примерзло. Храпит, как богатырь. Молодчага!

Я терпеть не мог храпа и тыкал новоявленного богатыря под бок. Тот сопел носом. А Василий одобрительно замечал:

— Так-то лучше.

После второго тычка наступала тишина.

— Совсем хорошо... У нас в стары годы был один такой шерстобит. Ходил по деревням и кричал: «Нет ли, тетки, шерстку бить...»

Так начинался рассказ. И мы не спали до полуночи, слушая Вятского, забывая усталость и не думая о завтрашнем дне.

В сентябре, когда уже полетели белые мухи, на брандвахту приехал Василий Федорович Сорокин.

— Доброго здоровья, честные господа... Да тут все знакомые, почти сродственники... Как наворачиваешь, Вьюгов? И Ховрин здесь. Вырос, большой вырос. А приятеля твоего, старшину косорылого, тово... заарестовали. Потому что пленных нехристей оберегал. Они у наших детей кровушку проливают, а он... Всех их надо бить, топить, ядрена-зелена...

Сорокин расправил рыжую бороду на обе стороны и спросил Вьюгова:

— Как бы мне начальника увидеть? Господина Попова Василия Сергеевича?

— У себя в каюте сидит, — ответил водолив. — Только тебя и дожидается.

Сорокин сделал вид, что не понял насмешки.

— Что ты говоришь? А я думал, его благородие позабыл уж Василия Сорокина. Помнишь, Ховрин, он к нам на карчеподъемницу с последней комиссией приезжал. Угостил я еще его. Дожидается, говоришь? Спаси его Христос.

Сорокин в сопровождении водолива направился в каюту старшего техника. По пути вытряхнул на кухне из мешка пару гусей.

— На гостинцы его благородию к празднику покрова пресвятой богородицы, — объяснил он поварихе.

На другой день на брандвахту приехал с ящиком и котомками кудрявый парень в городском пиджаке, в брюках навыпуск и расположился у нас в каюте. Верхняя губа у него, как-то странно вывороченная, казалась двойной. Глазки маленькие, острые, как у ужа. Вошел Вьюгов и познакомил нас с новоприбывшим:

— Новый матрос это будет — Сорокин. Маленько вам потесниться придется... Тебя, Васька, начальник зовет.

Василий ушел к начальнику. Наследник Василия Федоровича Сорокина ради встречи поставил нам бутылку вина, выложил колбасу на закусочку и каравай белого хлеба.

— Папаша у нас, они строгие, — говорил о себе новый матрос. — Вызывают они меня из города. Я на «сахалине» в благородном заведении служил половым. Война, дескать, Приезжай, Аркаша. Года идут, и тебя, дескать, могут к воинскому начальнику призвать на предмет выполнения воинского долга... Мы, сами знаете, воевать непривычные. Прямой разор хозяйству. А от казны, слышь, нынче на войну не берут. Приказ такой вышел...

«Вот, — подумал я, — как воюют сорокинские наследники за веру, царя и отечество».

Василий Вятский возвратился от начальника и стал собирать свое имущество.

— Ты куда, Василий? — спросил я.

— Не знаю. Уволили.

— Как уволили? За что?..

В течение недели выгнали с брандвахты чувашей. На

смену им напринимали разных богатых мужичков. Сменили чертежника Колокольникова, смиренного, тихого человека. Дошла очередь и до меня. Пьяный Вьюгов сунул мне паспорт, трешницу денег и заявил:

— Очищай койку!

— Почему?

— Давай выкатывайся. Сколько времени робишь на брандвахте, хоть бы косушечку поставил своему водоливу. А с Аркашкой Сорокиным у нас, знаешь, какая дружба. Киндербальзамом третьего дня пользовал.

Собрал я свою бурлацкую котомку и вышел из каюты.

Серая тусклая погода. Моросит дождь со снегом. По Каме шлепает плицами грязный пароходошко — тянет за собой открытую барку с кирпичом. На ветру под дождем стоит на корме бурлак в рваном зипунишке. Такой же, как я...

Меня вывезли на пустой берег.

— Счастливо оставаться, — пробурчал Вьюгов.

И я остался один на берегу глухого плеса. Сел на пенек и стал думать, что же мне делать. Пришлось идти на ближайшую пристань. А до нее не меньше двадцати верст.

С трудом доплелся к вечеру до пристани. Конечно, промок до ниточки.

С каким удовольствием снял я с плеч котомку в пассажирской каюте дебаркадера и протянул мокрые ноги к чугунной печке, в которой весело потрескивали сосновые дрова.

В каюту входили все новые и новые пассажиры. Скоро стало душно и жарко. Я уступил место другим промокшим пассажирам.

В каюте ожидали парохода крестьянки, которые везли молоко в город, безработные, татары, солдаты. У стенки, на грязном полу, сидели две старушонки и без умолку тараторили. Безногий солдат с протянутой рукой стукал костылем и просил:

— Подайте увечному воину на пропитание.

Я дал ему десять копеек. Солдат поблагодарил, сел на дрова у печки и стал говорить о войне:

— Измена! Нас не проведешь. Патронов не дают, а стрелять велют. В болоте генерал Самсонов всю армию утопил.

На груди солдата блестели два «Георгия».

— За что награждение получил, землячок? — спросил я солдата.

— За храбрость. Я офицера из огня вынес, а ногу потерял.

К нашему разговору прислушался человек в рабочей одежде.

— Герой, значит! — сказал он. — За офицера пострадал. А пенсию тебе офицер не назначил?..

Раздался привальный свисток. Пассажиры ринулись на палубу.

Подошел пассажирский пароход. В крышу дебаркадера ударились тяжелая шишка «легости». Матрос вытянул чалку и закрепил на деревянной стойке...

Пароход уже стал давать отвалы свистки: первый, второй. Я толкался среди пассажиров и никак не мог решить, ехать мне на этом пароходе в город или податься в верховья. Кто-то толкнул меня в плечо и крикнул:

— Ишь, растопырился на дороге! Стань в сторону или проходи на пароход.

Толпа подхватила меня и по узким мосткам протолкнула на пароход.

Я занял место в четвертом классе. После отвала по палубе прошел матрос и прокричал:

— Господа пассажиры! Кто не имеет билетов, пожалуйста за билетами!

Я купил билет до Перми.

На открытой корме до костей пронизывает холодный ветер. Иногда из облаков сыплется и стучит по обносам крупная, как горох, снежная крупа.

На луговом берегу сиротливо стоят голые черемухи. На приплеске лента желтых листьев, которые где-то в верховьях, может быть, только вчера, слетели с прибрежных ивняков, а сегодня река выбросила их на мокрый песок. Скоро они почернеют. Прибудет вода и смоев их с приплеска. И слизи не останется.

Холодно, но с палубы я не уйду. Хочется досыта наглядеться на родную Каму последний раз в эту навигацию.

Вспомнилось время, когда с бурлацкой котомкой за плечами я первый раз уходил на Каму. Как не хотелось тогда расставаться с поселком на увале! Но вот ушел и привык к бурлацкой жизни. Теперь с Камы уходить не хочется.

Надоедливо стучит паровая машина. Из трубы вместе с дымом вылетают искры и гаснут за кормой.

Я стоял на ветру до тех пор, пока берега Верхокамья не скрылись в вечернем тумане.

10

Грязно осенью в Перми. Ветхие дощатые тротуары прогибались под ногами и брызгались мутной жижей. Во многих местах прохожие переходили через дорогу по дощечкам и кирпичам.

У меня в кармане было рублей двадцать, что я сэкономил в последнюю навигацию. Прежде чем искать работу, решил устроиться куда-нибудь на квартиру. В поисках ее обошел почти весь город. В центре хозяева не давали мне и порога переступить. Подводила моя котомка и бурлацкая одежда. Со мной не разговаривали, а прямо перед носом закрывали двери на крючки.

Наконец в одном месте мне посоветовали:

— Ты на Данилиху иди. Там, слышать, золоторотцев пускают, а здесь город, а не Данилиха — поганое место.

Я отправился на окраину.

На воротах одного ветхого дома увидел наклейку: «Требуются одинокие квартиранты». Это мне и надо было. Постояв немного у ворот, я по скрипучему крыльечку вошел в темные сени и уперся прямо в дверь. Услышал окрик:

— Кто блудит тут?

— Не пустите ли на квартиру?

— Проходи. Милости просим.

Переступив порог, я оказался на кухне. В нос ударил кислый запах сушившихся на печке портянок. Из-за них злыми глазами глядел большой серый кот. На печке, на стенах, оклеенных старыми порыжевшими газетами, шуршали тараканы. У окна сидела толстая старуха в синем косоклиннике, в очках, и вязала чулок. У косяка стоял хозяин. Я поздоровался. Старуха уставилась на меня поверх очков и не вымолвила ни слова.

— Марковна, освободи место. Видишь — квартирант, — сказал хозяин.

Старуха встала и со словами «не продешеви, старик» ушла из кухни. Я сел, по приглашению хозяина, на ее

место и с любопытством стал рассматривать его самого. Тощий и высокий. Нос багровый, борода тонкая и длинная, как коровий хвост. Волосы на голове острижены под горшок. Грязная синяя рубаха и жилет. На ногах высокие татарские галоши.

— Из каких будешь? — спросил хозяин.

— На Каме бурлачил, а пока без службы. Скоро поступлю.

— Бурлак? Это хуже... Марковна! Парень говорит — из бурлаков? Пускать — не пускать?

Как из бочки, раздался голос хозяйки из соседней комнаты:

— Не бери, старик, греха на душу. Пусть идет с богушком.

Я пообещал платить за месяц вперед и сказал, что дома даже чай пить не буду. Это подействовало. Меня пустили на ночлег за два рубля в месяц.

Хозяин провел меня в большую комнату, заваленную всякой рухлядью. В переднем углу, рядом с божницей, стояли две маховые малярные кисти. В противоположном — деревянная кровать за тиковой занавеской. Пол давно не мыт. Стены, как и на кухне, оклеены газетами. Всюду следы клопов. Маленькие окна с зелеными стеклами еле-еле пропускали уличный свет.

— Здесь тебе и место будет, — сказал хозяин. — Хотя у нас и людно, да пословица говорит: в тесноте да не в обиде.

Я занял уголок и отправился в город.

У пристани народу, как на ярмарке. На мостках, на песке, у самой воды, около пустых бочек — везде люди. Целые семьи. Матери кормили детей. Пьяные грузчики пили какую-то бурду, закусывали воблой. Бегали и кричали газетчики:

— Есть телеграммы, утренний выпуск, очень интересные!

— Русские казаки взяли в плен Вильгельма!

Сквозь толпу пробирался слепой старик с поводырем. По узкой дощатой дорожке грузчики катали на тачках тюки и переругивались с народом:

— Чего расшеперился на дороге? Двину колесом!..

Люди не обращали внимания на осенний дождь. Сутками жили у пристаней, смеялись, шутили, пели песни, ссорились, дрались, ели и пили, отправляли все свои есте-

ственные потребности — все это здесь, на берегу, в ожидании посадки на последний пароход.

По мосткам, где была надпись «Ход для господ пассажиров», я прошел на дебаркадер.

На корме матросы переставляли свайку и ухали «Дубинушку». На борту стоял водолив и распоряжался работой. Я обратился к нему:

— Дела какого на пристани не найдется ли?

— Берись за свайку, если руки чешутся. На чай получишь. Видишь, матросов не хватает. А Кама прибывает каждый день, приходится мостки перебирать, к берегу подводить дебаркадер.

Я проработал на пристани до вечера. Получил семьдесят копеек и пошел домой.

Проходя через толкучий рынок, неожиданно увидел бывшего чертежника с изыскательской брандвахты Федора Колокольникова. Он стоял за большим фанерным ящиком. На ящике стеклянная банка, в банке фигура черта с хвостом и рогами, с немецкой каской на голове. К банке привязана палочка, а к ней картонка с надписью «В пользу увечных воинов».

Колокольников держал в руках скрипку, наигрывал и пел:

...За ней ходит парничок,
Насыляет пятачок...

— Почтеннейшая публика! Кто желает погадать, судьбу испытать?

В щель вверху банки опускался пятак. Черт нырял на дно банки и выбрасывал наружу пакетик. Гадающий получал его и, улыбаясь, отходил в сторону.

— Деньги ваши будут наши. Тетки Маремьяны, выворачивай карманы! — звал Колокольников, и в банку летели пятаки.

Я тронул его за локоть. Чертежник узнал меня и смутился.

— Здравствуй! Мы, должно быть, одно время вместе на брандвахте служили? Помню! Видишь, какими я делами занимаюсь... Подожди маленько. Сейчас закрою лавочку — поговорим.

Мы вышли с толкучки на Кунгурский проспект и сели на скамейку.

— Когда меня уволили с брандвахты, — рассказывал Колокольников, — я уехал домой, в Осинский уезд. Отец

у нас умер. Дьяконом сорок лет выслужил. Осталась в наследство фисгармония. Батя в духовной отписал музыку мне, но только, если женюсь и приму священнический сан. Фисгармония заветная — от прадеда к деду перешла, а от деда к отцу. Как быть? По великовозрастию меня в семинарию не принимают, а к экзаменам я допущен. Отцам заплатить надо, экзаменаторам, архиерейскому секретарю. Ржи да яиц, да шерсти. Где взять-то, если нет серебрянников? Я и хожу по ярмаркам и собираю пяточки. Сперва полиция прижимала. Придумал вывеску: в пользу воинов. И благодать господня! Никто не привязывается... Надо с умом жить! — Колокольников захохотал, показывая гнилые зубы.

КОНЕЦ БУРЛАЧЕСТВА

1

Я так и не мог найти работы в городе. Куда бы ни обращался, меня отовсюду гнали. На заводах, в мастерских сокращали производство, и своим рабочим делать было нечего. Пошел в Мотовилиху — потребовали свидетельство о благонадежности. Полиция в таком свидетельстве отказала. Припомнили мне Андрея Заплатного.

Хозяйка зверем смотрела. Хозяин выгнал меня с квартиры. Я пошел ночевать на вокзал и попал в облаву. Привезли в полицию. У меня оказался просроченным паспорт.

Ночевал вместе с ворами в клоповнике, а наутро повели меня по этапу на родину.

Этапным подвод не полагалось. От поселка до поселка, в сопровождении деревенских стражников, пришлось идти пешком. Больше недели вели меня из города до бурлацкого поселка на увале.

В Строганове посадили за решетку и только через три дня вызвали мать и передали ей непутевого сына.

Семья жила впроголодь. Сестренки и Ванюшка-крестник ходили по деревням за подаяннем. Отец, после приезда на побывку года два тому назад, как в воду канул. Ни костей, ни вестей.

Крепко достался мне этот этап. Я весь перемерз, весь испростыл. Даже по дому ничего не мог делать и стал обузой для семьи. В конце концов слег и провалялся всю зиму на печке.

Весной, кое-как встав на ноги, поступил в перевозчики. На перевозе платили натурой — хлебом, картошкой,

иногда и копейки перепадали. Стало немного легче жить семье.

Но крепко засела во мне бурлацкая зараза. Я ненавидел свою работу перевозчика. И, как только поплыл осенний лед, я пешком отправился из родного поселка снова на чужую сторону.

— Прозимуй дома, — уговаривала меня мать. — Ну куда ты, на зиму глядя?

— Нет, мать! Чтобы попасть на какой пароход или баржу, надо прозимовать в затоне. Весной никуда не поступишь.

По проторенной дорожке, по которой вели меня этапным порядком, я в три дня дошел до берега Камы, как раз против Королевского затона.

По реке плыла сплошная шуга. Перебраться на ту сторону было пока невозможно. Я, чтобы не тратить зря время, нанялся к одному богатому мужичку пилить дрова по полтиннику за сажень, на хозяйских харчах.

И каждое утро выходил на берег, прикидывал, когда же, наконец, замерзнет Кама...

Подул холодный северный ветер и в одни сутки сковал широкую реку. Не дожидаясь первого санного пути по льду, я простился со своими хозяевами и спустился под берег.

Молодой лед трещал под ногами. Ярko блестела разными огоньками пушистая куржевина. На пути прыгали нахохлившиеся и вялые от холода воробьи. Свежий морозец приятно пощипывал лицо. На той стороне уже раздавался скрип полозьев и слышно было, как лаяли собаки в деревне Королевой.

Перейдя реку около будки бакенщика, я чуть не бегом пустился по берегу к затону.

Вот и мастерские.

Первым я увидел старика, сидящего под навесом. Это был Лука Ильич. Он строгал стамеской какие-то дощечки и увидел меня только тогда, когда я подошел к нему вплотную и поздоровался.

— Ты, Сашка? Право, Сашка? Какими судьбами? Откуда?

— С увала. Дома год почти прожил. Отец ничего не пишет, денег не посылает. Пришел работы искать. Может, что-нибудь найду?

— Как не найти работы, у кого руки молодые, то же самое — глаза. У меня глаза совсем отказываются. Вспомнишь, бывало, кто был лучший мастер по затонам? Лука Ильич. Кто серебряные часы получил за выслугу лет? Лука Ильич. А теперь я кто? Сторож... И то еще хорошо, и то спасибо.

— Ты бы не служил больше. Поезжай домой.

— Был на родине. Никого у меня не осталось. Вымер весь наш род. Вот обратно приехал. Здесь все-таки прилично.

— Я тоже по привычке пришел в затон, — перебил я Луку Ильича.

— То-то и оно. А сам что говоришь?.. Да чего это мы на улице разговариваем? Пойдем в сторожку. Чайку горяченького с устатку дернем стакашка по два — по три.

Под сторожку был отгорожен угол в слесарной мастерской. Лука Ильич поставил на печурку чайник, сел на табуретку и принялся потирать ногу.

— Болит каналья, — пожаловался он. — К перемене погоды, должно быть.

Я спросил:

— Не слыхал, где сейчас наши матросы, Лука Ильич?

— Кто их знает. Кондряков на войне будто, а про остальных не слышно. А Заплатный здесь навораживает. В горе, где алебастр ломают. Кузница у них, а Андрей за кузнеца.

— Андрей Иванович здесь? — обрадовался я. — Он ведь под арестом был?

— Протрубил, кажется, годик друг Заплатный. А нынче здесь. В казну-то его не принимают, так он пошел кузнечить к богатому хозяину.

Короткий зимний день скоро подошел к концу. Помутнело окно сторожки. Я решил сходить к Заплатному. Лука Ильич проводил меня на улицу и показал дорогу:

— Вон у горы. Черная, как баня, самая кузница и есть. Я-то не вижу, а ты должен видеть. Ну так рядом с кузней избушка. Андрюха в ней и живет... До скорого свиданья. Поклон Заплатному!

По лугам, по мелкому снежку, не разбирая дороги, я зашагал к алебастровой горе. Закатилось солнышко. Снег окрасился в фиолетовый цвет. Впереди, в избушке Заплатного, сверкнул огонек. Я прибавил шагу.

Толкнул дверь в избушку. Заплатный сидел на корточках и растапливал печку.

— Здравствуй, Андрей Иванович!

— Ховрин! Ты откуда?

— Сейчас из затона.

— Раздевайся, моряк. Картошки напечем, есть будем вместо рябчиков.

Пятилинейная лампочка уютно освещала маленькие владения Заплатного. Пока он приготавливал картошку, меня так разморило, что я стал клевать носом.

— На чем приехал? — спросил Андрей Иванович.

— Пешком пришел из-за Камы.

— Ешь скорее да ложись спать. Завтра наговоримся.

Он снял с гвоздя брезентовый плащ, постелил его на полу, рядом с печкой. Бросил вместо подушки пиджак. Я съел одну картофелину, кое-как разулся, лег на брезентовый плащ и заснул.

Утром Андрей Иванович спрашивает:

— Служба у тебя есть?

— Нету службы.

— Деньжата имеются?

— Рубля три наберется.

— За каким же ты чертом в затон пришел?

— Может, здесь работу найду.

— Какая сейчас работа в затоне? Весной — другое дело. Придется с хозяевами, с кержаками поговорить.

Заплатный пошел в кузницу, а мне велел побродить по алебастровым разработкам. При случае легче будет говорить с хозяевами: парень, дескать, с делом знаком. И я пошел по разработкам.

Почти отвесно, сажень на двадцать, поднималась белая гора. Рабочие, ломавшие камень, казались по сравнению с ней козявками, а выдолбленные в горе штреки — мышинными норами.

Заглянул на мельницу, где мололи обожженный алебастр. Меня ослепила белая пыль. Протер глаза и увидел большой деревянный круг во всю ширину мельницы. На краю круга лошадь. Рядом — мальчишка с кнутом. Он орал на лошадь, бил ее плетью по впалым бокам. Лошадь переступала с ноги на ногу, а круг вертелся. Я с кашлем и чиханьем выскочил наружу. Ни за что в таком аду не стал бы работать.

В логу, который тянулся от горы до самой Камы, на

клетках стояли барки. В начале весны в них грузили алебастр, потом большая вода поднимала их с грунта, и алебастр плавом отправлялся в город.

У барок работали плотники. Женщины занимались пробивкой пазов. «Вот, думаю, мое привычное дело». Подошел поближе, поздоровался:

— Помогай бог трудиться.

— Кто трудится, а кто шляется, — проворчала одна из женщин. — Вон какой лоб. Взял бы да и помог сам, вместо бога.

Работали они неумело. Пакля плохая, — не растеребили как следует, — прядь неровная, узлы. Я посоветовал перетеребить паклю, а они пустились в ругань.

— Дуры! Вам же легче будет работать.

— Сам дурак. Откуда ты такой выискался?

Когда я рассказал, что я — матрос и у Юшкова работал, они перестали ругаться и разговорились. Одна предложила:

— Айда к нам в архиереи! Мы деревенские, в первый раз на пробивке. От тебя, может, научимся.

— Пробивать не умеете, так как же вас таких приняли на эту работу?

— В отработку. Мы у хозяина хлеб брали, вот и маемся. А наших-то мужиков на войну угнали. Мой-от не живой, поди...

На дорожке показался человек в расписных валенках, должно быть, сам хозяин. Работницы прекратили разговоры и усердно застучали молотками.

На другой день, по просьбе Заплатного, меня поставили старшим на пробивку барок, по рублю за день.

2

В середине зимы в затон стали съезжаться судовые команды. В мастерских появились сезонные рабочие.

В праздники бурлаки с утра до вечера толпились у лавки Агафурова, судачили о войне, вслух ругали генералов, царское правительство. Слышались и совсем незнакомые мне слова: «революция», «кадеты», «большевики».

Каждое воскресенье я проводил в затоне, а потом, дома, приставал к Заплатному, и он, как мог, старался

объяснить мне, что значит революция, какие такие большевики и почему бурлаки ругают царя.

В начале марта к нам со станции пришел плотник и по секрету рассказал, что будто бы царя в Петрограде скинули и скоро конец войне. На станции развешаны красные флаги, и господа дают всем пассажирам грамотки.

— Мне тоже один дал. Тонкая бумага, на курево хороша.

Плотник вытащил из коричневого кисета скомканный клочок газеты.

— Кто грамотный? Прочитай-ка.

Я взял бумажку. Меня окружили бурлаки. Некоторые из сезонников в самом начале чтения ушли от греха подалее, другие прослушали все до конца с большим вниманием. В газете было написано:

«...час дорог. Не медлите. Граждане, придите на помощь родине хлебом и трудом!..»

«По поводу передаваемых из Петрограда тревожных слухов, распространявшихся среди населения, объявляю, что долг верных сынов и граждан своей родины обязывает прежде всего к спокойствию и благоразумию. Вменяю себе, как представителю высшей государственной власти в Пермской губернии, в непрременную обязанность употребить все меры к тому, чтобы вверенный моему попечению горнозаводский Урал, питающий оборону государства, снабжающий нашу армию оружием, спокойно и уверенно продолжал свою работу до победоносного конца.

Уверен в единодушной поддержке всего населения.

Главначальствующий, Пермский губернатор Лозина-Лозинский.
Екатеринбург, 1 марта 1917 г.»

Дочитав объявление до конца, я стремглав бросился из затона. Плотник кричал вдогонку:

— Куда попер! Дай хоть на завертку. Попадешься мне, сукин сын! Я тебе заверну салазки!..

Все два километра до алебастровых разработок я бежал бегом.

— Андрей Иванович! — крикнул я, вбегая в кузницу.

Заплатный от неожиданности чуть не выронил из рук кузнечные клещи, у него уже готово было вырваться злое ругательство, но я предупредительно поднес к его носу объявление губернатора. Заплатный схватил бумажку, быстро пробежал ее глазами, погрозил кому-то кулаком и бросил клещи в угол.

— Идем! В затон!..

В воскресный день в затоне не было обычной работы. Только зимогоры кололи лед около судов, у своего сарая расхаживал подрядчик Юшков да по берегу шагал с палочкой Лука Ильич. У лавки Агафурова по-прежнему толпился народ.

— В Петрограде революция! — крикнул Заплатный Луке Ильичу, размахивая обрывком газеты. — Губернатор в Екатеринбург сбежал.

— Слава те, господи! — И Лука от всей души, снявши шапку, перекрестился на восток.

— Сейчас, Ильич, не до бога, — нетерпеливо сказал Заплатный. — Собирай народ к котлу. Звони! Твое счастье.

Лука Ильич ударил в сигнальный колокол.

Первыми прибежали из зимовок ребятишки, потом пришли рабочие с околки льда, и потянулся из всех зимовок и землянок бурлацкий люд. Звуки колокола донесли и до деревни Королевой. Оттуда большими группами шли к затону и бурлаки-квартиранты и местные жители. Явился сам заведующий затоном Желяев. У него на груди был приколот красный бант.

Кругом гудела толпа. Андрей Заплатный влез на котел, и все стихло. Заплатный стал говорить:

— Товарищи! Царская власть перевернулась. Царя Николашку сбросили с престола. От нас здесь скрывают это, а мы спим. Так и проспим все.

Молча слушали Заплатного бурлаки. Многие — с радостью, кто и с тревогой. За такие речи и за их слушание — еще вчера каторга была бы. А тут кто его знает, правду говорит Заплатный, нет ли? Часть сезонников гуськом потянулась на лед затона.

После Заплатного вышел к котлу Желяев.

— Граждане, матросы! Государь император отрекся от престола. Государственная власть перешла в руки временного комитета Государственной думы и его председателя Родзянко. Никто от вас не думает этого скрывать...

Тишина прервалась беспорядочным шумом:

— Родзянко? Кто он такой?

— Война когда закончится?

— С заработком как будет?

— Наше теперь право. Довольно, поездили на нашей шеел..

Когда толпа немного поуспокоилась, Желяев заявил:
— А я вам говорю: довольно каркать! Свобода не для дураков. Расходитесь по домам, а завтра на работу! Кто не выйдет — уволю! Вместо вас много найдется. Что я говорю?!

Окрик подействовал. Бурлаки один за другим стали расходиться. Заплатного уже не слушали. К котлу подошел подрядчик Юшков и набросился на своих работников:

— Чего шары пялите, черна немочь! Свобода, свобода! Нет вам сегодня воскресенья. Работать надо. Всем в сарай явиться!

3

Затон постепенно замирал, потому что у казны не было денег на ремонт судов. Судовые команды расходились из затона. Закрылись алебастровые выработки.

К нам в избушку пришел хозяин и велел убираться вон. Пока мы выносили на улицу свои пожитки, хозяйские работники уже вскрыли крышу избушки. Она была разобрана до бревнышка. Мы с Андреем Ивановичем оказались как на пепелище.

«Вот тебе и революция, — думал я, — какая мне от нее польза? Сплошной обман. Андрей Иванович говорил, что после революции будет хорошая жизнь. А что получилось? Ночевать — и то негде».

Развели мы костер и поставили котелок с картошкой. Андрей Иванович, как бы угадывая мои мысли, объяснил:

— Знаешь, Ховрин, что получилось? Царя-то сбросили, а холуи его остались. Вот и нет у нас ничего. Погоди! Солдаты бегут с фронта не с голыми руками, да и у нас на плечах не капуста. Доживем, не горюй, Сашка, доживем до хорошего времечка... А пока бери рябчика. — Заплатный сунул мне в руку горячую картофелину.

Переночевавши у костра, мы на рассвете поднялись в гору и пошли по размытой весенними ручьями извилистой дороге. С горы пойма Камы была видна на десятки верст. Среди белых пятен плывущего льда чернели весенние воды. В Королевском затоне, как игрушечные, стояли на приколе деревянные суда. Из трубы дома за-

ведущего струился серый дымок. Я, прощаясь, глядел на знакомые места, а Заплатный ни разу даже не обернулся. Скоро мы вошли в лес.

Хороша лесная дорога весной! В воздухе смолевые запахи наливающих почек. Верхушки елей усыпаны капельками красных ягод. Снег, еще оставшийся кое-где в ложбинах, тает и испаряется прямо на глазах. Сквозь сырой дерн глядят белые подснежники, первые наши весенние цветы.

Не жарко и не холодно — как раз в меру. Такая ласковая погода бывает только раз в году — перед цветением черемухи.

Вечером мы миновали Полазненский завод и вышли на речную пристань, где народ ожидал с низов первый пассажирский пароход.

Все хибарки на берегу были заняты. Горели костры. Пришлось и нам устраиваться у огонька. После дня ходьбы я быстро заснул, а Заплатный всю ночь прослылся на берегу среди народа.

Утром, позавтракав остатками картошки, мы стали советоваться, куда нам двинуться и что делать дальше. Из затона ушли и обратно не воротиться, да и делать там нечего.

— Поедем, Ховрин, на сплав, — предложил Заплатный. — Скоро на сплаве самая горячая пора. Вчера говорил тут с ребятами. Советуют на Обву ехать...

...Лед на Каме поредел. Из-за косы показался первый пароход, до отказа набитый пассажирами. Они сидели на обносах, на носу, на корме, не говоря уж о палубах. Мы опасались, что пароход не пристанет к нашему берегу. Но опасения не оправдались. Чем больше пассажиров, тем больше дохода хозяину. Пароход медленно подвалил к яру.

По трапу, переброшенному на берег, мы с трудом забрались на корму. А там — ни вперед, ни назад, ни куда не проберешься.

С грехом пополам мы с Андреем Ивановичем приспособились на решетчатом обносе. Я перекинул через решетку опояску и привязался, чтобы не свалиться в воду. На корме и пошевелиться невозможно, а все-таки в самой гуще людей пиликала неугомонная гармоника.

Настала холодная майская ночь. С боку тянул ветерок, поддувало с кормы. Корма постепенно угомони-

лась. Пассажиры засыпали в самых смешных и неестественных позах. Как будто кто-то собрал со всего света уродов и свалил их в общую кучу. Задремал и я. Вдруг Андрей Иванович тычет меня под бок:

— Не спи! Простынешь... Чуешь, откуда-то падиной пахнет?

Пароход подошел к какой-то пристани, и мы оказались под ветром. Нас снова и еще более резко опахло неприятным запахом. Андрей Иванович спросил шутливо:

— Эй! На корме! Какой петух у вас протух?

В этот момент заскрежетал румпель.

— А не задавило ли кого? — предположил я.

— Все может быть, — ответил Заплатный. — Пассажиры! Посторонись!

Расталкивая спящих, мы взобрались с обноса на корму. Из-под щита, которым закрыт румпель, торчали ноги в стареньких сапогах.

— Так и есть... Доездилися бедняга.

У пассажиров сон как рукой сняло. Через вахтенного матроса вызвали капитана и объяснили, в чем дело.

— Сказывай! Пьяный, может быть.

— Мертвый, а не пьяный. Самого тебя засунуть под румпель, не много попоешь. Задержи пароход. Ведь мертвое тело...

— Стану я из-за всякой швали пароход задерживать. И так иду с опозданием... Эй, в рубке! Какого дьявола третий свисток не даешь?

Пароход дал последний свисток и спешно отвалил от берега...

Только утром на Строгановской пристани сняли с парохода мертвеца...

От пристани до устья Обвы недалеко. Мы наняли паренька, который за пятак довез нас на лодке до самой гавани.

Все устье было забито молевым лесом. На выходе в Каму чернела готовая матка. Возле нее со спущенными парами стоял винтовой баркас. Около казенки — избушки для плотовщиков — копошилось с десятков рабочих. За поворотом реки раздавалась довольно жидкая «Дубинушка».

— Наверняка у них рабочих не хватает, — сказал Заплатный. — Слышишь, как жидко «Дубину» ухают?

Расплатившись с перевозчиком, мы направились к конторке с вывеской «Лесная биржа графа Абамелек-Лазарева». Наверху вывески двуглавый орел, но без короны.

Нас встретили с радостью. Когда приказчик узнал, что Андрей Иванович еще и машинист, то даже руку ему пожал и усадил нас обоих чай пить.

— Скоро надо будет матки выводить, а у меня некому, — сетовал приказчик. — Машинисты на земле не валяются. Рулевого тоже надо. Жалованье у нас, надо сказать, небольшое. Сами знаете, какое время, — военное, революция тоже, будь она трижды... Как узнали, что революция, все и разбежались по деревням, землю, говорят, делить будем. Так туго приходится, что хоть самому со службы бежать, честное слово...

Мы вышли из конторки с задатком в кармане. Заплатный шутил:

— Растешь, Ховрин. Растешь. До рулевых дослужился.

— На большом бы пароходе послужить рулевым — другое дело. А то на какой-то «винтовке» несчастной!

— Ишь ты, как заговорил! Совсем по-бурлацки... Шути, не шути, а действительно, должно быть, туго приходится графскому холую. Он даже у меня «правá» не просил. А может быть, я совсем не машинист, а так — с боку припека, — говорил Андрей Иванович.

— И паспортá в кармане, — дополнил я. — В доверие вошли.

— Хуже, Ховрин. Приручить думают бурлака. Слышал, как говорил приказчик? Разбегаются, говорит, по деревням. Одни бастуют, другие у хозяина лапу целуют. Да не на таких нарвался, господин приказчик!

До вечера провозились мы у баркаса. Заготовили дрова, развели пары. Из трубы нашего «корабля» потянулся серый дымок. Зацокала паровая машинка с двумя вертикальными цилиндрами. Заплатный стоял над ней, широко расставив ноги, и ухмылялся.

Если бы я один приехал в Строганово, конечно, прежде всего сбегал бы в поселок к родным. Но мне было стыдно показывать свою слабость перед Андреем Ивановичем. Я решил молчать до поры до времени. Сейчас же выдался самый подходящий случай. Я попросил Заплатного:

— Скатаем до Строганова. Дома хочется побывать.

— Я думал, что ты и мамку с тятькой позабыл. Отчаливай!

Наш баркасик резво помчался вниз по Каме по направлению к строгановской пристани. С какой гордостью стоял я у штурвального колеса! Баркас был послушен малейшему движению моей руки.

— Чего балуешься? — ворчал на меня Андрей Заплатный. — Держи штурвал крепче, а то рыщешь во все стороны.

У Строганова я сделал такой крутой разворот, что баркас чуть воды не хлебнул правым бортом. Заплатный из люка машинного отделения даже кулаком мне угрозил.

Суденышко наше ткнулось носом в берег. Я выскочил с чалкой, и пока мы привязывали баркас, на берегу собрались любопытные ребята. Но когда из люка вылез вымазанный в мазуте Андрей Заплатный, они разбежались врассыпную.

Заплатный долго смывал с рук и с лица машинную грязь, а я торопил его:

— Пошли, Андрей Иванович! В нашем поселке и не таких бурлаков видывали. На тебя никто и глядеть-то не будет.

— А я желаю, чтобы глядели, — посмеивался Заплатный. — Девушки чтобы на меня глядели...

Луга были залиты полою водой. Мы отправились в поселок по дальней горной дороге. Перед нашими глазами чуть не на пятьдесят верст кругом раскрылись уральские просторы. На склонах увала квадратики и полоски крестьянских полей. Далекие дымки фабрик и заводов. Змейка длинного поезда, обвивающая высокую гору. Белый пароход с караваном барж и крытых мониторов. Пара красавиц белян, плывущих с верхов мимо Строганова. Серебром и золотом отливают волны разлившейся реки. Над полями поют жаворонки.

«Хороша ты, сторона моя родная, — думал я. — Только зачем так плохо живут люди в этой стороне? Полей и лесов, рек и озер — всего-всего хватит людям, и чего им мало? Не живут, а грызутся, как собаки».

Я поделился своими мыслями с Андреем Ивановичем. Спросил его:

— Почему люди плохо живут?

— Не все, — ответил Андрей Иванович. — Старушечья поговорка есть: один с сошкой, а семеро с ложкой. Неправильная та поговорка, она шиворот-навыворот. Правильно будет сказано так: семеро с сошкой, а один с ложкой. Семеро — это трудящийся народ, а один с ложкой — это буржуй, барин, помещик, купец. Все, что народ ни выработает, буржуй сожрет, а народу остаются только сухие мослы.

Я стал торопить Андрея Ивановича:

— Пойдем скорее!

Но вот наконец появился наш бурлацкий поселок. Избы крыты соломой, окна заткнуты тряпьем, на крышах вместо труб глиняные горшки. На грязной улице копошатся вместе с поросятами оборванные, полуголые ребяташки. А на краю деревни красуется крытый железом, обшитый тесом, выкрашенный белилами богатый дом. Кругом службы. Большой огород в десятину, сад и пруд, обсаженный кустарником.

— «Семеро», как в хлеву, живут, — объяснил Заплатный, — а «один», как в раю. Мужики работают, а кулак пузо рóстит... Вот почему, Ховрин, люди плохо живут... Да недолго уже протянется царство богачей. Если трудящийся народ зашевелился, его никакой уздой не оставишь!..

На улице поселка было грязно. Я повел Андрея Ивановича по огородам, задворками. Вот и окраина, показала скворечница, которую я сам когда-то мастерил. Но почему же окна в избе забиты досками?

Через сломанные ворота мы вошли во двор. На избе висит замок. С конюшни снята крыша, яма в погребе обвалилась. Огород не вспахан, ничего не посажено. Все покинуто и заброшено.

Вспомнилась бабушка Якимовна, у которой в погребе всегда был для меня квас с душистой мятой. Бабушка умерла в позапрошлом году, а где же мать, где ребята? Куда девались? Не с голоду же погибли?

Перед избой, бывало, мы с ранней весны всю полянку вытопчем, а сейчас даже тропинки нет.

У меня комок подступил к горлу. Ведь в этой избе я родился, провел детские годы. Отсюда я ушел в самостоятельную жизнь. Только в прошлом году был здесь на побывке.

— Пошли, Андрей Иванович! — Не оборачиваясь на разрушенное и покинутое родное гнездо, я зашагал по улице поселка. За мною молча шел Заплатный.

Мне и улица показалась мертвой. Ни одного человека. Никого. Даже собаки не лаяли. Я хотел зайти к Паньке Рогожникову и у него узнать, в чем дело. Но и их изба оказалась заколоченной. Попалось еще несколько пустых домов.

На выходе из поселка мы увидели старушонку, которая сидела у ворот и просила милостыню.

— Бабушка! — спросил я ее. — Куда народ-то весь девался?

— И не говори, — ответила она. — Зимой-то Микола Большеголовый приезжал. Своих-то ребят да и соседей сомустил в Сибирь переехать на жительство... в Сибирь. Там, говорят, золотое дно. Вот все и уехали... У Большеголовых-то парень, который старший-то, говорят, потерялся. Хворый уехал осенью куда-то. Сгинул, наверно, в городе... Аннушка шибко ревела, сынок...

Слушать старуху я уже больше не мог... Сунул ей мелочь, какая попалась под руку в кармане, и, сдерживая слезы, чуть не бегом побегал прочь.

На мое плечо опустилась тяжелая рука Заплатного.

— Стой! От себя не уйдешь, парень. Ты не думай, я тебя жалеть не буду! Не стоишь этого! Почему ничего домой не писал из города? Вот мать и подумала, что ты сдох, сукин сын!

— Чего лаешься? — огрызнулся я.

— Бить тебя надо, как сидорову козу!

— Что мне сейчас делать?

— Что? В поселке у отца есть, наверно, разные приятели, не такие обалдуи, как он сам. В Сибирь за счастьем поехал! Да там такая же каторга, как и здесь... Не отец, так мать, конечно, будут с кем-нибудь переписываться. Ты не знаешь материнское сердце. Она до смерти не успокоится... Распустил слезы, сопляк! Не забывай, что мы с тобой пока бурлаки. Я машинист, а ты рулевой. Расстраиваться нашему брату некогда.

Вскоре на рейд приехал пристанской водолив и сообщил новый адрес моих родных. Отец с семьей забрался на Амур, где и поступил служить лоцманом на пароход. Я в тот же день написал им большое письмо, послал матери весь задаток, полученный на рейде.

Настала пора сенокоса. Сезонные рабочие — деревенская беднота, с завистью глядели за Каму, где колыхалось целое море зеленых трав на угодьях графа Строганова. Вечерами собирались на берегу и судачили о земле, о покосах. Обычно больше всех шумел невзрачный мужичок Захарка. Говорил он скороговоркой, не умолкая и не слушая других.

— Травы, травы какие! — шумел Захарка, показывая рукой за Каму. — Косить пора, косить! Чего ждут?

Его сосед по деревне, Федот Сибиряков, степенно вставил:

— Зачем графу торопиться? Привезут машины и в один уповод все снимут. Косилка, как бритва... она...

— Какая палестина покосов! — не унимался Захарка. — На сорок верст! Мне бы десятинку-другую. Был бы я сыт, и брюхо арбузом...

На другой день никто из местных жителей не вышел на работу. Как очумелый бегал по берегу приказчик, нас допрашивал, не знаем ли, почему ушел народ, чем недоволен? Заплатный ухмылялся. Недаром он после спора о земле всю ночь проговорил на баркасе с Федотом и Захаркой.

В следующую ночь, на вторник, Заплатный дома не ночевал. Явился только утром — живой и веселый. А я на зорьке удил с кормы баркаса ершей. Заплатный пошутил:

— Рыбак душу не морит, рыбы нет, так хрен варит...

— Где был, Андрей Иванович?

— Будешь много знать, скоро состаришься... Видишь, лодки идут. Спроси на первой, может быть, и поймешь, где был механик Заплатный.

Удильщики никогда не обращают внимания на то, что делается вокруг. Им некогда, они увлечены своими удочками. Так получилось и со мной. Только сейчас я увидел, что около берегов на веслах и бечевой поднимаются вверх десятки переполненных народом лодок. Когда первая подошла к баркасу, я крикнул:

— Куда путь держите?

Бойкий женский голос ответил:

— Травушку косить. Графскую. Будет, попользовались.

— Понял, Ховрин? — спросил Заплатный. — Народ сам свое берет... Ну и будет заваруха!

Лодки все шли и шли. Проехала беднота, за ней потянулись и жадные богатые мужички. В одной из лодок сидел даже строгановский дьякон. Обгоняя других, мчался на рыбацкой душегубке наш Захар...

За один день крестьяне выкосили всю траву на графских покосах и для верности перевезли ее на свою сторону, на свои «восьмушки».

Возобновилась работа на рейде. Захар как-то расхвастался вечером у костра:

— Эх, и травушку я отхватил у Черторовины! Один листовник. Можно лошадку кормить. У нас на деовщине растет бадажинник один да дудка, а тут здорово живешь листовник попал — сено первый сорт.

— Будет хвастать-то, — остановил Захара Федот Сибиряков. — Вчера Манька мне хлеб привозила. Сказывала, в земскую управу прискакал из Никольского управитель. В суд подает на общество. Как бы тебе сено-то обратно отдать не пришлось.

Захар поднес к носу Федота два кукиша:

— А это не хочешь?

— Дурак! — возмутился Федот. — Чего на меня-то окрылся? Не я придумал — Манька сказывала.

— Все общество не засудят, — наставительно объяснил Заплатный. — Всегда надо скопом дела делать. За свою жизнь да свободу всем вместе бороться. Поодиночке ничего хорошего не выйдет.

— Правильно! — поддержал Заплатного старик крестьянин, выколачивая о колено самодельную трубку. — Нам с бурлаками надо союз держать. А покуда — какая у нас свобода? Нету ее. Ничего нету — ни земли, ни работы. Одна видимость. — Старик махнул рукой. — Эх-ма! Что Никола Романов, что хрен Керенский — один лешак!

5

Лазаревский приказчик по приказу своих хозяев дал нам расчет. Мы снова оказались на мели.

Заплатный не унывал.

— За такое дело не грешно и в безработных походить!

За компанию с нами уволили Захара и Федота Сибирякова.

Мы с Захаром устроились в паромщики на земский перевоз, а Заплатному удалось поступить машинистом на паровую мельницу Кузьмы Новикова.

— Когда руки есть, нигде не пропадешь, — поучал меня Андрей Заплатный.

Паромщики жили в землянке с единственным окошком на реку. Каждое утро будило нас раннее солнышко. Умывшись, мы разводили костер, согревались чайком в ожидании пассажиров.

Частенько из-за Камы кричали и по ночам:

— Перево-о-оз! Лодку!

— Уснули, черномазые!

Ночных пассажиров приходилось перевозить мне, как самому молодому. В большинстве это были беглые солдаты. Бывало, что вместо пятак я получал за перевоз одно солдатское спасибо.

Ночью разводил потухший костер, и мы с перевозчиками до утра слушали рассказы солдат о войне. Говорили они о том, что российское войско самовольно бежит со всех фронтов, что удержать этот поток невозможно, и объясняли:

— Для чего простому человеку война? Война нужна буржуям. Пусть они сами и дерутся. А мы — шалишь! Не старый режим.

Однажды нас позвал к себе Заплатный. Вечером мы с Захаром отправились к нему за три версты.

Двухэтажная мельница построена на ровном месте, на излучине реки Обвы. В нижнем этаже стоял локомотив, гудели жернова трех мельничных поставов. В верхнем этаже — ковши для засыпки зерна. Сюда по крутым мосткам помольцы носили тяжелые мешки с зерном.

На пеньке около мостков сидел широкоплечий мужик и посмеивался:

— Спирька! Ставь мешок на попа, а потом уж и ныряй под него. Так, так! Ого! Слабина одолела. Тебе зыбку качать, а не на мельницу ездить. В другой раз с мешками бабу пошли.

Мы поздоровались.

— Видите, как слабосильные маются? — сказал он. — Мельник-кикимора мост не мог сделать положе, лесу пожалел, а мужики, видишь, как кожатся... Васька! С пу-

па сорвешь! — крикнул он молодому парню, который, с трудом переставляя ноги, тащил кверху огромный мешок.

— Ты, Федюня, сидишь, как сыч на колу, да попохатываешь, — обратился к мужику один из помольцев. — Сам бы попробовал мешки в такую гору потаскать, узнал бы кузькину мамашу.

— А я не нашивал? На барже у Мешкова в прошлом году по двадцати пудов из трюма выносил. У вас не мешки, а котятя. Я их сразу четыре унесу и не охну.

— Врешь! — стали подзадоривать Федюню. — Четыре мешка ни в жизнь не унести!

— Унесу! Сказал — унесу.

— Брось! Мало киселя хлебал.

— С чего черти напали? — Федор подошел к возу с мешками. — Накладывай! — и подставил могучую спину.

Сперва ему на левое плечо навалили семипудовый мешок, затем такой же на правое. Федюня стоял, как дуб, широко расставив ноги, как будто в землю врос. Сверху ему положили еще мешок.

— Давай четвертый! Живее! — крикнул он хрипло.

Подняли четвертый мешок.

Федор понатужился, чуть выпрямился. Осторожно переставил одну ногу, другую и стал подниматься по крутым мосткам.

Зрители шумели:

— Бык! Бык, истинна икона... Прет больше двадцати пудов.

Федор спокойно поднимался по мосткам. Вдруг, не доходя сажени две до места, он лаптем зацепился за торчавший в мостовине гвоздь. Судорожно ухватившись свободной рукой за поручень, Федор пошатнулся и упал, придавленный мешками. Когда его высвободили из-под груза, он был без сознания. Левая нога вывернулась в сторону. Из рта шла кровь.

— Дохвастался, — заметил кто-то, но это замечание никто не поддержал. Искалеченного силача увезли в село к фельдшеру.

По-прежнему гудела мельница. Мужики гуськом таскали по крутым мосткам мешки с рожью.

— Здорово, товарищи! — приветствовал нас Заплатный, когда мы пришли к нему в машинное отделение.

— Сашка! Чего в землю уставился?

Я рассказал о только что случившемся несчастье.

— Мы все такие, — задумчиво произнес Заплатный. — Тащим на своей бурлацкой спине непосильный груз и падаем в тартарары!

Заплатный привел нас в старый кирпичный карьер недалеко от мельницы. Из моих знакомых здесь был Федот Сибиряков. Он сидел на куче сухой глины и о чем-то спорил с незнакомым мне человеком в черной шинели. Это был флотский матрос Ефимов. Среднего роста, русский, с пышными с проседью волосами, в брюках клеш. На открытой груди татуировка — молоток и якорь.

Ефимов рассказал нам, что сейчас по всей России бастуют рабочие, крестьяне отбирают помещичьи земли, Временное правительство стягивает к Петрограду казачьи части, чтобы принудить народ к повиновению и задушить революцию...

Мы разошлись поздней ночью.

В течение лета и осенью Павел Иванович Ефимов несколько раз приезжал к нам. Через него мы хорошо знали, что делается в стране.

В октябре петроградские рабочие во главе с большевиками скинули Временное правительство. А у нас в Строгановской волости все было по-старому. Леса были графские, земля графская, в земской управе сидели богачи.

Мне казалось удивительным, что Павел Иванович, приезжая в Строганово, ходил запросто в гости к мельнику Новикову, к церковному старосте, к попу. Не снимал с бушлата «Георгия» и медали.

В селе стали появляться незнакомые люди — солдаты, матросы. На мельницу приезжали мужики из самых дальних деревень. Приедет такой помолец, сметет для видимости мешок солода, поговорит с Заплатным и уезжает восвояси.

Все лето в волости сидела комиссия по расследованию дела о самовольном захвате крестьянами графских покосов. Прав был Заплатный — всю волость в тюрьму не посадишь. И не посадили. А старого председателя земской управы, начальника милиции и еще кое-кого, к удовольствию крестьян, выгнали с работы за попустительство.

В конце ноября в волости был намечен сход для выборов нового председателя. Заплатный предупредил, чтобы мы с Захаром обязательно были на сходе.

Мужики собирались в здание бывшего волостного правления. Передние сидячие места занимали богатенькие мужички, а задние, стоячие, — разная мелкота.

С первым словом вышел член управы, церковный староста Дьяконов. Он поклонился сходу и начал речь:

— Я думаю, граждане, надо нам выбрать в председатели Строгановской волостной управы Новикова Кузьму Маркеловича. Мужик хозяйственный. Воровать общественную казну не будет. А потом и самовольство прекратит. Рука у него тяжелая. Попросим, граждане, послужить обществу Кузьму Маркеловича. Как ваше мнение, господа граждане?

— Согласны! — закричали в первых рядах.

— Долой! — раздались крики с задних мест.

Когда народ успокоился, Дьяконов предложил:

— Кто согласен, поднимите правую руку.

Разве разберешь, где правая, где левая рука. Все-таки Новиков был выбран председателем управы. Некоторые стали выходить из помещения. Дьяконов предупредил:

— У нас есть еще один большой вопрос, граждане. Об охране лесов местного значения. Тоже надо принять приговор общества. Слово предоставляется георгиевскому кавалеру гражданину Ефимову.

К столу подошел Павел Иванович во всей своей форме, только погон доставало.

— Граждане! Посмотрите, какие безобразия у нас в лесу. В Кашинском колке один подлесок остался — все разворовали. Скоро и жердей на огород не выпишешь. А сторожа что могут сделать? У них вместо ружей палки.

— Верно! Палкой обуха не перешибешь. Винтовку надо.

— Правильно! — продолжал Ефимов. — Надо сторожей вооружить винтовками, чтобы их воры боялись, а не сторожа воров.

— Справедливо, служба! Ружья дать сторожам. Ружья.

Ефимова сменил лесной сторож. Он рассказал:

— Третьего дня нам пофартило — поймали все-таки ворину с бревном. Откуда? Из Гарей, говорит. А что, сукин сын, в своей волости не воруюешь? А как, говорит, подступить, когда у нас в лесу сторожа с ружьями

ходят... Беспременно надо винтовки. Тогда и воровства не будет.

Дьяконов пошептался с писарем.

— Господа граждане! Наше мнение выходит такое, что надо постановить приговор волостного схода и просить уездную земскую управу, чтобы дали нам оружие для охраны лесов. Согласны?

— Согласны! Кончай сход! Ноги отекли!

К столу снова подошел Ефимов. Он что-то переговорил с Дьяконовым. Тот встал и объявил собравшимся:

— Мы тут посоветовались, кого послать в город за ружьями. Гражданин Ефимов сам не отказывается послужить обществу. Он человек военный. Согласны, граждане, чтобы Павел Иванович Ефимов исполнил приговор общества?

— Согласны!.. Хоть Пашку, хоть Яшку!..

В тот же день писарь настроил приговор волостного схода. Выдали Ефимову удостоверение и дорожные деньги.

Новый председатель управы Кузьма Новиков простился с матросом, крепко пожав руку, и попросил:

— Постарайся, моряк, для волости. Мой лесок на борках тоже страдает. Растаскивают, окаянные. Скоро ни одной елки не останется.

— Рад стараться! — И Ефимов отдал председателю честь.

Новиков расплылся в улыбке от удовольствия и пообещал:

— В долгу не останусь, Павел Иванович. Отблагодарю по-честному.

Не теряя времени, Ефимов, я и милиционер Суханов, которого дали для охраны, в тот же вечер выехали из Строганова.

Вначале ехать было хорошо, но чем дальше, тем хуже. Появились нырки, выбоины. Мостики на дороге провалились — их, должно быть, года два не поправляли.

В деревне Гари жил мой дядя Еремей. Мы заехали покормить лошадей. Раньше у дяди было две избы. Осталась одна, да и та без крыши. Все пристройки распилены на дрова. Негде и лошадь поставить.

Отдохнули немного и поехали дальше. Не одинок был в разорении дядя Еремей. В деревнях редко-редко увидишь хорошую избу. Совсем не видно скота. Даже со-

баки перевелись. Только в селе Сенькине из подворотни поповского дома потявкала нам вслед рыжая собачонка.

Почти всюду в полях стояла несжатая рожь. Уходили под снег овсы.

Через лесной волок выехали мы на берег Камы, по которой уже плыл ледок. На той стороне виднелся паром. Мы стали кричать:

— Перевоз! Паромщики!

Долго кричали, пока паром не пошел в нашу сторону. Часа два он перебирался через реку. Работал на нем старик с мальчишкой лет пятнадцати.

— Дед! Нет, что ли, перевозчиков-то? — спросил его Павел Иванович, принимая с парома чалку.

— А ты слепой? Мы и есть перевозчики, — задыхаясь от усталости, ответил старик. — Сегодня мы с Митькой дежури́м. — И вдруг выругался: — Носит вас шайтан в такую пору! Кому перевозить-то, когда на войне молодого народа перебито видимо-невидимо. У нас в деревне, почитай, все мужики сложили свои буйные головушки...

В город въехали на закате солнца. На кафедральной площади увидели занятную картину. На паперти собора стояла длинная худая не то женщина, не то девка в мужицкой одежде, в широченных штанах и с визгом кричала:

— Ать, два, три, тырре! Ать, два, три, тырре!

А на мостовой маршировало женское войско. Впереди шагали такие же длинные, как и баба-офицер. Лица у них были какие-то вытянутые. Позади, семена ножками, бежали вприпрыжку маленькие, почти девчонки. Обмундирование у всех на одну мерку. На больших было в обтяжку, на маленьких — мешком. Я расхохотался, глядя на такое воинство.

— Это батальон смерти, — тоже ухмыльнулся Суханов, — из благородных составлен.

— Такие воюют? — недоумевал я.

На этот вопрос мне ответил Ефимов:

— Старые порядки готовятся защищать.

Остановились на ночлег на постоялом дворе. Мы с Сухановым напились чайку и легли спать, а матрос ушел в город сразу, как с телеги слез.

Утром в земской управе нам выдали восемь винтовок: две трехлинейки, пять «ветерли» да одну японскую «арисака» и большое количество патронов. Погрузив

«товар», мы без задержки отправились на городской перевоз, но и то чуть ли не последними перебрались через Каму — по реке уже шел довольно густой лед.

Большие села, по совету Ефимова, мы объезжали, в деревнях не останавливались. Исколесили верст двести окольных дорог и только на пятые сутки добрались до своей волости.

Проезжая последний лесок перед Строгановым, заметили на дереве белку.

— Стрелок! Возьмешь из своей пушки? — спросил Ефимов Суханова.

— Попробую. — Милиционер соскочил с телеги, вынул из кобуры «смит» — пистолетину в пол-аршина длинной. Долго целился с колена, наконец прищурился и бабахнул. Белка перескочила на другое дерево.

— Плохой стрелок, а еще вроде полицейского. Дай, я попробую.

Суханов отдал револьвер матросу и смущенно пробурчал:

— Сплоховал малость.

Матрос многозначительно взглянул на Суханова и заметил:

— Правильно сказано — сплоховал! — Он прицелился и выстрелил. Белка упала на дорогу. Ефимов слез с телеги, поднял убитую белку и, разглаживая ее пушистый хвост, подошел к милиционеру.

— На! — И протянул ему зверька. — А револьвер я тебе не отдам.

— То есть как не отдам? Личное оружие! Ты брось шуточки шутить!

— А я серьезно. Ты, Санька, разве не слыхал, кто я такой?

— А кто?

— Большевик!

— Не может быть?! — У Суханова задрожали руки...

К селу мы подъехали в темноте. На выезде нас встретил Андрей Иванович.

— Как удача? — спросил он.

— Очень даже прекрасно, товарищ Заплатный, — весело ответил я.

Заплатный сел в телегу, взял в руки вожжи и повез нас по целине, задворками. На крутом берегу, за сельской окраиной, стоял пустующий дом лесника с выби-

тыми окнами, с прогнившей крышей. К нему-то и подвез нас Заплатный.

Выгрузив оружие, мы за Андреем Ивановичем спустились по шаткой лестнице в подвал. Открылась дверь, мы очутились в большой комнате. На столе мигала лампа-коптилка. По земляному полу важно расхаживал Захар с охотничьей берданкой. Тут же был Федот Сибиряков, лесной сторож да человек десять незнакомых солдат.

Заплатный забросал вопросами Павла Ивановича:

— С товарищем Афанасием говорил?

— Когда в городе переворот? Скоро, нет?

— Как бурлаки? В полной готовности?

— А мотовилихинские? А паровозные мастерские?

— Эх, Ховрин! — сказал мне Заплатный. — Вот бы нам с тобой сейчас в Королевский затон! Показали бы Желяеву, где раки зимуют.

— А ты, Андрей, не беспокойся, тебе и здесь будет немало работы, — сказал Ефимов, похлопал Заплатного по плечу и продолжал отвечать на вопросы товарищей:

— Правильно! Товарищ Афанасий советовал потопливаться. Надо врасплох.

— Мы давно готовы, — сказал Заплатный. — Оружие в наших руках...

Только сейчас я понял, для какой «лесной стражи» привезли мы из города оружие. В разговоре часто упоминалось имя товарища Афанасия. Я спросил Андрея Ивановича, кто это.

— Водолив. Помнишь, в Королевой жили, на «Стреле» вместе служили? Сейчас Афанасий Ефимович председатель комитета водников...

Думал ли когда-нибудь бедняк Захарка, что на его долю выпадет почетное дело начать в волости большевистский переворот?

Его послали перерезать телефонные провода и закрыть проезд по тракту. Дали вместо берданки настоящую трехлинейную винтовку, и Захар вышел на улицу.

Заплатный с Федотом пошли по квартирам членов управы. Лесного сторожа и остальных Павел Иванович направил по деревням поднимать бедноту за власть Советов.

В земскую управу Павел Иванович пошел сам. В товарищи себе взял меня.

Матрос поплотней запахнул бушлат, проверил барабан нагана, я взял винтовку, и мы пошли.

Холодная и ясная ночь. Невысоко над горизонтом сверкала всеми цветами какая-то яркая звезда.

Я шел за Ефимовым и думал: «Дали винтовку, а что я с ней делать-то буду? Сроду из винтовки не стреливал. Да ладно, в случае чего буду штыком тыкать или прикладом лупить по башкам».

Незаметно подошли к управе. В присутствии, так назывался кабинет председателя, горел огонек.

— Я пойду в управу, — тихо проговорил Ефимов, — а ты здесь стой и никого не выпускай. Только не трусь и с поста не сбеги.

Ефимов постучал в закрытую дверь. Загремел крюк. Сторож, открывший дверь, даже не взглянув на нас, зашлепал босыми ногами по коридору. За ним скрылся матрос.

Я стал прислушиваться. Где-то под горою раздался выстрел. В помещении управы зазвенели стекла. Кто-то бежал по коридору.

— Стой! Руки вверх! — и я направил штык на бегущего.

— Сдаюсь, истинный господь. Не убивай, пожалуйста.

Передо мной с поднятыми руками стоял член управы Дьяконов.

Я загнал его в дом. Вскоре и меня позвали. Проходя мимо арестного помещения, увидел посаженного за решетку милиционера.

Ефимов сидел за председательским столом. Вокруг него десятские, дежурные крестьяне. Сторож заделывал картонкой разбитое стекло.

Пришел Федот Сибиряков с председателем управы. Тот как ни в чем не бывало поздоровался с Павлом Ивановичем и подал ключи.

— Я — человек маленький, — сказал он. — Вчера вы брали, а сегодня по шапке. Можно уходить?

— Нет! Завтра будешь сдавать дела, а сегодня придется отдохнуть в клоповнике.

— Что ты, Павел Иванович? Да разве...

Явился начальник милиции Чирков и сам сдал свое оружие. Как говорили потом, «переметнулся к большевикам».

К утру Андрей Заплатный с Федотом перетаскали всю управу. А Захар привел со своего поста трех баб да двух стариков. Они шли на гумно молотить, а Захар их и заграбастал. Посмеялись над Захаром, а арестованных отпустили.

Утром в помещении управы стало тесно. Перебрались в дом лесника. В управе оставили одного сторожа.

Когда все ушли, сторож подошел к камере, в которой сидело до десятка контрреволюционеров и кулаков, и, обращаясь к ним, сказал:

— Ну, что? Отшились, и нитки в пазуху!

6

После установления Советской власти в Строгановскую волость пришла бумага с вызовом в город всех старых речников.

По первопутку на паре сытых лошадок мы с Андреем Ивановичем приехали в Пермь.

Управление Камского водного транспорта разместилось в самом лучшем здании города — в доме бывшего пароходчика Мешкова.

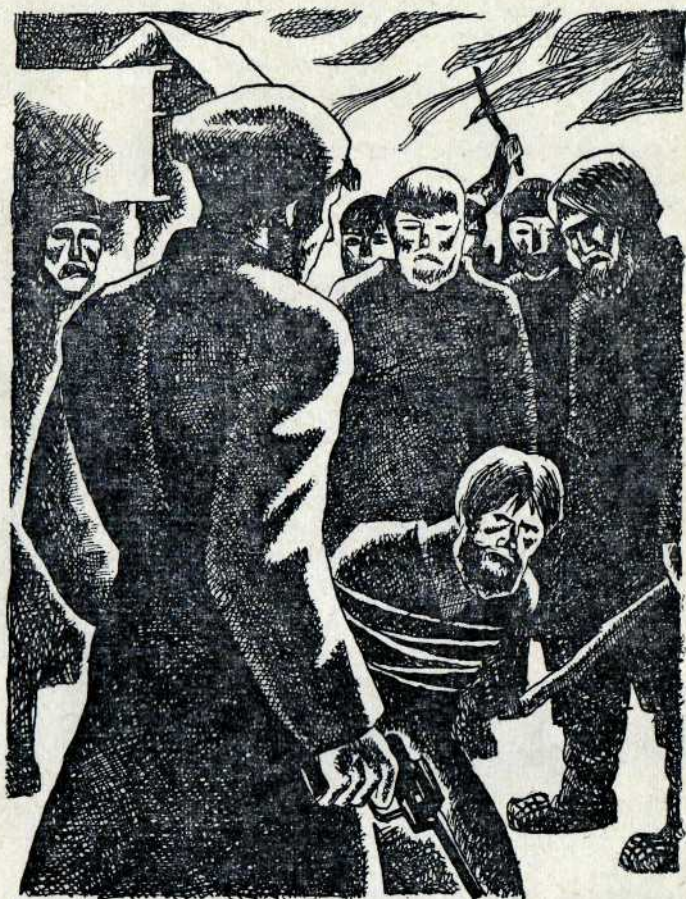
На крыше развевался красный флаг. Освещенный снизу электричеством, он горел, как пламя.

У главного входа стоял матрос с винтовкой. Заплатный обратился к нему:

— Скажи, бурлак, куда явиться? Нас с Верхокамья вызвали.

— Ты, земляк, не лайся, — сказал матрос. — Были бурлаки, а теперь стали водники.

КНИГА ВТОРАЯ



КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ АТАКА

РЕЧНАЯ ПЕХОТА

1

— Смотри, Ховрин! Раньше здесь было управление пароходства Каменских и Мешкова, шкуродерной компании, а нынче...

Любуясь новой позолоченной вывеской, на которой было написано «Рупвод», я пошутил:

— Ты, Андрей Иванович, тоже переменял свою вывеску? Был Андрей Заплатный, а теперь по советскому удостоверению — Андрей Иванович, товарищ Панин.

— Не переменял, а сбросил к черту. Пусть сейчас буржуи пощеголяют в заплатах, а нам они до смерти надоели.

— Кто?

— И буржуи, и заплаты...

В районном управлении водного транспорта — рупводе, куда нас проводил матрос с винтовкой, указали на дверь, обитую черной клеенкой.

— Сюда входите, товарищи.

В большой комнате, обставленной пароходской мебелью — камышовыми диванами и креслами, за столом, заваленным бумагами, чертежами, сидел человек с изможденным, старческим лицом, в поношенном бушлате. Он встал из-за стола и первым поздоровался с нами, назвав свою фамилию:

— Калмыков...

— Бывший начальник постов? — с недоумением пробурчал Панин.

Калмыков, улыбнувшись, ответил:

— Да. Бывший начальник постов.

— Как же это понять? Был начальником при старом режиме — золотые пуговицы, а сейчас...

— ...стал начальником Камского пароходства, — закончил Калмыков. — У меня в то время разные были посты. На вашей карчеподъемнице тоже был пост. Товарища Кондрякова помните?

— Михаила-то Егоровича?

Как не помнить Кондрякова? Как забыть то время, когда мы вместе с Андреем Ивановичем и Кондряковым мыкали горе у подрядчика Юшкова и на карчеподъемнице и как иногда приезжал к нам начальник постов Калмыков?

— Ты, Андрей Иванович, еще выговаривал Кондрякову, не родня ли, дескать, ему Калмыков, — припомнил я.

— А я почему знал, что он наш человек. Как-никак, начальник... А ты, товарищ Калмыков, сразу бы тогда и сказал, кто ты такой и что у тебя за «дела» с Кондряковым.

— И что у нас на уме? Также сказать? Приходилось, товарищ Панин, осторожно работать. Уже перед самой Октябрьской революцией, при керенщине, попался. Видите, до чего довели гады? А мне сорока лет нет...

Калмыков тяжело закашлял. Судорожно вздрагивали плечи и бледные руки.

Андрей Иванович сказал:

— Как же так, дорогой товарищ Калмыков? Тебе же лечиться надо, отдыхать надо.

— Отдыхать не время. Только сейчас по-настоящему начинается борьба за Советскую власть.

— Когда же ты отдыхать-то будешь? — не унимался Панин.

— После победы.

— А если не выдюжишь?

— Что ж поделаешь. Буду считать, что не зря на свете жил...

Я пытался понять, о чем говорит этот больной, хороший человек. Октябрьская революция победила, — о какой еще победе идет речь? О какой борьбе?

Однако переспрашивать Калмыкова и вмешиваться в разговор я стеснялся...

Калмыков подошел к карте Камы, висевшей на стене.

— Смотрите, товарищи. Вот Боровской затон, Коро-

левский, Заозерье, Курья... Все это большие затоны, но они мертвые. Суда снегом занесло... мастерские не работают.

— Почему не работают? — спросил Панин.

— Машинные команды по деревням разбрелись, — ответил Калмыков и, закашлявшись, сел за свой стол.

— Товарищ Калмыков, — сказал Панин. — Мы с Сашкой можем хоть сейчас поехать в любой затон. Я ведь механиком был.

Калмыков пропустил мимо ушей предложение Панина.

— Часть пароходов нам заводы помогут отремонтировать. А дальше что? Не на прикол же ставить суда в начале навигации? Своих-то специалистов у нас пока нет, а старые капитаны да помощники саботируют. Взять ваш бурлацкий увал. У вас там немало укрывается опытного народа. Каменским да Нобелю они служили, а рабочей и крестьянской власти не желают. Перепишите всех капитанов и отправляйте их на транспорт... под конвоем, если понадобится... Чтобы не сорвать первую советскую навигацию, приходится крайние меры принимать, товарищи...

Панин медленно встал, уперся руками в стол и глухо проговорил:

— Я так понимаю, товарищ Калмыков, что нам, значит, ехать обратно в Строганово.

— Да! — подтвердил Калмыков.

— А если я на своем, не на купеческом пароходе послужить хочу? Сколько лет ждал такого счастья, а выходит, что...

— Я тоже не прочь, товарищ Панин, а видишь — сижу на берегу! — резко оборвал Панина Калмыков и закончил уже гораздо спокойнее: — Этого сейчас революция требует... Вот когда проведем первую советскую навигацию, там видно будет. Может, нам с тобой целой флотилией придется командовать. Молодой товарищ, — Калмыков кивнул в мою сторону, — через несколько лет, безусловно, будет настоящим советским капитаном... — Калмыков встал. — Задерживать вас больше не могу. Поезжайте домой и действуйте. На помощь вам мы посылаем еще несколько товарищей из рупвода...

Мы пожали Калмыкову руку и вышли в коридор. Мимо проходили матросы с винтовками, судовые рабочие

в промасленных бушлатах; проплыл старый капитан в форме из довоенного сукна, с «капустой» на фуражке; показался высокий молодой человек в поношенной офицерской форме, со следами погон на широких плечах. Панин насторожился.

— Мишка Чудинов!.. Сынок самого директора мешковского пароходства. Папаша ихний в скитах скрывается, а сынок, видимо, подмазывается к Советской власти. Вдруг да пошлют такого к нам в Строганово, — греха не оберешься...

«Здорово жили буржуи, — думал я, глядя на потолок, где были вылеплены разные фигуры. — Теперь настоящие хозяева нашлись — наш брат матросня...»

В тот же день мы выехали из города.

Панин сердился, злобно покрикивал на лошадей. Вечером, перебравшись через Каму, мы въехали в Полазненский волок. Огромные сосны сплетались вершинами над дорогой, сквозь заиндевевшую хвою сверкали редкие звездочки. Дорогу перебегали зайчишки, где-то далеко в логах выл одинокий волк.

На одном из поворотов раскатившиеся сани ударились о пень, лопнула завертка. Панин остановил лошадей, вылез из саней.

— Сели на мель моряки сухого болота, — зло сказал он.

Я ответил:

— В передке есть запасная.

— Что?

— Завертка, говорю, есть запасная.

— Я про пою, а ты про попадью! Если бы не товарищ Калмыков, ни за что не согласился бы я в такое распрекрасное время сидеть дома на печке да сажу перегрывать.

— Мы с тобой, Андрей Иванович, беспартийные. Почему не сказал об этом Калмыкову? В Строганово тогда других бы, партийных, назначили, а нас на транспорт.

Панин молча приладил завертку, сел в сани, передернул вожжами и только тогда ответил:

— Ничего ты не понимаешь! Приедем домой и в партячейку вступим. Днем раньше, днем позднее — какая беда. Калмыков и так знает, что мы большевики.

У первой же деревни на выезде из волока мы наткнулись на завал — дорога была перегорожена бревном.

Из-за угла крайней избы вышли два парня с шомполками. Панин засунул руку за пазуху.

— Кто едет? — издали спросили парни.

— Не подходи! — крикнул Панин. — Брякну «бутылкой» — одни лапти останутся.

Ребята остановились.

— Вы чего подорожничаете?

— Деревню караулим. Вчера в волости председателя убили.

— Ну-ка, айда сюда! — позвал я караульщиков. — Мы строгановские, из города едем.

Парни с опаской подошли.

— Кто у вас председателем был? — спросил Панин.

— Еремей Иванович из Гарей. Может, слышали? Домой шел с собрания. Из ружья убили... бандиты, должно быть, или кулаки. В волоку стали пошаливать.

Мы показали наши удостоверения и поехали дальше... Панин погонял лошадей, а я лежал, уткнувшись лицом в сено. Жаль мне было дядю Еремея.

В полночь выехали на просторные луга. Впереди в лунном свете замаячила гряда бурлацкого увала.

Панин обернулся ко мне:

— Не горюй, Сашка. Отплатим мы гадам за твоего дядю Ерему. Понимаешь теперь, что такое есть борьба?

2

Все большие дела волости решались в нижнем этаже двухэтажного дома лесничего, занятого под волостной исполнительный комитет.

После нашего приезда из города председатель волостного партийного комитета Ефимов устроил партийное собрание. Пришли Захар, Федот Сибиряков, Панин, начальник милиции Чирков. Были и незнакомые мне люди. У двери сидел человек лет пятидесяти в рыжей меховой куртке, шерстью наружу, и сам рыжий. Это был плотный коренастый дядя. Ладони у него, как лопаты, усы большие, свисающие книзу, на широком лице поблескивали маленькие глазки. Около него стоял флотский матрос в широких брюках. Был он выше всех ростом. Из-под бескозырки выбивались пряди черных густых волос. Лицо бритое, красивое.

С Ефимовым, сидевшим у стола, вполголоса разговаривал солдат в поношенной шинели. Одна нога у него деревянная, у стены стояли костыли.

Среди незнакомых выделялся бритый, худощавый человек, то ли солдат, то ли офицер. На сером кителе были следы от орденов. Справа у него висел полуаршинный маузер в желтой кобуре.

В тесной комнатухе было так накурено, что керосиновая лампочка мигала от дыма.

Рыжий вдруг неожиданно бойко вскочил со стула и пинком раскрыв дверь.

— Не нашли лучше этой дыры, — проворчал он сильным, но сильным голосом. — Большевики давно вышли из подполья. Завтра с утра начну ремонт.

— Какой ремонт? — спросил Ефимов.

— Старого волостного. Игрушку сделаю.

На этом собрании меня и Панина принимали в партию. Я целый день писал заявление, а получилось всего несколько строчек.

Я страшно волновался, рассказывая о своей жизни, а на вопросы отвечал, как во сне. Когда казалось, что все уже закончено, и я сел на лавку, вдруг рыжий спросил меня:

— Зачем, парень, в партию вступаешь?

Что отвечать, когда я уже обо всем сказал?

— Не знаю, — ответил я. — Как же без партии-то?

За меня вступился Панин.

— К чему придираешься? Он рабочий, а не золотопогонник. Он всех нас моложе — Сашка Ховрин, а у него от старого режима живого места нет. Сейчас его якорь чистить не заставишь, он узнал, что такое большевистская власть. Он за нее, за нашу власть, теперь кому угодно глотку перегрызет. Товарищу Ховрину сейчас, правильно он сказал, нельзя жить без партии.

Так случился переворот в моей жизни — меня приняли в партию большевиков.

Когда дошла очередь до Панина, он вдруг заявил:

— Может, здесь беспартийные есть, может, офицеры?.. Я...

Ефимов остановил его:

— Здесь, кроме тебя, беспартийных нет. Только тебя еще не приняли в партию... Ты про себя рассказывай. Нечего на других-то кивать.

— А это кто? — и Панин указал на человека с маузером.

— Товарищ Панин! Ты Василия Спиридоновича Пирогова знал? — с ехидцей спросил Ефимов.

— Дружки были, вместе в тюрьме сживали.

— Где он сейчас? — снова спросил Ефимов.

— Что за допрос? Сам знаешь. Во время забастовки казаки зарубили.

— Так вот, это — его сын Михаил Пирогов. В войсках действовал по заданию большевистской организации... Ясно?

— Ясно! — подтвердил Панин, шагнул к Пирогову и, протянув ему руку, сказал:

— Ты, Миша, прости меня. В городе я на Қалмыкова окрысился, а здесь на тебя.

Матрос спросил Панина:

— С чего ты, братишка, как анархист, на людей кидаешься?

— На меня, видишь, всю жизнь кидались: и хозяйчики, и приказчики, и начальство...

3

Из балагана я перешел на жительство к Панину на паровую мельницу, которая по наследству, так сказать, досталась ему в заведование.

Панин сумел на время снять с рейдовского баркаса, поставленного на зимовку в устье Обвы, динамо-машину. И у нас в сторожке было светло и тепло. Частенько помольцы из дальних деревень любовались нашей удивительной лампочкой, которая горит без керосина.

— Шибко баско! — восхищенно говорили мужики. — К нам бы в деревню такую оказию. Сколько керосина жжем, и достать-то его не всегда можно. Вечером ничего — вместе с солнышком спать ложимся, а утром лучинку палим, как в стары годы.

— Видать, что вы кержаки, — отвечал им Панин. — В лесу родились, пню молились. Вот погодите. На все мельницы скоро динамы поставим. Во всех деревнях электричество будет.

— Ну, увидим... — Мужики чесали затылки и выходили из сторожки к своим мешкам.

В сторожке было две комнаты: передняя, где стояли чугунная печь, скамейка, стол и шкафчик с канцелярией, и задняя, жилая, с русской печью. За печкой мой топчан. Панин спал на полатах.

Готовила на нас бывшая стряпуха мельника Новикова, пожилая сварливая Варвара. Боялись ее на мельнице и уважали больше, чем нас с Паниным. Идя в сторожку, мужики еще на улице тщательно очищали лапти от снега, снимали армяки, стряхивали мучной бус и только тогда осторожно открывали дверь. С нами все здоровались попросту — «Здорово живешь», а перед Варварой снимали шапки и низенько кланялись: «Наше вам почтение, Варвара Игнатьевна».

Когда пришла Советская власть, Варвара забрала у хозяина ключи, и он в чем был, в том и скрылся из волости, оставив нетронутым все свое добро.

Любо было глядеть на Варвару, когда она помогала солдаткам таскать пятипудовые мешки. За глаза называли ее полумужичьем.

Нас Варвара и в грош не ставила, но была заботливой хозяйкой. Без завтрака на работу не выйдешь, без ужина не уснешь.

Однажды я угорел в бане. Варвара, подождав меня положенное время, встревожилась и прибежала в баню. Сорвала с крюка дверь, закутала меня в шубу и притащила в сторожку. Потом дня три отпаивала какой-то травяной настойкой, держала взаперти и все ругалась, что, дескать, навязались на ее шею — один младенец, другой старый дурак.

— Даже в баню сходить толку нет! — ворчала Варвара. — А косорылый не позаботится, почему долго парится его помощничек. Ну и люди!

Панин пошутил однажды:

— Варвара! Пойдешь за меня замуж?

— Если бы мне скостить лет двадцать, — ответила Варвара, — я бы, пожалуй, пошла за Сашку. Я бы из него человека сделала. А ты — немазана телега.

— Видно, тебе моя рожка не нравится?

— Чего не нравится? Ты не виноват. Злые люди тебя изуродовали. А только постыдился бы говорить о женитьбе на старости лет.

После партийного собрания мы пришли домой поздно. Разворчалась наша Варварушка:

— Полуношники! Сами покоя не знаете и другим из-за вас никакого покоя нет. Пятый раз самовар подогреваю. Где шлялись?

Я ответил хозяйке с гордостью:

— Мы на партийном собрании были. Меня, тетка Варвара, в партию приняли.

— Да ну! И Андрюху, поди?

— Андрея Ивановича тоже приняли.

— Значит, вы каждую ночь будете по собраниям ходить, а я одна за вас на мельнице отдувайся... Завтра сама на собрание пойду.

— Только тебя там и не хватало, — ухмыльнулся Панин.

— А что я, хуже вас, что ли?

— Ты — баба, значит, женщина, а мы мужики.

Варвара плюнула в угол и напустилась на Панина:

— Был ты Заплатный и остался Заплатным. Чего городишь? А еще партейный. При Советской власти все равноправные. На собрание завтра пойду и пойду! Ко мне учительница Фаина Ивановна приходила. Завтра, говорит, женское собрание в школе, обязательно, говорит, приходи, Варварушка... Не хотела идти, а сейчас надумала.

У печурки забулькал самовар. Варвара сорвала трубу, заглушила шипящий самовар крышкой, поставила его на стол и стала угощать нас чаем с домашними шаньгами.

После чаепития Варвара вымыла и прибрала посуду, велела нам ложиться спать и ушла домой.

Панин долго ворочался у себя на полотах, потом слез, зажег свет и вытянул из-под стола свой бурлацкий сундук.

— Вставай, Сашка! — позвал он меня.

Я нехотя оделся и вышел из-за печки, где было так тепло и уютно.

— Успеем выспаться. Учиться будем, — предложил Андрей Иванович.

Он вынул из сундука какие-то книжки и положил на стол. На одной я прочитал: «Манифест Коммунистической партии».

— Читай эту с самого начала, я слушать буду.

Читать было трудно. Книжка была напечатана давно, на тонкой бумаге, уголки почернели, а то и совсем обор-

ваны, некоторые слова еле видны. Читал я медленно, с остановками, но Панин слушал внимательно и терпеливо.

— Вот оно как, Сашка, — сказал Панин, когда я окончил читать. — Нам нечего терять, а завоюем мы, то есть рабочие, весь мир...

— Откуда у тебя эта книжка? Больно уж хорошая...

— Кондряков нам давал на карчеподъемнице. Ты был молодой, я тогда тебе не показывал.

— Сейчас новые, поди, напечатаны такие книжки. Зря мы в городе не купили...

— Ты спроси у товарища Ефимова. У него должны быть новые. Каждый день будем читать по вечерам, — предложил Панин. — Учиться будем.

Улеглись спать. Панин долго крихтел и ворочался на полатах. Скрипели полатины, за стеной гудела машина. Не спалось и мне. Я думал о том, что написано в «Манифесте». Много было непонятно. Вот сейчас бы сюда Михаила Кондрякова... А разве, кроме него, нет в Строганове знающих товарищей? Тот же товарищ Ефимов. Давно в партии, в Сибири в ссылке был, на кораблях плавал. Ученый человек.

Уснул я только под утро и проспал до восьми часов. Наскоро выпив кружку чаю, пошел в село.

Тянула поземка — низовой ветерок, через дорогу струились снежные ручейки. В придорожном ельнике хрипло кашляла ворона. «Летом — к ненастью, сейчас зима, значит, к оттепели давится ворона», — подумал я, вспомнив народную примету.

С запада катилась таежная туча, от нее до земли протянулись, как конские волосы, космы снежной крупы.

Вдали широкая, скованная льдом Кама; посредине ее змейкой вьется дорога, окаймленная зелеными вешками. А дальше дремучий бор, гора с белоснежной шапкой, за горою дымок дальнего завода.

Подходя к селу, я заметил, что из трубы старого волостного правления идет дым.

Я быстро прошел околицу и вышел на площадь. Двое крестьян приколачивали над дверью правления новую вывеску: «Волостной исполнительный комитет». Рыжий, что был вчера на собрании, командовал:

— Правый угол выше! Еще!.. Ниже немного. Лупи!

Около стояли любопытные. Кто-то сказал:

— Федюня из Тупицы тоже хотел лошадку себе заве-

сти. Сперва дугу купил, а лошадь-то так и не удалось до самой смерти. Они то же самое делают. Дугу повесили, а лошадки-то нет.

Рыжий услышал этот разговор и расхохотался на всю площадь. Мужики, глядя на него, тоже стали ухмыляться в сивые бороды, а потом и по-настоящему расхохотались, так был заразителен смех рыжего.

— Сравнил! — давясь смехом, проговорил он. — У нас, дядя, конь боевой, породистый. Грудь — во! Мы его при-чешем, в порядок приведем — залюбуетесь.

Заметив меня, он окликнул:

— Товарищ Ховрин! Тебя, кажется, так зовут. Полю-буйся, чем занимается новый председатель волисполкома Меркурьев. В вашем лесном домишке мне, понимаешь ли, тесновато...

Я снова, как и на собрании, оглядел его. Большой, как настоящий водолаз! Конечно, для такого места надо немало.

— ...и задумал я, — продолжал он, — отделать старый дом волостного правления. Мастеров здесь хоть зава-лись: что ни штурвальный, то и маляр. А материалов: красок, обоев, гвоздей — у каждого капитана на сто лет нахапано. По Каме, по всей Волге строгаиовских живоде-ров грошевиками зовут. По грошику, по грошику — и натаскали разного хлама невпроворот... — И закончил непонятными словами: — А мы, значит, экспроприруем экспроприаторов.

К новому исполкому подошла группа женщин с ве-драми и тряпками. Впереди Захар с винтовкой, в солдат-ской папахе с красной ленточкой.

— Товарищ Меркурьев! — обратился к рыжему За-хар. — Принимай гражданок. Привел их полы мыть.

Среди женщин были торговка Анна Григорьевна, по-падья, капитанши.

— Где ты их насобирал? — спросил Меркурьев.

— А по домам, — ответил Захар. — Хватит барынями сидеть. Пусть поробят на Советскую власть.

Меркурьев снова заразительно расхохотался.

— На Советскую власть пусть поработают, говоришь? Да рано еще полы-то мыть. Потом уж как-нибудь, после ремонта... Идите, бабочки, домой.

Женщины не заставили себя долго просить и, гремя ведрами, разбежались от исполкома врассыпную.

— Опять не на ту линию попал, — проговорил Захар и, повесив голову, зашагал через площадь.

Вечером на паровой мельнице тоже шла перестройка. Помольцы переделывали крутые мостки на пологие. Распоряжался деревенский силач Федюня. Правая рука у него была на перевязи, ходил при помощи костыля и уже не хвастался своей силой.

Перед ужином пришла Варвара в суконной шубе, в расписных валенках. Она бережно сняла пуховую шаль, аккуратно повесила на вешалку шубу и явилась перед нами в розовой кружевной кофточке. Подошла к зеркалу и стала поправлять прическу. Панин от удивления даже руками развел. Спросил:

— На свадьбу, что ли, собралась, христова невеста?

— На собрание.

— На какое собрание? — переспросил Панин.

— На женское. Вчерась говорила. Забыл?

— А чего так расфуфырилась?

— В первый раз в жизни на собрание иду. Раньше-то нашу сестру на сходы не пускали, людьми не считали, теперь наше времечко пришло. Я даже баню истопила. Сегодня у меня вроде праздника. Сами теперь постряпушками занимайтесь. Сколько раз говорила и снова скажу, что я вам больше не слуга.

Повертевшись перед зеркалом, чего с ней раньше никогда не бывало, Варвара Игнатьевна снова оделась и гордо выплыла из комнаты.

Панин долго, растопырив руки, стоял посередине комнаты, потом повернулся ко мне и промолвил со вздохом:

— Ну и баба!

Мы поглядели друг на друга и рассмеялись.

— Сашка! Что мы будем делать без Варвары? Обожди-ка. Растапливай печь, а я скоро приду. — С этими словами он, надев шапку, вышел из сторожки.

Я отправился в дровяник. С трудом разыскал запрятанный Варварой топор-колун, наколол дров, перетаскал их в сторожку и затопил русскую печь.

Не успели прогореть дрова, как явился Панин с корзиной свежей рыбы.

— Сходил к рыбакам, — объяснил он. — Понимаешь, что я придумал? Сварганим уху для нашей Варварушки. Довольная будет... Должна быть довольная.

Рыбу из корзины я переложил в миску и поставил на

шесток. Когда она оттаяла, принялся чистить. В это время Андрей Иванович налил в чугунок воды, накрошил картошки, всыпал горсть соли, положил три лавровых листа и поставил чугунок на угли. Как только сварилась картошка, мы спустили в чугунок рыбу.

Раз десять мы вынимали из печки готовую уху и пробовали, спорили. Панин утверждал, что она недосолена, а я боялся пересола. Одним словом, варили мы уху любовно, чтобы как можно лучше угодить нашей хозяйке. Не умея орудовать ухватом, вытаскивали чугунок из печи тряпками.

Когда, наконец, с варкой было покончено и чугунок, покрытая тряпкой, стояла уже на шестке, я заметил Панину:

— У тебя весь лоб в саже!

— Сам-то на кого похож? Чернее трубочиста. Айда к умывальнику!

Мы помылись и почистились. Панин надел чистую рубаху и пиджак. Я нарезал хлеб, приготовил вилки и ложки. Мы сели к столу и стали ждать Варвару.

Пришла она, разделась и села за стол. Мы наперебой угощали хозяйку:

— Тегушка Варвара, подложить рыбки?

— Кушай на здоровье, Варвара Игнатьевна!

Когда от рыбы остались хвосты да косточки, Варвара стала рассказывать:

— Ой, как хорошо объясняла Фаина Ивановна! Каждая, говорит, кухарка должна уметь управлять государством. Это прямо про меня товарищ Ленин сказал, дай ему бог здоровья. А председатель-то, медведь, сидит рядом со мной и ухмыляется. Я как дам ему тычка! Ты, говорю, чего, бес, смеешься? И пошла, и пошла! Посади, говорю, меня на твое место, не хуже тебя с делами справлюсь. Какое угодно дело дай — ничего не испугаюсь. Хватит, говорю, мужикам над бабами кулаками махать! Прошло то времечко, прокатилось и никогда больше не воротится. Бабы смеются, в ладошки хлопают, а Меркурьев покраснел, как вареный рак...

— Дальше-то что?

— А то... Меркурьев, председатель, мне на собрание в исполкоме велел приходить, не обойтись, видно, ему без Варвары.

— Вот это и есть равноправие, — сказал Панин.

После ухи стали пить чай. Варвара Игнатьевна выпила целых четыре стакана. Мытье посуды нам не доверила. Все сама прибрала.

— Уха хорошая была, тетушка Варвара? — не удержавшись, спросил я.

— Какая уха? Не уха это, а рыба похлебка. Хоть бы лучку положили.

Я так и сел на скамейку: «Никак, — думаю, — не угодишь нашей хозяйке».

Варвара подошла ко мне и ласково сказала:

— Ты не горюй! Как есть сиротка. Пошить на тебя, постирать некому. На меня имей надежду. Приедет твоя матушка Анна Филипповна из Сибири, тебя ей с рук на руки передам, умытого, причесанного...

4

Во всех волостях уезда «волостные» были построены одинаково. Когда войдешь, направо — канцелярия урядника, налево — арестное помещение, «каталажка», в конце зала с деревянными столбами, поддерживающими потолок, «присутствие» — комната, где сидели старшина с писарем. У окна рядом с железным ящиком стояла старинная винтовка времен Севастопольской обороны с кремневым затвором, что-то вроде символа царской власти.

Полы в «волостных», за исключением присутственных мест, никогда не мылись. Перед большими праздниками и накануне сходов сторожа скоблили половицы железными лопатами и мусор выметали метлой. В воздухе всегда висел противный запах.

В Строганове волостное правление было в два этажа. В верхнем когда-то помещалась школа, а теперь гулял ветер. На крыше торчала занесенная снегом пожарная клетка с колоколом...

Теперь работники скребли, мыли, красили старое помещение «волостного».

Из нижнего каменного этажа в верхний деревянный построили широкую лестницу с баясинами, полы зашпаклевали и выкрасили охрой. Тяжелые, просиженные насквозь скамьи выбросили на дрова, вместо них заказали стулья и табуретки.

Меркурьев, обходя помещение, возмущался:

— Напустил же духу на всю Россию Николай Романов! — и говорил малярам: — Керосин или скипидар в краску добавляйте, чтобы навсегда царский запах перешибить.

По окончании ремонта Меркурьев, вместо новоселья, вызвал нас на собрание с представителями деревень.

Когда я вошел в председательский кабинет, мне показалось, что это не бывшее «присутствие» старшины, а капитанская каюта. Стены оклеены пароходской клеенкой. От свежеразкрашенных окон пахло свинцовыми белилами. Меркурьев сидел за большим сосновым столом.

Начали появляться участники собрания. Входили, здоровались и занимали места. Пришла Варвара Игнатьевна и уселась на самое видное место.

Панин решил покурить. Развернул кисет с махоркой и потянулся к столу, чтобы оторвать на папироску уголок газеты. Меркурьев схватил его за руку.

— Газеты не для курева...

— Ты, Алеша, не забыл свои капитанские привычки, — с обидой в голосе сказал Панин.

— Я от таких капитанских привычек не отказываюсь, — ответил Меркурьев и захохотал. У него дрожали щеки, тряслись казацкие усы. Весь он побагровел. И всем стало смешно и весело. Панин быстро-быстро замигал и выдавил на своем лице кривую улыбку.

Меркурьев повесил на стену старую карту Строгановской волости. Волость делилась на отдельные общества, или так называемые десятни. До Советской власти каждой десятней командовал десятский, исполнявший полицейские обязанности. Начальником у десятских был сотский. Все эти должности сейчас были уничтожены, но десятни остались.

В волости у нас были десятни: Сельская, Увальская — на склоне горного увала, Старогорская, Боровская и Дальняя. В Бобровской десятне было несколько деревушек, раскиданных в глухом лесу. Крайняя десятня Дальняя находилась за пятьдесят верст от села Строганова, на ольховом болоте, между двух увалов.

Крестьяне многих деревень жили в черных избах, с печами без труб. Дым во время топки выходил в дыру, проделанную в стене. Когда печь протапливалась, дыру затыкали тряпкой. Бедняки не знали, что такое керосин, — освещались, как и сто лет назад, березовой лучи-

ной. Но почти в каждой деревне среди разваливающихся хибарок бедноты высились хоромы богачей.

Пахотной земли было мало, кругом дремучие, бывшие графские леса. Половиной земли владели кулаки, беднота не могла со своих «восьмушек» обеспечить себя хлебом на круглый год и гнула спину на кулацких десятинах...

— Владимир Ильич Ленин подписал декрет о земле, — так начал говорить Меркурьев. — Вся земля принадлежит народу. Пользоваться ей будет только тот, кто сам на ней работает. Надо подготовиться к весне, к перемеру земли. Кулаков мы должны согнать с пашни, передать ее бедноте, батракам... При волостном исполкоме организуется земельный отдел. Заведующим предлагаю назначить товарища Пирогова. Он военный, грамотный, большевик. С кулаками на соглашательство не пойдет...

— Продовольственное дело у нас плохо поставлено, — продолжал председатель. — Богачи до горла обжираются, а бедняки да рабочие бус на мельнице собирают, мякину едят. В обществе потребителей буржуи сидят. «Крысы» развелись!.. Надо всю эту потребиловку-грабиловку как следует перетрясти, очистить от паразитов, тогда будет у нас действительно кооперация, а не кормушка для богачей...

Действительно, в Строганове больше половины паев общества потребителей принадлежало богатым мужикам, которые делили между собой прибыль, получали из лавки самые необходимые товары и перепродавали жителям по тройной цене. Они-то и клеветали на Советскую власть. Придет, скажем, в лавку крестьянин. Ему к весне косу надо купить, а приказчик говорит, кос, дескать, нет и не будет — все железо комиссары за границу сплавляют. Если небогатый пайщик потребует обратно паяевой взнос, ему отвечают:

— В кассе денег нету. Советчики всю кассу в карты проиграли.

Обо всем этом Меркурьев и рассказал собранию.

— Обществом потребителей должен заняться продовольственный отдел, — говорил Меркурьев. — Отдел, который был при земской управе, я разогнал к чертовой матери! Надо свой создавать. Я думаю, никто не будет против того, чтобы продовольственный отдел поручить товарищу Ситниковой.

Все начали глядеть на Варвару. Она встала и в недоумении так и стояла: уж не ослышалась ли? Ее называли по фамилии, называли товарищем, ее — бывшую батрачку мельника Новикова!

Мы ожидали, что Варвара оробеет и будет отказываться, но получилось все наоборот. Она встряхнула головой и заявила:

— Правильно, товарищи мужики! Варвара лучше всех справится с продовольствием... Нагляделась я за свою жизнь на бедность. Богатеев тоже всех знаю, кто в землю хлебушко закопал. Недаром до последнего дня у Новикова проживала. Все известно, какой сорт и что такое...

— Ладно, товарищ Ситникова, — остановил расходившуюся Варвару Меркурьев. — Тебе, значит, и карты в руки.

— Никакие карты мне не надо. Я, думаешь, в хозяйстве меньше тебя понимаю?

Кто-то посоветовал:

— Ты столовую оборудуй.

— Обязательно открою столовую. Мало, что ли, у нас бездомных на селе.

— Ну, пока другим делом займемся, — сказал Меркурьев и спросил приехавших из десятен:

— Как у вас дела, товарищи?

Поднялся с места коротконогий седой человек в шинели.

— Известно, какие у нас дела. Кроме нас — простых солдат из мужиков, приехали с фронта и богатенькие, уцтера да фельдфебели. Винторезы привезли. Вместе собираются. Нашу власть ругают. Васька Охлупин приехал, офицер. Должно быть, он мутит. Сплю с ружьем, на двор с ружьем хожу...

— Силы у нас не хватает, — рассказывал представитель из другой десятины. — Есть у нас сознательные из бедноты, да организованы плохо. Получилось, что богачи по-прежнему прижимают нашего брата...

И так во всех десятинях.

Выслушав всех, Меркурьев закрыл собрание и велел остаться партийцам, чтобы решить еще одно важное дело.

— Слышали, что делается в деревнях? — спросил Меркурьев. — Контрики голову поднимают.

— Ты не тяни, — запротестовал Панин. — Три часа сидели и слушали... А что делать — не решили.

— Вчера с товарищем Ефимовым, — продолжал председатель, не слушая Панина, — мы были в Никольском. У них хоть и целый полк стоит, а все-таки составили они еще и отряд Красной гвардии. У нас тоже должен быть отряд красногвардейцев...

— Кто будет в отряде? — спросил Панин.

— Мы с тобой, все члены партийной ячейки и сознательные беспартийные, особенно из солдат, кто пожелает. Завтра и соберемся. Выберем командира отряда и комиссара. Думаю предложить комиссаром товарища Панина. Что ты скажешь?

Андрей Иванович медленно поднялся с места. На израненном лице его появилось подобие улыбки.

— Согласен, — сказал он. — Да не знаю, что за должность такая?

— Растолкуем, — ответил Меркурьев.

— Согласен, говорю. Только Сашку Ховрина дайте мне помощником.

— Теперь пишут к нам в волостной исполком из губернии, хлеба требуют. Рабочий, дескать, живет впроголодь...

— Надо заводы восстанавливать, — прервал Ефимов председателя. — Тот же наш речной транспорт. Рабочих-то мы кормить обязаны? Обязаны. Белогвардейцы при отступлении все жгут, уничтожают подчистую. А за ними идет Красная Армия, и мы ее тоже, товарищи, обязаны кормить. Хлеба у нас в тылу много, стоит только пошевелить кулачков, богатых мужичков. Добровольно они ни фунта не продадут. Придется брать с боем...

На другой день, как предлагал Меркурьев, состоялось собрание строгановского отряда Красной гвардии. Командиром выбрали Пирогова, комиссаром Панина.

Каждый вечер после работы мы стали собираться на сельской площади, учились военному делу.

Однажды к нам приплелся старик и спросил Пирогова:

— Это что за войско? Как его звать-то?

Пирогов оглядел выстроенный отряд — все бурлаки — и ответил:

— Речная пехота, отец! Речная пехота.

НАСТУПЛЕНИЕ

1

Варвара Игнатъевна выгнала приказчика из кооперативной лавки и повесила на дверь свой замок.

Явившись в продовольственный отдел, она напустилась на делопроизводительшу:

— У тебя, как в хлеву! Погляди, сколько на полу известки. После ремонта, должно быть, ни разу не мыто. Давай тряпки и ведро! Мыть будем.

— Как хотите, а я не обязана полы мыть, — отказалась делопроизводительша.

— Тогда уходи отсюда, вертихвостка буржуйская! Я нового писаря посажу, а не белоручку.

Варвара сходила вниз за водой и дочиста вымыла пол, окна и двери.

Вечером в отдел стали собираться кооператоры, бордачи в суконных шубах, хмурые и недовольные. Видно ли дело — кухарка в совдеп засела, раскомандовалась.

Варвара Игнатъевна в своем лучшем платье сидела за письменным столом и для вида приветливо встречала каждого.

— Милости просим, Григорий Иванович. Садись-ка ты на самое почетное место, в красный угол, на креслице, как, бывало, сиживал в гостях у Кузьмы Маркеловича Новикова.

— Зачем старое вспоминать, Варвара?

— Не любишь? Не буду старое вспоминать. Только я тебе не Варвара, у меня и отчество есть... Проходи, про-

ходи, Сидор Петрович! — приглашала она другого. — Не обессудь, что у меня плохо мыто, плохо прибрано.

Пришел председатель правления, известный на всю волость спекулянт по прозвищу Корма.

— Извини, что побеспокоила, свой замочек на лавку навесила, — обратилась к нему Варвара. — Садись сюда, на председательское место, а я постою, порасту. — А сама ни с места.

— Ты зубы, Варвара, не заговаривай, — сказал Корма. — Какое имеешь право навешивать на чужие магазины свои замки?

Присутствующие шумно поддержали своего председателя.

— Вы не больно ершитесь! — прикрикнула Варвара Игнатъевна. — Мы и без вас обойдемся. Я думала мирно да тихо побеседовать. Ну, если не желаете, по-своему поговорю. Слушайте все меня, бабу бестолковую. В вашем правлении из пяти человек три кулака, один бывший торговец, один теперешний спекулянт... Кто, например, тебя, Григорий Иванович, выбирал членом правления?

— Народ, члены.

— Врешь! — отрезала Варвара. — Ты сам себя выбрал.

— Позволь, Варвара Игнатъевна! Я с двенадцатого года член правления, когда еще у меня своя фирма была, своя торговля.

— Ну и отдохни... А ты, Корма! Какой тебе интерес быть председателем правления? Спекулировать сподручно? Я всех вас знаю, всю вашу компанию. У Новикова много раз видывала. Вы тогда меня за человека не считали. Теперь я — Советская власть, заведующая по производственному отделу. Сегодня буду делать ревизию. Самолично.

Члены правления и не предполагали, что в то время, когда они препирались с Варварой Игнатъевной, в лавке наши люди уже делали ревизию и вытряхивали наружу все их грехи.

Разгромив кулацкое руководство общества потребителей, Варвара Игнатъевна созвала собрание пайщиков, на котором выбрали новое правление из бедноты и середняков. Кулаки были вычищены.

Из рупвода поступали срочные вызовы капитанов, помощников, лоцманов. Многие из капитанов, как и пред-

полагал когда-то Калмыков, не пожелали служить Советской власти. Некоторые, заколотив свои дома, вместе с семьями уехали из волости неизвестно куда.

В то же время Меркурьева осаждали старики — речные волки, лет по пятидесяти прослужившие на реке и выброшенные с работы хозяевами на произвол судьбы.

И те и другие были недовольны Советской властью. Одни потому, что их заставляют работать, другие потому, что им любимой работы не дают.

Однажды в волость приехал мой дядя по матери, старый любимовский лоцман.

— Алексею Петровичу! Михаилу Андреевичу! — поздоровался он с Меркурьевым и Чирковым, когда зашел в кабинет председателя, а на меня никакого внимания.

— Доброго здоровья, Иван Филиппович! Присаживайся! Будь гостем, — пригласил его председатель.

Дядя помялся немного у порога, сел против председателя и стал разглаживать черную, как сажа, бороду с белой проседью посередине. Распахнул тяжелую, добротную шубу, которую давно не нашивал, помолчал минут пять, как того требовало приличие, и спросил:

— Как насчет вызова, Алексей Петрович?

Меркурьев ответил:

— На тебя нет еще вызова, Иван Филиппович.

— Нет, говоришь, вызова? Должно быть, думают, что стар стал, не годен. А я еще лучше молодого вижу, если ты хочешь знать. Понимаешь, каждую ночь во сне штурвал вижу. Почему на пароход не посылаешь? Нахвастали вы со своей властью, а что она мне дала?

— Ты сейчас стал гражданином, Иван Филиппович, — с улыбкой ответил Чирков.

— Гражданином? Я и без тебя личный почетный гражданин.

Дядя вытащил из кармана старый кожаный бумажник и разложил перед Меркурьевым бумагу с золотым двуглавым орлом. Я и раньше видел эту бумагу, но из любопытства подошел к столу. Дядя грубо отстранил меня:

— Кыш! Отойти в сторонку.

На бумаге было написано, что Ховрин Иван Филиппович за долголетнюю службу в пароходстве «Иван Любимов и К^о» удостоен звания личного почетного гражданина.

— Еще что ты за свою службу получил? — спросил Чирков.

— Часы серебряные «Павел Буре»... — Почувствовав, однако, что его отвлекают в другую-сторону, дядя поставил вопрос ребром: — Посылаете меня на пароход или нет?

Еле успокоили старика, пообещав ему еще раз телеграфировать в рупвод, чтобы вызвали лоцмана Ховрина на службу.

Дядя простился с ними, а мне сказал:

— Выйдем, племянничек.

Вышли. Старик сел на скамейку. Я тоже хотел сесть, но он заявил:

— Я посижу, а ты постой!.. Ты все еще с каторжником живешь?

— С каким каторжником?

— С Андрюшкой Заплатным... Правду бабы говорят, что у вас на мельнице, как при Иване Грозном, людей пытаются?

Дядя говорил со всей серьезностью, а меня давил смех.

— Не смейся! Говорят, в партию записался?

— Записался, — подтвердил я.

— Отца, мать не спросил?

— Как спросишь, когда они на Амуре? Да и сам я не маленький.

— Напрасно связался ты с арестантами. А вдруг власть перевернется? Смотри, парень, тогда тебя тоже по головке не погладят. Погляди на Меркурьева. Ведь это прямой атаман-разбойник. Он со мной начинал бурлачить еще в Сибири, потом капитанил, а все-таки он перевертень. Один хороший человек у вас — Чирков Михаил Андреевич.

— А чем он хорош?

— Порода богатая, не ваш брат — гольтьба. Его отец на Печоре рыбой торговал, зырян обделывал.

Я, насторожившись, переспросил:

— Зырян обделывал? Не может быть.

— Не веришь? Я ведь тоже на Печоре бурлачил. Три навигации... Ты сядь-ко. Я что хочу спросить... Только своим дружкам не сказывай.

Понятно, что я сел рядышком с дядей и с любопытством стал его слушать.

— Говорят, большевики собираются хлеб от мужиков отбирать, чтобы всех подравнять под одну «ерошку», нищетрясами сделать. Верно?

— Не знаю, — уклончиво ответил я. — А кто говорит?

— От Андрея Гавриловича слышал мельком. Знаешь его, из нашей деревни, быками торгует.

— Что еще он говорит?

— Говорит, что и у меня отберут хлебушко. Ни зернышка, говорит, не оставят.

— А у тебя, дядя, много, что ли, хлеба в запасе?

— Пудовок пять есть зерна. Помнишь, осенью я Серка променял Степке Корме. Как пошла ваша катавасия, лошадь нечем стало кормить, да и сами-то с теткой Александрой хоть зубы на полку. Я и променял Серка на зерно, чтобы с голоду не умереть.

— Никто у тебя ничего не будет отбирать, дядя. Тебе самому дадут хлеба, — попытался успокоить я дядю Ивана.

— Я и то говорю, какой у меня хлеб. У Андрея Гавриловича, действительно, хлебушка хоть отбавляй. Не меньше тыщи пудов нагрузил. Услыхал, что хлеб будут отбирать, взял и запрятал его в болоте, знаешь, куда девки за смородиной ходят, ну, там, где у него зароды. А клади хлебные, что в полях, керосином, говорит, оболью и сожгу, чтобы ни одного колоска «товарищам» не осталось. Умная голова Андрей Гаврилович! В нашей деревне во дворах ямы копают. Придут с обыском, а хлеба нет. Богатые мужики хитры, Сашка. Не наш брат. Их не проведешь.

— Кто же это ямы копает? Что-то не верится.

— Спиридон, Корма, Матюга Редька, все самостоятельные мужики... Тьфу ты, бес! Не надо бы сказывать-то, — спохватился дядя. — Смотри, никому ни гу-гу.

— Нет! Никому не скажу, дядя.

— То-то... А вот еще говорят, скоро бабы будут общие, да я этому не совсем верю. Сам подумай, отпустит ли от себя жену Алексей Меркурьев? Привалило же чертушке счастье. Сам на медведя похож, а жена первая красавица. Попробуй ее забуксировать, Меркурьев голову оторвет!

— А о бабах кто говорит?

— Чего пристаешь? Кто да кто! Все говорят. Антихристы.

— Наверное, анархисты? — поправил я.

— Леший их разберет. Анархисты ли, брандахлысты ли. Все это, парень, ваша шайка-лейка... Ладно уж. Прощай. Мне пора ехать. Дожил, на соседском коне езджу. На масленой приезжай в гости вместе с Меркурьевым. Хотя он и разбойник, да, видишь ли, мы вместе с ним в Сибири бурлачили. Счастливо оставаться.

— Посидел бы, дядя, со мной... Давно ведь не виделись.

Старик подумал немного, потом решительно встал.

— Нет. Шибко недосуг. Тетка Александра ждет. Поди уж шаньги напекла, а я с тобой балясничая.

Разговор с дядей я передал Панину. Мы, в том числе Пирогов и Ефимов, собрались у Меркурьева.

— Предатель затесался в нашу семью, — прямо заявил Ефимов, прослушав мой рассказ. — Все, что мы думаем сделать, передается кулакам. Мы только на днях говорили о конфискации хлеба у кулаков, помните? А сегодня уже по всей волости об этом известно. Тогда только одни партийцы были.

— Значит, кто-то из нас болтает на руку врагам? — жестко спросил Панин.

— А ты говори прямо! — возмутился Меркурьев. — Болтает, а кто именно? За такие шутки «дырки делают».

Панин, пропустив мимо ушей замечание Меркурьева, спросил:

— Ты знаешь, кто такой Чирков?

— Не знаю. Он до моего приезда был у вас начальником милиции. Партийный. Должность свою исполняет хорошо... Ты, Андрей, уж не его ли подозреваешь?

— Тебя, что ли, подозревать? — ответил Панин. — Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит.

— Красную речную пехоту надо сегодня же ночью пустить в дело, — предложил Пирогов. — Сделаем у кулаков повальный обыск, а то они так спрячут зерно, что и в три года не найдешь.

Ночью отряд Красной гвардии окружил хоромы кулака Малинина. Панин постучал в дверь. В нижнем этаже блеснул огонек, показался он в одном окне, в другом, в

третьем, — кто-то шел со свечкой. Раздались шаги по крытому крыльцу, встревоженный голос:

— Кто там?

— Это я, Ивановна! Панин. Дома хозяин?

— Нетути. Третьего дня в город уехал.

— Эка жалость, — с притворным огорчением сказал Панин. — Я по пути хотел сказать, что на мельнице сегодня не так завозно... Да ты открой. Через двери-то говорить с тобой как-то не тово, Ивановна.

Застучал засов, и дверь отворилась. В сени один за другим нырнули наши ребята.

Ивановна выронила подсвечник с горячей свечой. Стало темно, как в погребе.

— Андрей Иванович! Что это, голубчик мой? Какие люди?

— Свои, Ивановна, — невозмутимо ответил Панин. — Догадываешься, поди, за чем пришли?

— Разбойники! Чужим хлебушком хотите попользоваться, когда своего нету, — запричитала старуха.

— Хорошо, коли догадалась. Показывай свои «элеваторы!» — приказал Панин.

Мы перерыли все амбары, подполье, сеновал — нигде ни зернышка, хоть шаром покати. Ивановна предупредительно открывала сундуки и кладовки и подшучивала над Паниным:

— На вышке поройся да под печкой.

— Где же зерно у вас?

— Гаврилыч все зерно в город свез. Отберут, говорят, ни за грош, ни за копейку.

После безрезультатного обыска все собрались в горнице. Панин с усмешкой поглядел на Ивановну и сказал:

— Ну и хитрая ты, старуха. Одевайся!

— Куда, на ночь глядя?

— Хлеб искать! Живо!

— Очумел, что ли?

Панин не выдержал и крикнул:

— Оболокайся, ведьма! Не то... — и он поднес к носу Ивановны наган.

С частью отряда в сопровождении Ивановны Панин отправился на болото к санным зародам. Остальные, под командой Пирогова, остались настороже возле дома. Менья поставили на пост в огороде, у конюшен. Я ходил взад и вперед и считал шаги.

Вдруг за деревней появилось светлое пятно; все шире и шире; взметнулся сноп огня, и повалили белые клубы дыма. В деревне замелькали огоньки, крестьяне стали выбегать на улицу; в Строганове, заметив зарево, ударили в набат.

Под горой раздались выстрелы. Кто-то стучал в окна изб, кто-то кричал:

— Большевики хлеб поджигают!

К нам приближалась разъяренная толпа.

Вперед выбежал человек в нагольном полушубке и истошным голосом завопил:

— Поджигатели!

Трещали огороды. Люди ломали жерди, выворачивали колья. Мы не успели опомниться, как нас сбили с ног и обезоружили. Кто-то больно ударил меня в живот.

Мужики беспорядочно галдели:

— Чего на них глядеть? В огонь поджигателей!

В толпу ворвался дядя Иван Ховрин и стал заступаться за меня:

— Что вы делаете? Сашка ни в чем не виноват. Я знаю, кто поджег...

— А! Большевистский аблакат. Получай! — крикнул человек в нагольном полушубке и ударил старика дубиной по голове.

За деревней, в другой стороне, вспыхнул новый пожар.

Нас поволокли к пожарищу. Взяли Захара, подняли, раскачали и бросили в огонь. Я от страха закрыл глаза.

По освещенной пожаром дороге бежал мужик и кричал:

— Стойте! Поджигателя поймали!

Следом группа людей тащила какого-то человека. Толпа остановилась в замешательстве. Захара оттащили от огня. В это время возвратился Панин с отрядом. Я смутно помню, как с открытыми головами, с повинной, стояли крестьяне перед Паниным. Незнакомых людей, которые затеяли это преступное дело, среди народа не было. На снегу лежал связанный поджигатель. Это был кулак Малинин.

После этого случая наш красногвардейский отряд стал ежедневно пополняться. Приходили к Пирогову и бедняки, совсем не умеющие держать в руках винтовку, и матросы, фронтовики.

Мы прочесали всю волость. Все излишки хлеба у кулаков были изъяты. Те, кто сопротивлялся, нашли место за сельским кладбищем. «Такую падину, — говорил Панин, — нельзя хоронить вместе с умершими людьми».

Дело о поджоге хлеба двигалось медленно. Мужики, задержавшие в ту памятную ночь Малинина, сперва говорили, что поймали его у хлебной кладки со спичками в руках, потом стали клятвенно уверять, что он мирно шел по дороге, что схватили его по ошибке, а поджигал хлеб, должно быть, кто-то другой.

Главный свидетель, дядя Иван, долгое время пролежал в больнице в селе Никольском и все еще не был допрошен. Ивановна, освобожденная Чирковым из-под ареста, носила своему муженьку шаньги.

Наконец, дядя Иван Ховрин выписался из больницы, и его вызвали к нам в Строганово в штаб отряда.

— Сейчас приведут Гаврилыча, я буду спрашивать, а ты все записывай, — предупредил меня Панин.

Кулак — пожилой, но еще здоровый, широколицый мужик — вошел с развязным видом, шагнул к столу и поздоровался как ни в чем не бывало.

— Доброго здоровья, Андрей Иванович! Вот, спасибо, выручил, а я-то думал, что придется век вековать в каталажке. Я тебе как-то тоже удружу, Андрей Иванович.

Панин, не подавая ему руки, показал на стул:

— Садись! Поговорим.

— О чем толковать-то? Я Михайле Чиркову все показания дал... Господи! Какой я поджигатель собственного хлеба? Мы не «бритыши», мы старой веры, у нас даже крошки хлебные бросать нельзя. Большим грехом считается. А тут такие кладухи спалить! Меня бы самого громом спалило, если бы я только подумал о таком деле.

— Так, — сказал Панин и спросил: — Что в городе новенького?

— Не знаю. С лета в городе не бывал.

Вызвали Ивановну.

— Расскажи, зачем Гаврилыч в город ездил?

— Никуда я не ездил. Врет баба!

— Как вру? Сам говорил, что в городе, если спросит кто.

— Мало ли что я говорил, — пробурчал Гаврилыч. — Вот дура баба.

— Ладно. Выйди, Ивановна... Для чего хлеб в болоте запрятал?

— От воров, Андрей Иванович! От разбойников. Сам знаешь, какое время. Хотел для Советской власти сохранить.

Панин постучал по столу. В комнату заглянул красногвардеец. Панин сделал знак рукой, и тот пропустил в дверь дядю Ивана Ховрина.

Старик после больницы похудел, в бороде появилась новая прядь седых волос.

— Здорово, Андрей Иванович, здравствуй, племянничек, — поздоровался он с нами.

Малинин встал и протянул дяде руку:

— Мое почтение, сватушко! Как здоровьишко?

— Твоими молитвами.

— Товарищ Ховрин, расскажи, о чем вы говорили с ним накануне пожара? Что он тебе говорил? — попросил Панин.

— Советовал зерно прятать, а скирды сжечь, чтобы большевикам не доставалось...

Кулак скорчился на стуле, как прибитый. Дрожащим голосом он с трудом проговорил:

— Ох, сват, сват! А еще гостились раньше...

— Гостились, да отгостились! — заявил дядя. — Нас с племянником чуть до смерти не убили из-за тебя, а Захар в больнице при смерти лежит. Все из-за твоего брюха.

— Понапраслина! — завизжал Малинин.

— Не ври ты при людях-то. И не сват ты мне больше, а худой человек! Душегуб! Поджигатель! — в свою очередь возмутился дядя.

Кулака отправили в губчека, где его судил ревтрибунал и приговорил к расстрелу. Ивановну вывезли на границу волости, имущество конфисковали, в дом вселили несколько семей бездомных бурлаков.

3

В ясный лунный вечер я стоял на высоком берегу Камы и глядел, как ребята делали к масленице катушку. Одни очищали место для раската, другие косой-горбушей вырезывали из слежавшегося снега кирпичи для стенок голована, третьи подвозили на лошади снег,

долбили проруби. У ребят было очень весело: играла гармонь, раздавались песни.

И меня потянуло на катушку. Я стал спускаться под берег к ребятам. Ко мне подбежал Сергей Ушаков, мой школьный товарищ.

— Кого я вижу! Сам не рад! — Он обеими руками захватил мою правую руку и стал трясти. — Ведь это Сашка Ховрин из Балдина...

Кто-то сунул мне в руки лопату и предложил:

— Давай потрудишься, а то на масленице, честное слово, не пустим кататься.

Ватага с шутками увлекла меня на голован. Одна из девушек неожиданно подставила мне ножку, я упал, меня мигом закидали снегом. Пока вылезал из-под него, девушка со смехом убежала.

Сделали голован и решили покататься. Распрягли лошадь, розвальни втащили на голован. Навалились на них «куча-мала», оттолкнулись и понеслись. Дух захватывало! Домчались до середины Камы. Ребята, сидевшие на задке саней, правили железными лопатами и пустили розвальни в сторону, в большой сугроб рыхлого снега. Розвальни перевернулись. Кто шапку потерял, кто рукавицы. У меня за воротник набился снег. По спине потекли холодные струйки.

С криком и смехом мы повезли розвальни обратно. Зелеными огоньками сверкал под луною чистый лед. Над полыньями клубился цветистый туман. Было хорошо и весело.

На пожарной каланче пробило двенадцать часов. Большой гурьбою, с гармонистом впереди, мы пошли по самой большой улице села с «прохожими» частушками. Под руку со мной шла девушка, та, что толкнула меня в снег. Как колокольчик, звенел ее чистый голос, белели ровные зубы. Волосы, выбившиеся из-под шапки, и большие ресницы подернулись куржевиной.

На росстанях молодежь стала прощаться и расходиться по домам. Девушка пожала мне руку и сказала на прощанье:

— Я — Фина Суханова. Будем друзьями? — и убежала.

Я пришел домой мокрый и веселый. Варвара, глядя на меня, расхохоталась.

— Весь в снегу! Даже глаз не видно. Где ты был?

— Катушку на Каме делал с ребятами. На масле тебе первую прокачу.

— Забыл, как самого когда-то в Королевой прокатали! — напомнил Панин.

Наскоро выпив кружку чаю, я забрался на полати. Долго не шел ко мне сон. Как наяву, маячила передо мной Фина Суханова. Потом все расплылось и исчезло.

На следующий день я сидел в комнате партийной ячейки и переписывал протокол последнего собрания. Писал лениво, часто поглядывал на часы, — скоро ли вечер? А чаще — не писал, а думал. О чем? Сам не знаю.

— Ты скоро кончишь? — спросил Ефимов. — Не выспался, что ли?

— Выспался. Только если бы не разбудили, все бы еще спал, — признался я.

— Где вчера был?

— С ребятами катушку делал.

— Сегодня опять пойдешь?

Я промолчал.

— Хорошо! Складывай папку. Я сам все сделаю.

Уж не обидел ли я Павла Ивановича? Нет! Глядит на меня и улыбается.

— Вот что, братишка! Бегай, играй с ребятами, на вечерки ходи, одним словом, гуляй напропалую. Заведи себе друзей, влюбись в девушку, только в хорошую...

Я бегом выбежал на улицу.

На заборе около кооперативной лавки, где всегда бывает много народу, висела большая, ярко раскрашенная афиша:

В воскресенье,
в помещении школы
силами артистов-любителей будет поставлен водевиль
„Счастливого рогоносца“.

После спектакля
игры и американские танцы с призами.

Режиссер П. С. Романов
Распорядитель К. Н. Барышников

У смешной афиши толпилась молодежь. Ребята с хохотом читали ее. Покрикивали:

— Сам-то Романов — счастливый рогоносец.

— Ну и придумали — американские танцы!

Тут же стояла Fiна Суханова. Я подошел к ней и поздоровался.

— Смотрите, какое безобразие, — возмущалась Fiна. — Играют в школе глупые водевили. И кому они сейчас нужны? Только сельскую молодежь развращают. Надо самим поставить спектакль. Хороший. Например, Островского. Вы, Саша, знаете Островского?

— Знаю, — ответил я. — В школе еще когда учился, мы играли «Бедность не порок». Я Егорушку играл.

— Поддержите меня, если я посоветую ребятам самим поставить пьесу...

Когда мы веселой гурьбой пришли на катушку, Fiна предложила:

— Давайте, товарищи, поставим на масленице спектакль!

— Не смехи! — зашумели парни. — Какие из нас артисты?

— Опять же, где девок взять?

— Наши на сцене ни за что не будут целоваться, а без этого какой же театр!

Поддержал нас Сергей Ушаков.

— В самом деле. Поставим комедию не хуже поповских интеллигентов, — сказал он.

— Почему поповских? — поинтересовался я.

— Офицер Романов — сын попа, а Барышников в церкви с хором орудует. Пусть у себя в церкви и устраивают балаган, а не в школе.

Целую неделю у нас шли разговоры и споры. Но все-таки нашей тройке — мне, Fiне и Сергею Ушакову — удалось уговорить ребят и девушек поставить свой спектакль.

Пьесу выбрали, по неопытности, трудную — «Лес» Островского. Но Fiна уговорила принять участие в постановке учителей. Начались репетиции. Подошел вечер спектакля. Все мы страшно волновались. Во время игры не слушали суфлера, путались, но сыграли удачно. Довольны были и зрители и особенно сами исполнители.

После вечера, разгримировавшись, мы веселой гурьбой отправились на катушку. Несмотря на поздний час, было много народу. Ярко пылали смоляные факелы. На середине раската были заморожены кремневые гальки. В этом месте от стальных полозьев сыпались разноцветные искры.

Брошенная Финой Сухановой в день первой встречи фраза «Будем друзьями» сбылась, как сказка наяву. Мы очень сдружились с ней во время репетиций. Иногда бывал я у нее. Мы вместе перечитали много хороших книг. Особенно нравились мне сочинения Горького.

Все это я вспомнил после спектакля на катушке. Как незаметно и как скоро прошли хорошие вечера!

— Ты о чем? — вывела меня из задумчивости Фина.

Я ответил по-детски:

— А так...

После масленицы Ефимов решил собрать в школе учителей.

А Панин ворчал:

— Чего с ними возиться? Я бы их всех выгнал из волости.

— Кто же будет учить ребят? — возражал я Панину.

— Знаю я. Слышал, что ученых людей надо на свою сторону перетягивать... но до смерти ненавижу.

На собрание, кроме учителей, явились и «добровольцы»: Романов, царский поручик Охлупин, Барышников из церковного хора — всё старая сельская интеллигенция.

Среди учителей выделялся учитель рисования Кобелев, полный, пожилой человек с пушистыми седыми усами.

Кобелев приехал в нашу волость поздней осенью семнадцатого года, когда Меркурьев только что отремонтировал помещение для исполкома, и отрекомендовался Меркурьеву гражданским инженером из Петрограда.

— Хотел погостить у знакомых, — объяснил Кобелев, — отдохнуть и...

— Переждать революцию, — досказал Меркурьев.

Гражданский инженер не смутился.

— Вот именно. Я не молод, в революциях ничего не смыслю. Мое дело — строить... Знаете капитана Куделина? Я к нему приехал...

Меркурьев Куделина знал. Это был один из тех немногих, кто не отказался продолжать службу на речном транспорте.

— Хозяина дома не оказалось, — говорил Кобелев. — С таким трудом добрался сюда из Петрограда, что ехать обратно пока не решаюсь. Хочу пожить у вас. Предлагаю свои услуги.

— Документы в порядке? — спросил Меркурьев.

Кобелев вручил председателю целую пачку бумаг.

Тот посмотрел, возвратил бумаги и сказал:

— Ничего не придумаю, товарищ Кобелев. Как-нибудь сами устраивайтесь.

Кобелев извинился за беспокойство и ушел, но через неделю опять появился в исполкоме и показал Меркурьеву приказ уездного отдела народного образования о назначении его учителем рисования в строгановскую школу «с использованием в свободное время и в других школах волости», — так было приписано в приказе.

Начался разговор.

— У нас просьба к вам большая, товарищи, — говорил Ефимов. — Мы, когда бываем в деревнях, объясняем крестьянам политику Советской власти, читаем газеты, беседуем о декретах. Но этого недостаточно. Много у нас еще темноты осталось от царского строя. Учителство должно помогать нам бороться с этим. Вот о вреде религии надо им доклады читать. У нас в отдаленных деревнях, сами знаете, орудут красноверцы. Главный их наставник никольский купец и кулак Рукавичкин сулит своим единоверцам рай на том свете, а сам себе рай при жизни устроил.

— А если кто не желает помогать вашей власти? Силой заставите? — слышался чей-то голос.

Ефимов ответил спокойно:

— Зачем же заставлять силой? Мы с такими не церемонимся. Кто не с нами, тот против нас.

— Кто это говорит? — спросил я. — Пусть покажется.

С задней парты поднялся прапорщик Романов.

— Я говорю. И утверждаю, что русской интеллигенции, учителству с вами не по пути.

Многие возмутились выходкой Романова.

— Он не имеет права говорить от имени учителей. Он клеветает на учителей, — заявила Фина Суханова. — Если господин Романов не считает Советскую власть своей властью, его дело. Но зачем же на нас клеветать? Мы, преподаватели строгановской школы, согласны с вашим предложением, Павел Иванович. Сама я готова поехать в какую угодно деревню. Пошлите в Боровскую десятню... Завтра же поеду...

Романов еще что-то пытался сказать, но Охлупин, сидевший с ним рядом, дернул своего приятеля за рукав и прошипел:

— Высунулись не вовремя. Молчите. А лучше уходите отсюда.

Романов, по-военному стуча каблуками, вышел из класса. Охлупин, озираясь по сторонам, встретился взглядом со мной и понял, что я слышал их разговор. На лице у него появилась деланная улыбка, он сказал:

— Ведет себя, как мальчишка. Пусть остынет на морозе...

Фина продолжала горячо говорить:

— Надо признать, что мы совсем не бываем среди населения. В школе учим ребят одному, а они слышат от родителей другое. Не обижайтесь на меня, Аристарх Владимирович, — она повернулась к Кобелеву, — вы часто бываете в деревенских школах, а провели хоть одну беседу с крестьянами?

— Простите, Фаина Ивановна, — возразил Кобелев. — Но о чем я буду говорить с мужичками? Об истории искусства? Об архитектуре? Не пойму. Подскажите.

— Подскажу. Научите их печные трубы класть, чтобы черных изб не было. И в этом будет большая польза... Вы — инженер. Беседуйте о технике... А придет время, так наши крестьяне потребуют лекции и по истории искусства, товарищи.

Через несколько дней, в воскресенье, от волостного исполкома разъезжались дежурные подводы — учителя строгановской школы отправлялись по деревням с первыми своими докладами и беседами. Мы с Финой поехали в Боровскую десятню.

Быстро промелькнули постройки села. Дорога завела нас в лес. Иногда в просветы между деревьями открывались широкие прикамские дали. Вот далеко на горизонте дышит завод, на склоне лесного холма раскинулся поселок.

Перевалив несколько холмов, мы въехали в глухой лес. Столетние ели сплетались вершинами, не пропуская лучи солнца. Дорога была плохо наезжена, крестьянская лошадка до лодыжек тонула в снегу. Дремал на передке саней наш возница, подремывали и мы с Финой.

Через три часа езды показался занесенный снегом плетень, дорога стала глаже, и мы въехали в лесную деревню.

Подъехали к школе. У входа толпился народ. Поздоровавшись с крестьянами, я спросил:

— Собрание, что ли, в школе?

— Хуже, — ответили мне. — Какой-то оратор, слышь, из города приехал. Всех в школу загоняют.

— Кто-то, значит, нас предупредил, — сказала Фина, вылезая из саней.

К нам вышла учительница и провела в свою квартиру.

— Грейтесь пока, — сказала она. — А я пойду в класс.

— Кто к вам приехал? Откуда?

— Из Никольского проездом, а сам из города... Говорит очень странно...

Мы разделись, немножко погрели руки у железной печки и отправились в класс.

На детских партах сидело здесь человек тридцать местных крестьян. За столом, важно развалившись на стуле, восседал приезжий.

Он, по-видимому, уже окончил доклад и отвечал на вопросы.

— Свобода печати — это когда каждый гражданин имеет право печатать газету и писать в нее, что захочет, как, например, в Англии.

Постоянно встречаясь с Паниным и Ефимовым, читая газеты, я во многом начал уже разбираться. Конечно, не обходилось дело и без помощи Фины.

Слова докладчика заставили меня насторожиться. И я спросил:

— А если контрреволюционер захочет напечатать статью против Советской власти?

— Имеет полное право. На то и свобода печати.

— У нас, значит, по-вашему, нет свободы печати? — спросила Фина.

— Нет! Потому что Центральный Комитет партии большевиков ведет в этом вопросе неправильную политику. Что касается свободы слова, то каждый гражданин в свободном государстве может говорить все и везде, что только он пожелает, и мешать ему в этом никто не имеет права.

«А тебе я помешаю», — подумал я и предложил сделать перерыв. Я понимал, что засидевшиеся слушатели меня поддержат. Так и получилось.

— Правильно. Покурить бы. Битый час сидим.

— А не разойдетесь по домам? — спохватился проезжий.

— Нет! Все-таки занятно послушать.

Мужики вышли в коридор и на школьное крылечко. А мы вслед за проезжим прошли к учительнице.

— Ваши документы! — потребовал я.

— Какое вы на это право имеете? — заносчиво ответил проезжий.

— Я красногвардеец.

— А откуда это видно?

Человек явно тянул волынку, и мне пришлось отстегнуть наган.

— Что вы, товарищ! Я пошутил.

Мандат у этого человека был в полном порядке и самый серьезный — от губернского комитета партии.

Это был посланный из Москвы в нашу губернию известный впоследствии оппозиционер, противник политики нашей партии.

Губком послал его по деревням с докладами о религии, как было написано в мандате, вручив таким образом оружие в руки врага.

Пришлось его арестовать и везти в Строганово. Первая наша беседа с крестьянами Боровской десяти не состоялась.

Продержали мы «докладчика» дней десять под арестом и только после настойчивых требований губернского начальства отправили в город.

«Ведь до чего же, — думал я, — был прав Ефимов, который предложил учителям беседовать с населением и нам чаще бывать в деревнях. Кто знает, какие проезжие агитаторы бывают в отдаленных местах волости».

ЗЕМЛЯ-МАТУШКА

I

Михаил Васильевич Пирогов, наш красногвардейский командир, он же заведующий земельным отделом, дни и ночи сидел за подготовкой перемера и распределения земли. Дело это было очень кропотливое. Надо было проверить планы земельных угодий, вычерченные еще при царе Горохе, сверить их с поземельными книгами каждой деревни, тоже старыми и донельзя запутанными. Пришлось составлять новые книги и выезжать для этого на поля. Бедняки помогали выяснять истинное положение дел. У кулаков оказались сотни десятин скрытой пашни. Они не платили никаких податей и налогов.

Начали прибывать дни. Появились перелетные птицы. С крыш закапало. В кузнице спешно ремонтировали мерные цепи, клеймили новые межевые столбы. Опустело Строганово и бурлацкие поселки. Речники разъехались на пароходы. Получил назначение дядя Иван. И нас с Паниным снова потянуло на Каму.

Каждый раз, когда в исполком привозили почту, мы нетерпеливо перебирали конверты и пакеты, не попадет ли, наконец, письмо из рупвода с вызовом нас в затон. Но таких писем не было. Вместо этого меня и Панина вызвали в Никольское в Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности и назначили на работу в нашу волюсть, «навечно высадили на сухой берег», как выразился Панин. Он злился на весь свет, а во сне кричал: «Есть, самый полный!»

А про себя мне и говорить нечего. В свободное время я часами простаивал на берегу Камы. Любовался, как весенние ручьи миллионами мутных струй сбегают в реку, как на глазах ширится она, отрывая лед у берегов и поднимая его на свою могучую грудь. Казалось, стоит только жуке ударить хвостом по ноздреватому, изъеденному солнцем ледяному покрову, и он рассыплется на множество мелких льдинок, понесется по быстрым волнам в низовья. Я закрывал глаза. Мне чудились радостные весенние свистки пароходов, бурлящий шум оранжевых плиц, крики наметчиков, клекот парового штурвала.

Я заметил, что не одни мы с Паниным тоскуем о реке. Даже Меркурьев нет-нет да и выйдет на бережок, постоит, поговорит что-то сам с собою и медленно плетется обратно.

Все теплей и теплей стало греть весеннее солнце. На высоких местах появились проталины. На лесных полянках по утрам затоковали глухари, запел песню серокрылый жаворонок.

Можно было выборочно начать весенний сев. Пирогов решил сделать первый выезд для перемера полей. Поехали троим: Пирогов, матрос Бородин и я. По размытой весенними ручьями дороге мы добрались до самой отдаленной деревни Бесштанной.

Нас уже ожидали. На краю встретили вездесущие ребяташки:

— Землемеры приехали!

В деревне было четырнадцать крытых соломой крытых избушек. Все «черные», без труб.

Как барское поместье, выделялась в деревне усадьба богача Зобина. Двухэтажный, обшитый тесом дом с железной крышей. Под окнами палисадник. Много пристроек, конюшен, амбаров. На воротах массивное медное кольцо. Зобин держал пять лошадей. Больше половины земли в деревне принадлежало ему.

Родился Зобин в бедной семье, вышел в люди из матросов, очень любил при новой власти козырять своим происхождением.

В молодости, получив жалованье в Верхокамье, Зобин на все деньги купил зерна, украл баржевую лодку-завозню, сплавил груз в Усолье и продал его там втридорога. На другой год у него уже была своя крытая бар-

жа, а через несколько лет оборотистый мужик имел собственный пароход, приобрел акции крупной пароходной компании.

Сорокалетним здоровенным мужиком заявился Зобин в свою деревню и обзавелся хозяйством. Забравши в свои руки пустоши, оттянув у бедноты половину полей и лугов, он сел на шею своих земляков полновластным помещиком.

В сопровождении всей деревни мы отправились на поля. Самый бедный мужик в деревне Максим Черноус вел за собой всю свою многочисленную семью: стариков и жену с пятью ребятишками. Крестьяне несли белые колышки, межевые столбы.

Передел ярового клина начали с дальнего конца, от лога, где земля уже поспела для пахоты.

Пирогов развернул план. Ребята потянули мерную цепь, и началось небывалое, долгожданное наделение пашней деревенской бедноты. Наяву сбывалась вековая мечта пахаря о своем клочке земли.

Крестьяне, сняв шапки, молча наблюдали за нашей работой. Многие женщины вытирали слезы.

Бородин с конца поля, махнув фуражкой, прокричал: — Готово, товарищ Пирогов!

Пирогов провел на плане первую красную черту и написал фамилию нового, настоящего хозяина поля.

— Принимай землю, товарищ Черноус!

— Как это?.. — растерянно проговорил Черноус. — Ребятишки! Неужели правда? Вот спасибо-то.

— Не за что, — ответил Пирогов. — Ты всю жизнь эту пашню обрабатывал для Зобина. Теперь будешь для себя работать.

— Неужели всю палестину мне?

— Тебе. Кроме того, в парú получишь столько же, да столько же по озими. Всего четыре десятины будешь иметь, товарищ Черноус.

— Кланяйтесь товарищам! Чего глаза выпучили? — крикнул Черноус на свою семейку.

— Не нам надо кланяться, товарищ Черноус, — сказал Пирогов. — Советской власти кланяйтесь.

Максим Черноус встал на колени и поцеловал землю.

Участок за участком мужики принимали поля. Черноус и его соседи уже начали пахать, когда из леса выехало пятеро верховых. Двигались они шагом по опушке

в сторону пахарей, а сажены за двадцать пришпорили лошадей и с гиком налетели на крестьян. Засвистели плети. Раздались вопли, крики о помощи. Мимо нас проскакала взбесившаяся лошадь, за ней тащилась сломанная соха. Мы с Бородиным побежали на место свалки. Двое верховых на полном скаку бросились на нас.

— Не трусь, Сашка! — крикнул Бородин. — Из-за деревьев нас не достать. Стреляй в упор из-за елки!

Подпустив одного на близкое расстояние, я выстрелом из нагана выбил его из седла. Бородин снял другого. От деревни бежал уже народ, впереди Пирогов. Остальные бандиты, заметив подмогу нам, ускакали в лес.

Те, которых мы сняли с лошадей, были еще живы. В одном мужики признали кулака Зобина.

Снова в поле появились пахары. У многих за плечами были охотничьи ружья...

Одного мужика на трофейном коне послали в село к Панину.

Панин приехал с отрядом. Он часа два просидел в бане с арестованными. Потом велел погрузить их на подводу и повез в Строганово.

Один из раненых по дороге умер. Панин велел столкнуть его с телеги в придорожную канаву. На пути в следующей деревне он сказал мужикам:

— Там на дороге падина валяется. Надо закопать. — А Зобину, который лежал в телеге ни жив ни мертв, заявил:

— Запомни! С тобой тоже будет так. И со всеми, кто идет против народа. Собакам — собачья смерть, собачьи похороны!..

2

По Каме плыли последние льдины. Мы с Финой стояли на берегу в ожидании первого парохода.

Вот вдали, за речной косой, на фоне темного леса, показался белый кудрявый дымок... Ближе и ближе... Освещенный ярким солнцем, сверкая зеркальными стеклами окон, выплыл красавец пароход с красным флагом на мачте.

— Первый в навигацию! Как хорошо! — сказала Fiна.

На пристань потянулся народ. Женщины снимали с голов платки и на ходу махали речникам.

У нас с Паниным прибавилось работы. Красногвардейцы на пристани задерживали подозрительных людей, спекулянтов и дезертиров — всех, кто пытался выехать без пропуска в город.

В деревнях появились мешочники. Под окнами ходили стекольщики, паяльщики, шерстобиты. Среди пришедших людей немало было агитаторов против Советской власти. Поползли всякие нелепые слухи: о взятии немцами Петрограда, о помазании на царство брата Николая Романова — Михаила Александровича.

Из кержацких скитов повылезали зловещие старухи. С библиями старого письма доказывали они скорую гибель большевиков, приход антихриста, возврат всех богатств прежним хозяевам...

Недалеко от Строганова, на лесном высоком берегу реки, в небольшой избушке, жил Степан Ушаков. Был он участником японской войны. Начал служить младшим писарем в роте, а к концу войны добился высшего писарского звания — «чиновник военного времени». После войны года два прослужил на пароходе помощником капитана и... задурил. Роздал все свое имущество, кроме охотничьего ружья, соседям. Однажды оделся он в старую рваную одежду и опорки, захватил с собой ружье, боеприпасы и породистую собаку и ушел в лес.

Объявился Ушаков снова только перед революцией. Как-то в сенокос крестьяне, проезжая по Каме на дальние делянки, заметили на берегу новую избушку, которой раньше не было. У воды висели рыболовные снасти. На берегу был вбит высокий столб с доской, на которой крупными буквами выведено:

НА ХЛЕБ МЕНЯЮ УТОК И ГУСЕИ,
НА МАСЛО — ЩУК И КАРАСЕИ.

Крестьяне решили, что это «спасается» какой-нибудь старец божий. Подъехали ближе. Вдруг на пороге избушки появился в лохмотьях огромный, как медведь, обросший волосами человек. Страдовальщики с перепугу оттолкнулись от берега и что есть мочи стали грести на другой берег.

Это был Ушаков.

Его никогда не видели в Строганове. Все, что ему было необходимо, привозили крестьяне в обмен на рыбу и дичь. Хорошо грамотный, обладающий красивым почерком, Ушаков в своей избушке занимался и «аблакатством» — строчил прошения в суды и «на высочайшее имя».

И вдруг этот человек заявился к нам на мельницу.

Однажды в полночь, когда мы уже собирались спать, послышался неожиданный стук в окно.

— Кто там? — крикнул Панин.

— Степан Данилов Ушаков собственной персоной...

И перед нами предстал Ушаков. В коротком пальто с заплатами, подпоясан лыком, в лаптях. Через плечо холщовая сумка, в руках дорогое ружье с золотыми насечками.

— Мир честной беседе! — густым басом поздоровался с нами Ушаков. — Не ожидали такого гостя? Любопытный экземпляр?

Ушаков бережно поставил ружье к стенке. Засунув руку за пазуху, достал истрепанную книжонку и бросил на стол. Я взял ее и прочитал: «Протоколы сионских мудрецов». Передал Панину.

— Как она к тебе попала, эта контрреволюционная книжонка? — быстро спросил Панин.

— Дали переписать умные люди, а списки просили раздавать всем, кто ко мне заезжает.

— Переписал?

— Нет!

— Садись и рассказывай по порядку.

Ушаков осторожно, чтобы не раздавить, уселся на наш единственный венский стул и начал говорить:

— Займемся немного воспоминаниями. Когда-то в городе у пристани, где выгружают булыжник для мостовых, мне привелось полюбоваться на своего собственного двойника. Только тот человек был пьян, а я трезв, тот человек безобразничал, а я нет, того человека до такого состояния довела нужда, а меня гордость и глупость. Тот человек был тогда зимогором, а теперь стал настоящим человеком, а я точку свою потерял... и мне нет возврата... Имя тому человеку было...

Ушаков впился глазами в лицо Панина и с расстановкой проговорил:

— Андрей Заплатный.

Панин вздрогнул от неожиданности, но ничего не сказал, будто бы не о нем шла речь. Он несколько раз перелистнул книжонку и спросил:

— Кто это такие умные люди?

— Эсер Романов, кулак Корма, черносотенец Зобин. Последний, говорят, уже в узилище пребывает. Купить хотели за пуд муки... Да я непродажный... Ненавижу таких. Они жизнь мне испортили... — Ушаков встал с намерением уйти.

— Подожди, Ушаков, — сказал Панин. — Книжонку эту забери сам. Делай вид, что переписываешь. Может быть, они тебе еще что-нибудь поручать будут. К нам больше не ходи. Вот этот рыбак, — Панин показал на меня, — будет приезжать к тебе с удочками. Понятно? А как рыбка, Ушаков? Клев весенний начался?

— У кого клюет, у кого нет, — ответил Ушаков. — Хотя я не люблю людей обманывать, даже таких, которых ненавижу, но за компанию с вами порыбачить не отказываюсь...

Ушаков встал.

— Надо успеть на перелет на Долгие озера. И вам отдыхать пора. Будьте здоровы!

Панин подал ему руку.

— До свиданья, товарищ Ушаков. Ни пуха тебе ни пера.

3

Широко, от горы до горы, разлилась многоводная Кама, затопила Подгорную улицу. Бурлацкий увал оказался на берегу моря. Пароходы ходили по новому фарватеру. Дядя Иван, проходя мимо с баржонкой, зачалился за черемуху в своем огороде, сбросил трап на крылечко избы. Вот было смеху, когда тетка Александра передавала дяде шаньги прямо из окна!

В один из теплых воскресных дней молодежь решила устроить катанье на лодках. С утра водная гладь разлива расцветилась яркими платьями девчат, рубашками парней.

Издали казалось, что по воде плавают не лодки с народом, а букеты живых цветов.

Я взял Захарову душегубку — Захар все еще лежал в больнице — и подъехал к квартире Фины Сухановой.

Фина села в лодку и стала грести, а я править. Душегубка полетела стрелою. Все дальше и дальше, в гущу катающихся.

Вдруг Фина сильным всплеском весла, как из ведра, окатила меня водой. И я не остался в долгу.

— Ой, замерзаю! — запищала Фина и сняла с уключин весла. Продолжая дурачиться, мы подъехали к первой флотилии лодок.

Сцепившись бортами, наш веселый караван медленно плыл по течению к зеленому островку.

Взглянув на берег, чтобы определить, далеко ли мы отъехали от него, я заметил бегущих к воде людей. Двое бросились в лодку и помчались по реке. За ними вдогонку раздался выстрел, другой, третий. От берега отделилось еще несколько лодок. Около нас засвистели пули. Мы быстро расцепились и рассыпались в разные стороны.

Мимо промелькнула лодка с беглецами. Оба сидели в веслах, быстро и усиленно гребли. За ними гналась большая лодка. На носу стоял начальник милиции Чирков и беспрерывно пускал из нагана пулю за пулей по беглецам.

Фина сидела бледная, опустив весла. Спросила:

— Что это, Саша?

— Не знаю, — ответил я и начал грести к берегу.

Беглецам надо было держаться правее, так как влево была мель, они же, не зная этого, с маху налетели на мелкое место, застряли и попали в руки милиции.

На берегу я выскочил из лодки, забыв про Фину. Догнал толпу. Над арестованными издевались. Плевали в них, щипали, бросали в них грязью. Они еле ноги волочили. Чирков подгонял их ударами рукоятки нагана.

— Кто тебе дал право избивать арестованных? Ты не в полиции служишь!

— Не твое дело! — ответил мне Чирков. — Я знаю, как обращаться с ворами.

— Веди в исполком! — настаивал я. — Воры ответят по суду.

— Уведу на тот свет! Отвяжись. Я не вмешиваюсь в ваши дела, когда вы с Паниным людей уничтожаете...

Чирков кричал на всю улицу. Кто-то из хулиганов поддерживал его:

— Лучших мужиков губите. Гаврилыча расстреляли. А Зобин где? За воров заступаесть?

— Слышишь, что говорят? — зашипел Чирков. — Как бы и тебе не попало... Бандитов надо бить.

Я побежал искать Панина.

Самосуд был прекращен. И что же выяснилось?

Утром в исполком, где были только дежурные крестьяне, пришла расстроенная торговка Анна Григорьевна и завопила:

— Караул! Ограбили!

— Кого ограбили-то? Что украли? — спросили ее.

— Серебряный самовар украли. Подарок самого...

В это время под окнами показались двое прохожих.

— Вот они!

Торговка выскочила на улицу и с криком вцепилась в прохожих. Из исполкома вышли дежурные. Кто-то, не разобравшись, в чем дело, выдернул кол из огорода. Незнакомцы побежали, дежурные за ними. Кучка преследователей стала увеличиваться. Примкнул Чирков с двумя милиционерами. Началась погоня, которую мы видели на реке. Беглецы оказались рабочими Чермозского завода. Приехали в гости к родственникам, никакой Анны Григорьевны не знают и к ней не заходили.

Обнаружился злополучный самовар. Торговка сама спрятала его в погребе, «чтобы красногвардейцы не отобрали», и забыла, куда спрятала.

Чиркова вызвали к Панину.

— Воров, говоришь, поймали? — с угрожающим спокойствием спросил Панин.

— С кем ошибки не бывает, товарищ Панин.

Панин вскипел:

— Я тебе не товарищ! Сдавай оружие!

Чирков покорно отцепил наган и передал Панину.

— Разрешите идти?

— Подожди.

Панин сорвал с головы Чиркова фуражку, бросил ее в угол и со всего размаха залепил ему оплеуху.

4

Настали жаркие, безоблачные дни. Вода в Каме пошла на убыль. На лугах, удобренных жирным илом, бурно поднялись сочные травы. По вечерам в деревнях раз-

давался дробный стук молотков — это крестьяне отбивали косы.

В складе машинного товарищества кузнецы собирали и исправляли косилки.

Накануне страды провели сельский сход.

Пирогов рассказал, как распределили бывшие графские покосы, как земельный отдел подготовился к весенним работам.

— Ныне впервые на покосах бедноты появятся конные грабли и косилки. Машины будут даваться для работы за самую низкую плату.

Сенокосные угодья за Камой были неравноценные. На низких заливных местах росли богатые травы, а на высоких — «веретьях», как их называли, были одни сорняки да колючки. И вот, чтобы никого не обидеть, пришлось нарезать длинные и очень узкие полоски, шириной в три-четыре сажени.

Поэтому, когда Пирогов сообщил о машинах, раздалась вопросы:

— А куда ты завезешь двуконные-то косилки?

— Как куда? На луга.

— А как ты развернешься на узких-то полосках с машиной? Если Иван свою «ленточку» выкосит косилкой, так у Степана всю траву сомнет...

Пирогов стоял за столом и от смущения трепал свой ус.

— Не додумали... Что же нам делать, товарищи? — только и смог выговорить Пирогов.

— Обратно, что ли, отдать землю кулакам? — с улыбкой спросил Панин.

Поднялся шум.

— Тут дела всерьез, а ты шуточки шутить.

— Придется, верно, с горбушей спину ломать...

К сцене, где сидел президиум, подбежал Захар, только на днях вышедший из больницы. Вместо бороды, которую ему опалило на пожаре, вырос седой пух. Захар был до невозможности худой — кости да кожа.

— Я скажу, товарищи! — на ходу проговорил Захар. — Надо всем вместе, скопом выкосить травушку, а осенью разделить.

Раздались возгласы:

— А ведь правильно!

— Подвалим косилками всю палестину.

— Ай да Захар!..

Выход был найден. Объявили перерыв.

Люди высыпали в коридор. Окруженный слушателями, Захар горячо говорил, размахивая руками:

— Да! Сiju я, а рядом со мной учительница Суханова. Поглядел я на нее и вспомнил, ребята. Она еще зимой на собрании о товарище Ленине рассказывала, как товарищ Ленин Владимир Ильич о земле пишет в своих книгах. Мне как наяву показалось. Без коммуни ни шагу, ребята! Сам Ленин сказал.

Ранним утром, до солнышка, на Кама появились переполненные лодки. Обгоняя всех, на душегубке мчался Захар. Сторож, сплавщик на устье Обвы, крикнул с берега:

— Что за Ермаково войско?

Захар ответил:

— Едем коммунию поднимать! Не шути, брат!

Через реку тащился наш старый паром с косилками, граблями и прочим инвентарем. Пурпуром отливали на заре металлические части машин. Около косилок ходил гражданский инженер и объяснял их устройство.

На борту парома, свесив ноги, сидела Фина и напевала какую-то песенку. Я невольно вспомнил дни бурлачества. Прошло немного времени, и какая перемена! Правлю не хозяйским, а своим, нашим судном, плывем на свои луга. Наша Кама, наш лес, наши луга по берегам — все наше...

Повиснув на тяжелой навеси — руле, я перекинул ее на правую сторону и стал загребать влево. Паром плавно подошел к мосткам.

Мы быстро выгрузились. Ребятишки пригнали лошадей, впрягли их в машины. И застрекотали они, как гигантские кузнечики-кобылки.

Посыпались брызги росы. Мягко ложилась подкошенная трава. На меже стояли крестьяне, любуясь работой машин. Захар места себе не находил, суетливо бегал по кошенине и радовался:

— Как пластают! Как пластают! Как бритвой бреют!

К вечеру огромный пласт лугов был выкошен. Косилки погрузили на паром и отправили на другие покосы. Оставив для охраны лошадей ребятишек, косари отправились на ночь домой.

Вечер был теплый. Нам с Финой не хотелось уезжать с лугов, и мы тоже остались вместе с ребятами.

Мне припомнилось, как в детстве мы на этих же лугах ловили щурят в оставшихся от водополя лужах.

— Пойдем за рыбой! — предложил я Фине.

— Куда?

— По лужам шарить, по маленьким озеркам.

— Интересно. Пошли.

Разувшись, захватив с собой пару граблей, мы отправились на охоту. Недалеко нашли поросшее травой небольшое озеро. Я забрел в воду. Тотчас в ногу больно ткнулась рыбина, бросилась в сторону и заплескалась в траве.

— Давай и ты лезь в озеро, а то рыбы не получишь, — сказал я.

Фина осторожно ступила в воду.

— Какая теплая. — Она забредала все глубже и глубже. Оступилась чуть не до пояса и выскочила на берег. Я прошел вдоль и поперек все озерцо и снова потащил Фину в воду.

Мы стали бродить по озерцу из конца в конец. Со дна поднялся ил, показалась рыба. Шуки высывались из мутной воды, жадно хватая воздух. Я ловил их за жабы и выбрасывал на берег.

На головку граблей я намотал водоросли и с трудом вытянул их на берег. Разобрав зелень, мы обнаружили пару карасей-пяточков и старого карася с лапоть величиною.

У нас было уже достаточно рыбы, но Фину обуял такой охотничий азарт, что она готова была до утра бродить в воде. Пришлось позвать ребят. Они прибежали целой гурьбой и заплескались, как щурята. Фина вынуждена была уступить.

— Как рыбу понесем? — в недоумении спрашивала она, склонившись над кучей нашей добычи.

Я, не долго думая, снял рубашку, перевязал травой воротник, и мы сложили туда рыбу.

— Бежим! — крикнул я. И мы побежали вперегонки.

Придя на место, я живо наломал сухих сучьев, запалил костер и сварил уху.

Уха получилась замечательная. Поужинав, я растянулся на траве и стал считать редкие, тусклые звезды. Фина хлопотала у костра.

Мимо пробежали ребята.

— Дальше еще колдобину нашли, — рассказал один на ходу. — Рыбы там! Щука аршина в два! Боязно.

Ребята в сторонке разожгли свой костер, сводили на водопой лошадей. Потом все затихло. Только слышно было, как лошади хрупают свежую траву да где-то совсем близко заливается бессонный соловей.

Я задремал. Вдруг Фина трясет меня за плечо.

— Идет кто-то, — тревожно проговорила она.

К нам подбежала большая собака и завиляла хвостом.

В освещенный костром круг вступил человек с ружьем.

— Мир вам!

Фина привстала и с изумлением поглядела на пришельца. Это был Степан Ушаков.

— Значит — караул? — пошутил Ушаков. — Грозная застава! А баронов не боитесь?

Я ответил:

— Они в губчека отправлены.

Ушаков снял с плеча ружье.

— Почему, молодой человек, с барышней не познакомите?

— Фина Суханова, — сказал я. — А это здешний охотник Степан Данилович Ушаков.

Фина много слышала об Ушакове и его чудачествах, но видела его впервые и протянула руку с некоторой опаской.

— Видите, какой я соловей-разбойник! Но вы не бойтесь. Бояться людей, тем более охотников, — величайшее заблуждение. Я однажды в жизни большую ошибку совершил... Людей стал бояться... Ушел в лес, к зверю, так сам чуть зверем не стал. Ныне к людям потянуло. Пошел с Лаймой посмотреть, браконьеры не балуются ли, сейчас охота запрещена, вижу — огонек, ну и явился незванным гостем. Если помешал — гоните, если не помешал — сердечное спасибо.

Мы поспешили успокоить Ушакова. Он снял с себя охотничьи принадлежности, поглядел на костер.

— Костерок-то у вас того, еле дымит.

Я встал, чтобы сходить за хворостом для прогоревшего костра.

Ушаков приказал:

— Лайма! За дровами!

Я полез в ивняк. На ощупь отыскивал сухой хворост и выбрасывал его на дорожку. Лайма, пятясь, отгаскивала его к костру. Ей помогала Фина. Заготовка топлива превратилась у нас в веселую игру.

Вскипятили чай. Ушаков взял жестяную кружку, подул на кипяток и спросил:

— Эти луга кому сейчас принадлежат? Исполкому, что ли?

— Крестьянам, — ответил я. — Бедноте.

— Так отобрали у кулаков? Работать, значит, решили вместе, коммуной, по учению Карла Маркса?

— Вы и Маркса знаете? — с удивлением спросила Фина. — Я очень мало знаю.

— Я впервые читал Карла Маркса, когда вас, молодые люди, и на свете не было...

Разговор затянулся. Фина была поражена тем, что я знаю «Манифест» и даже помню целые куски из него наизусть. А как же мне было не помнить? Ведь мало того, что мы с Паниным читали и перечитывали эту книгу, горячо обсуждали ее долгими вечерами, главное — я теперь ясно понимал значение этой книги для революционной борьбы.

Весенняя ночь короче воробьиного носа, как говорят в народе. Мы и не заметили, как посветлело небо. В кустах запели птицы.

Над лугами протянулась стайка ярких чирков. За Камой раздались крики: «Лодку! Перевоз!»

Ушаков стал собираться.

— Ну-с, Лайма! Нам пора, — сказал он. — Спасибо за компанию. Прощайся, Лайма.

Собака подбежала к Фине и подала ей лапу.

Я решил проводить Ушакова. Недалеко от костра дорожка завела нас в кусты. Не останавливаясь, Ушаков заговорил:

— Протоколы сионских мудрецов все еще переписываю прописью «рондо» по слову в сутки. Бароны торопят. Сегодня вечером приедут ко мне. Сушите удочки. Когда будет клев, дам знать. Счастливо оставаться...

Когда я вернулся к костру, Фина спала. На реке появились лодки.

Я разбудил Фину и пошел будить ребят. Раскинув руки, сладко спали наши маленькие сторожа, уткнув голо-

вы чуть не в пепелище, хоть возьми да и самих унеси, таких сторожей. В кустах, в ожидании водопоя, ржали стреноженные лошади.

Поднялось солнце. Над скошенной травой за клубился парок. С граблями в руках рассыпались по лугу люди, переворачивая сено мокрой стороной к солнышку. С полудня появились конные грабли. Как грибы, стали вырастать копны сухого, шуршащего сена.

Общая работа заразительна и легка. Мы с Финой, несмотря на бессонную ночь, сгребали сено, таскали на носилках копны. Увлеклись работой — не заметили, как и день прошел.

Когда мы ехали домой, мне так хотелось спать, что я еле перебирал веслами, а Fiна сердилась:

— Пойми, что у меня вечером занятия с неграмотными. А так мы до утра не доедем.

— Доедем! — отвечал я и лениво бороздил веслами воду.

Поворчав немного, Fiна и сама задремала, свернувшись на корме калачиком.

Я смочил водой голову. Стало немного легче. Недалеко было уже до нашего села.

Всю дорогу проспала моя подружка. Подъехав к берегу, я вышел из лодки и вытащил ее вместе с Финой на берег.

— Приехали! — крикнул я ей прямо в ухо.

— Куда? Кто? Где?

— Куда? Домой приехали.

Мы умылись у ключа ледяной водой и, захватив с собою весла, пошли в село.

5

В разгар сенокоса в земельный отдел явился Захар с вилами на плече.

— Ты что это, Захар Егорович, полез в отдел с вилами? — спросил Пиров.

— Сопрут.

— Кому это нужны твои вилы?

— Богатеям. Они все, что плохо лежит, прибирают к рукам.

Захар поставил вилы в угол, подошел к столу заведующего и заговорил вполголоса:

— Они все к рукам прибирают, товарищ Пирогов. Ты тут сидишь в конторе и ничего не видишь... Мы организовали на графских покосах коммунию, а кулаки в борках на покотине всю траву выпластали. Самочинно. Где же это правда? Мне нарезали три десятины покосов, и богатеев тоже без покосов не оставили. У Лышного озера даже отцу дьякону покос отвели. Зачем это? А?

— Не запрещается, если кто своими руками обрабатывает землю, — ответил Пирогов.

— Чью землю? Земля-то не ихняя, а наша. Наша земля! — повысил голос Захар. — Я не желаю, чтобы на ней мироеды копошились. Под корень их надо урезать! Комитет выберем и сами будем лупить кулаков. Тебя кулаки в огонь не бросали? Да! А меня бросали...

Захар схватил вилы, острыми рожками распахнул дверь и выбежал из отдела.

Я встретил Захара на сельской площади. Он мелкими шажками семеня по дорожке, что-то говорил сам с собой, держа вилы наперевес, как винтовку.

— Ты чего, Захар, сам с собой разговорился? — спросил я.

— Люблю с умным человеком поговорить. Пойдем со мной, бурлацкая душа!

— Куда?

— К Варваре пойдем. Она тоже Советская власть.

Варвара Игнатьевна сидела в продовольственном складе. Захар со своими вилами перешагнул порог.

— Куда? — прикрикнула на него Варвара. — В складе посторонним находиться нельзя. Сейчас выйду и поговорим, если приспичило.

Варвара вышла к нам на улицу.

— Чего надо?

— Как бы сказать, Варвара Игнатьевна, — начал Захар. — И по делу и не по делу. — И Захар рассказал то же, что говорил Пирогову, — об организации особого бедняцкого комитета.

— Правильное дело задумал, Захар, — поддержала его Варвара. — Ты погляди, как я из кооператива буржуев вытурила. А потом выбрали правление из бурлаков. Ко мне вчера из уезда приезжал, как его... что учит нас продовольственному делу... инструктор. Он во многих волостях побывал. Сказывает, везде беднота организуется. Соберитесь, мужики победнее, да и выберите

комитет. А председатель Меркурьев пускай затылок чешет, да и Пирогов с ним вместе.

— Спасибо, Варвара Игнатьевна. Поеду сейчас за Каму стог дометывать, там и поговорю с мужиками. Айда, Сашка, со мной.

Переехали за реку. В жаркий полдень, когда трава грубеет и косить ее нелегко, у Захарова стожка собрались крестьяне.

— Мужики! — начал Захар. — Говорят, во всей губернии беднота сообща кулаков бьет, комитеты выбирает. А мы ничего не делаем. Богатеи на борках всю траву выкосили. Разве это порядок? И нам надо свой бедняцкий комитет.

В разговор вступил матрос Бородин.

— Слушай, Захар. Так нельзя делать. Комитет, комитет, а сам не знаешь, что за комитет, и я не знаю, и никто не знает. Хорошо, что ты призываешь бедноту сообща бороться за свою жизнь, только нельзя это делать с бухты-барахты. Сегодня посоветуемся об этом с товарищами из партийной ячейки, с Меркурьевым, а потом, если надо будет, проведем общее собрание бедноты и не здесь, на лугах, а в исполкоме.

Вечером Бородин с Захаром явились к Меркурьеву, тот набросился на них:

— Что за тайное собрание! Почему ничего не сказали раньше! Что еще за комитет? Запрещаю!

Панин, присутствовавший при этом, заявил:

— Ничего здесь тайного нет. Беднота зашевелилась, хозяином себя почувствовала. И не запретишь! Когда трогается лед весной на Каме, попробуй его остановить!

А в июле в газете «Известия» мы прочитали декрет ВЦИКа о комбедах.

— Владимир Ильич Ленин, — говорили крестьяне, — знает, в чем наша нужда. Стали бедняки объединяться, дошло это до товарища Ленина, и он о комитетах бедноты бумагу подписал.

УЧЕБНЫЙ БАТАЛЬОН

1

— Кто-то к исполкому подъехал. Не из уезда ли кого принесло? Первая весенняя птица, — так, услышав стук колес телеги, сказал Меркурьев и подошел к окну.

За всю зиму прошлого года и за весну восемнадцатого никто у нас из уездных и губернских работников не бывал. Живого руководства мы не чувствовали. Нам самим ездить за полтораста километров было некогда, а зимой из-за бездорожья — невозможно. Уездный исполком засыпал Меркурьева целым потоком разных инструкций, напечатанных на темной оберточной бумаге, многословных и невразумительных.

Мы получали центральную газету «Известия» и знали, что происходит на белом свете. На окраинах России начала поднимать голову контрреволюция. По Сибири, приближаясь к Уралу, ползли вооруженные заграничными империалистами белогвардейские банды...

В комнату вошел приезжий, бритый седой человек с маузером, и предъявил мандат.

— Предъявитель сего товарищ Бычков, — читал Меркурьев, — по приказу... назначается... волостным военным комиссаром... губвоенком С. Окулов.

Меркурьев повертел в руках мандат и уставился на новоявленного комиссара.

— Слушай, Бычков! Да ведь я тебя знаю. Ты у нас на пароходе буфетчиком был.

— Алеша! Дорогой! А я-то думал, ты не узнаешь старика, — и они на радостях крепко обнялись.

— Еще один бурлак! — весело говорил Меркурьев. —

Только тебя доставало. Паша Ефимов — партийный председатель, Андрюха Панин...

— И Заплатный здесь?

— Андрей Иванович мельницей заворачивает и с контриками воюет. А это Сашка Ховрин — его правая рука. Тоже бурлак.

— Вот здорово! Ты, парень, не Николы Большоголового сын? — спросил меня Бычков.

Я ответил утвердительно.

— На Амуре видел твоего родителя. Тоже думает сюда перемахнуть, да едва ли. Там уже заваруха началась... Значит, вся команда в сборе? Машинист, капитан, матрос и буфетчик! Давай любой пароход — и вперед до полного!

— Что это за волостной военный комиссар? — спросил Меркурьев. — Я не слыхал такого.

— Вроде присутствия по воинским делам, — ответил Бычков. — Будем составлять учетные списки военнообязанных, учить парней военному делу. Ты, Меркурьев, помоги мне прежде всего найти делопута. Толкового надо. Всяческие там списки, военные билеты и прочее. Может быть, из военных писарей кто-нибудь найдется в волости? Кто у тебя есть? Давай, Меркурьев, помогай, Алеша.

— Никого нет подходящего. Из офицеров разве.

— А они партийные?

— Нашел партийных офицеров! Один Пирогов, да он заведует земельным отделом.

— Беспартийного нельзя. Секретные бумаги. Понимаешь?

Меркурьев вдруг уперся своими рыжими глазами в меня. Я даже в сторону отвернулся.

— Кроме Сашки Ховрина, некого.

— А как наша работа с Паниным? — спросил я.

— Одно другому не мешает, — ухватившись за мысль Меркурьева, сказал Бычков. — Это даже очень хорошо. По рукам, товарищ!

На лучшем капитанском доме, брошенном хозяевами, появилась вывеска «Волвоенкомат».

Пришлось ехать за «канцелярией» в уезд. Я сам сочинил себе мандат:

«Дан сей мандат делопроизводителю Строгановского волвоенкомата товарищу Ховрину в том, что он командует в уездный военный комиссариат по военным де-

лам, и предлагаю под страхом революционной власти оказывать ему должное содействие. За неимением печати верить приложенной».

Перед отъездом пошел проститься с Финой. Застал ее в огороде — она поливала капусту. Я перемахнул через забор и крикнул:

— Фина! Сегодня в город еду! — Не дал ей опомниться и схватил за руку. — Понимаешь? В командировку!

Фина высвободила руку и сказала:

— Мне тоже надо в наробраз, к Алтынцеву.

— В чем же дело? Поехали!

— Я не готова.

— А что тебе готовиться? Переделась, да и на пристань.

Мы шумно вбежали в дом, где жила Фина.

— Тетя! Я в город еду!

Старушка погрозила мне пальцем:

— Собrania у вас, лекции, теперь в город. Отбил ты у меня племянницу... Да ничего не подделаешь. Вы люди молодые, вам вместе жить, а нам умирать пора... Что же на дорогу-то собрать? Сегодня, как на грех, не стряпали.

На «Петра Великого» мы попали перед последним свистком. На мостике уже стоял капитан — бывший мешковский матрос Демидов. В белом кителе, в форменной фуражке, статный, не хуже любого старого капитана. Он с достоинством командовал: «Отдать носовую! Отдать кормовую!.. На пристани! Уснули?»

Пароход был переполнен. Никаких первых, вторых, третьих классов не было. На нижней палубе можно было увидеть бывшую барыню — она разместилась с багажом прямо на полу у машинного отделения, а в салоне — артель плотников с пилами и топорами. Мне, как человеку «военному» и с мандатом, комендант парохода отвел отдельную каюту.

Зеркала в каюте нет, диван обшит мешковиной, вместо красивых никелированных шпингалетов и ручек — веревочки. В оконном стекле дыра, от умывальника осталась одна расколотая раковина.

— У вас на пароходе война, что ли, была? — спросил я коменданта во флотской шинели, вооруженного наганом без кобуры и кортиком.

— Похуже, братишка! — ответил он мне. — В затоне

при Керенском обкорнали. Доремонтировать-то мы не успели, таким наш «Петя» и навигацию открыл.

Фина, оставив в каюте баульчик, вышла на балкон.

Пароход отвалил от пристани. Перед окном замелькали последние постройки, примыкающие к селу луга, красивые яры, светлые пески, а затем могучие сосновые леса. К окну подошла Фина и сказала:

— Знаешь, что я придумала? Поедим вместе, а потом я уйду в салон.

С первой частью предложения Фини я с удовольствием согласился. Сходил за кипятком. Мы достали «подорожники» и устроили пир.

Настала ночь. У потолка загорелась тусклая электрическая лампочка. Фина завесила окно газетой и не собиралась уходить в свой салон. Мы сидели молча, прислушиваясь к ритмичному стуку машины.

— Помнишь, Фина, как тетушка сегодня сказала: вам, мол, вместе жить, — сказал я, волнуясь.

Фина подумала и ответила:

— Рано, Саша. Нам учиться надо... Обождем маленько. Мы еще очень молодые... Но никогда не расстанемся... Я очень люблю тебя, Саша. Не сердись...

На каком-то перекате пароход пошел тихим ходом. На носу закричал наметчик: «Два с половиной!.. Под табак!.. Не маячит!» Мимо проплыл зеленый огонь бакена. По палубе пробежали матросы. Потом все стихло. Только слышно, как по воде шлепают плищи да дребезжит в окне разбитое стекло.

Я предложил Фине ложиться спать. Она отказалась:

— Ты ложись, а я посижу.

— Тогда и я буду сидеть.

— Хорошо, — согласилась Фина. — Будем сидеть вместе.

Она положила голову мне на плечо и задремала. Я пошелохнуться боялся, чтобы не разбудить ее. Так сидел долго. Потом осторожно освободился и опустил голову Фини на свернутое пальто. Она пробормотала что-то во сне, заулыбалась, но не проснулась. От окна подувал ветерок. Я прикрыл Фину, чем мог, и вышел в коридор.

На лестнице, которая вела на нижнюю палубу, сидели пассажиры и спорили. Человек в пенсне, в черном плаще с медной застежкой говорил:

— Вы подумайте, кто поддерживает большевиков? Евреи, комиссары. А с нами кто? Бог и крестная сила, интеллигенция.

— Сам-то ты за кого? — вмешался я в спор пассажиров.

— Я за единую, неделимую Россию.

Среди пассажиров раздался смех.

— Вы, гражданин, клеветаете на интеллигенцию, — сказала пожилая женщина. — Я учительница, стало быть, тоже принадлежу к интеллигенции. Так вот, для большинства учителей интересы народа дороже жизни. И мы против вас.

— Что ни говорите, — не унимался человек в плаще, — а Советы долго не продержатся.

К нему подобрался человек в солдатской шинели и прямо к носу поднес огромный жилистый кулак.

— Видал? Рука у нас крепкая. О том, чтобы разбить Советы, ты и думать брось!

Незадачливый агитатор снял пенсне, протер платочком. Снова прищемил им переносицу и протянул:

— Я не обижаюсь на вас, гражданин. Мне просто жаль вас, темного, некультурного человека. — И, отвернувшись в сторону, стал доставать из корзинки какую-то еду. Подошел вахтенный матрос и предложил:

— Товарищи пассажиры! Освободите лестницу... Тебе говорят! Расселся тут со своими манатками. Освободи лестницу! Не понимаешь, что ли, русского языка?

Человек в плаще сунул недоеденное обратно в корзинку, забрал свой багаж и стал подниматься вверх по лестнице.

— Куда? — остановил его матрос. — Вниз иди, в кормовое отделение, — и подмигнул остальным пассажирам.

— А вы, товарищи, не беспокойтесь. Располагайтесь, как дома. В первый класс можно, если желаете. Кто спать хочет, можно с балкона диваны принести... Этого гуся я давно приметил. На нашем пароходе едет и нам же поет зауспокойную. Черепаха полосатая!

На рассвете пароход пристал к пустынному лесному берегу, где стояли поленницы сосновых дров. По палубам прошел с матросами комендант и приказал:

— Товарищи пассажиры! На погрузку дров!

Иные нехотя, а многие с удовольствием выходили на берег, чтобы поразмяться, разогнать сон.

Едва успели перебросить на берег широкий трап, я одним из первых перебежал на яр. Меня охватило утренним холодком. Умылся на приплеске — стало теплее.

На берег вышли матросы, за ними пассажиры. Растянулись цепочкой от поленниц по берегу, по трапу, по палубе до люка кочегарки.

— Раз его, взяли!

Матрос поднял первое полено, передал товарищу, а тот другому, и непрерывным потоком поплыли дрова на пароход. Я одно за другим принимал тяжелые поленья и передавал соседу. Согрелся так, что рубаха взмокла.

Через час погрузка была закончена. Снова из трубы парохода повалил густой серый дым. Отошли от берега и поплыли вниз по реке. На корме заиграла гармонь. Над верхушками деревьев вперегонки с пароходом покатилося молодое солнце.

Я возвратился в каюту свежий и уставший.

Миновали пристань Хохловку, Королевский затон. На правом берегу показались городские дачи, на левом — окутанный дымом город.

2

В ранний час по безлюдным улицам мы с Финой дошли до театрального сада и сели на скамейку. К нам подошел старик с ведром и метелкой. Снял шапку, поздоровался и спросил:

— С парохода, поди?

— Только что приехали.

— А откуда, позвольте спросить?

— С верхов, — ответил я неопределенно.

— Как там народ православный поживает?

— Хорошо, дедушка! — сказала Фина. — Крестьяне землю получили. Новые школы открылись.

— А у нас в городе совсем плохо. Разорили нас «товарищи».

Мне показался знакомым этот старик. Рыжий, даже руки в рыжей шерсти. На голенищах залатанных сапог кое-где остался истрескавшийся лак. Я спросил:

— Ты, дед, раньше чем занимался?

— Канатная фабрика была. Своя фирма. Подряды брал у казны.

— Юшков Семен? — догадался я.

— Семен Никаноров Юшков. Весь город знает. Я не скрываюсь. В дворниках состою... член профсоюза. Как было нажито, так и прожито.

Я встал.

— Пойдем, Fiна. А ты, буржуй, топай отсюда, да не оглядывайся!

Старик поднял с земли ведро, злобно блеснул глазами и поплелся по аллее. Fiна тревожно спросила меня:

— Ты почему такой сердитый?

— Понимаешь? Этот Юшков раньше в затоне по три шкуры драл с нашего брата. Не из пакли, а из нас он вил свои веревки. Я у него только месяц проработал, — ногти с рук сошли... В подметалы паук заделался.

Гремя по мостовой, проехали ломовики. Стали показываться первые прохожие, рабочие с железными сундучками. Возвращался в казармы конный патруль. Выли гудки заводов. Плелись по домам ночные сторожа с деревянными колотушками. Начинался трудовой день большого города.

На углу Пермской улицы мы расстались с Fiной. Она пошла в наробраз, а я в уездный комиссариат, в Соликамские казармы.

Чем ближе к комиссариату, тем больше попадалось военных людей в самом разном обмундировании: пехотном, казачьем, флотском, полувоенном. Из-под горы выполз грузовик, обвешанный железными щитами, с пушкой, с пулеметами.

Я добрался до казарм и попал на широкий двор. Чего только тут не было! Повозки, кухни, горы патронных ящиков, пушки, ружейные пирамиды. Двор перебежали солдаты с бачками для каши, с котелками под чай. На плацу маршировал взвод, в казарме играла гармошка.

Попасть к военкому оказалось не так-то просто. Чуть не целый час я объяснял в комендатуре, кто я такой, откуда и зачем приехал. Дежурный тщательно изучил мой мандат, даже на свет просмотрел. Спросил, какое у меня есть оружие, и наконец выписал пропуск.

В маленькой комнате сидел военный комиссар. Одет он был в блестящий кожаный костюм, на груди алая звезда. Сам худой, как щепка. Я протянул ему свой мандат. Он повертел его в руках, спросил:

— Офицерьа у вас в волости много?

— Есть несколько человек.

— Ты сам-то партийный?

— Да.

— У нас здесь тоже золотопогонников не оберешься.

В уездном комиссариате сплошь офицеры, а писаря от воинского начальника остались... Сижу, как под арестом. Того и гляди предадут.

— Зачем тогда принимают в комиссариат бывших-то офицеров?

— Своих военных специалистов нет, да и приказ такой... У вас под боком, в селе Никольском, десятый кавалерийский полк. У них почти весь командный состав — старшие казачьи офицеры.

— Почему это?

— Тут что-то не так... Когда-нибудь разберутся, — неопределенно ответил комиссар. — Да ладно. Наговорились. Будьте с Бычковым начеку. Ну, руку, товарищ! Сейчас придет писарь. Что увидишь, мотай себе на ус.

Явился писарь и провел меня в канцелярию, где несколько человек корпели над бумагами. В углу сидел пожилой военный с казацкими усами и одним пальчиком стучал на пишущей машинке. Длинные ноги его далеко высунулись из-под стола. Из разорванного сапога торчал грязный палец.

Писарь достал из шкафа бланки, несколько больших конторских книг и объяснил мне:

— Это добро на ваш комиссариат. Штука нехитрая. Дома разберешься. Если что будет непонятно, напишешь, разъясним... Довольствие получил?

— Нет. Какое довольствие?

— Табачное, мыльное, прочее. Папахи пришли, гимнастерки. Сколько вас?

— Пока двое: комиссар да я.

— Вас должно быть больше. Еще второй комиссар должен быть... из местных... Вот уже три. Будет военный руководитель, батальонный инструктор, два или три ротных инструктора, вестовой. Итого девять человек.

Писарь выписал требование и отправился к комиссару. Я в ожидании подсел к его столу.

В это время в канцелярии появился сутулый человек в новенькой офицерской форме. На груди у него был приколот какой-то царский орден. Все, кроме меня, вста-

ли. Тот, что печатал на машинке, вскочил первым и вытянулся, как собака на стойке.

Вошедший пренебрежительно взглянул на меня и скрылся в комнате, на двери которой было написано: «Военрук Шпилевский».

Дядя-машинистка зашипел на меня:

— Военную службу не знаешь. Развалился на стуле, как баран!

Я обиделся и возразил:

— Тебе какое дело?

— Встать! Перед тобой начальник.

— Не похож что-то ты на начальника, — ответил я. — Вначале сапоги почини.

Писаря заулыбались, уткнулись в бумаги, а офицер в рваных сапогах проговорил сердито: «Хамство» — и сел за ремингтон.

Возвратился писарь, передал мне подписанное комиссаром требование и стал объяснять, куда идти за гимнастерками, где продовольственный склад.

— Все тебе одному не унести, — предупредил он меня и предложил: — Могу подводу достать у обозников. Если отсыплешь им табак да немножко со мной поделишься, все увезем на пристань, погрузим и выгрузим... Пошли скорей. Я в обоз, а ты на склад... О махорочке, значит, договорились?

Мы вышли из комиссариата. У склада уже стояла готовая подвода.

— Я предупредил, — объяснил писарь. — Получай скорей. Я сам тебя отвезу. Понятно, что весь заработок мой. Так, дорогой товарищ?

Я рядиться не стал, без задержки получил все, что полагалось, и мы поехали на пристань.

Сдавши «довольствие» в багаж, я расстался со своим возчиком и пошел побродить по берегу.

На бывшей казенной пристани заметил паренька с удивительно знакомым лицом. Не успел я и двух шагов сделать по мосткам, как он бросился мне навстречу.

— Ты, Сашка? Какими судьбами?

— Панька! Рогожников! — и я расцеловался со своим старым другом.

— Пойдем в каюту, — пригласил Панька. — Я теперь начальник постов, а отец капитаном на «Медведе».

Наговорившись досыта в каюте, мы вышли на палу-

бу. Мимо пристани проходил выкрашенный в серую краску, в стальной броне, буксирный пароход. На мостике с рупором в руке стоял дядя Иван Филиппович. Я стал кричать и махать руками. Дядя поднял бинокль и узнал меня. Он дал знак лоцману, и над Камой раздался свисток.

— Это он с тобой прощается, — догадался Рогожников. — Первый блиндированный пароход. Подарок пермских рабочих Красной Армии. Идет на Волгу воевать с беляками...

Простившись с приятелем, я поспешил на пароход. Проверив в трюме багаж, поднялся на балкон и стал поджидать Фину...

Она появилась на пристани, когда уже убрали мостки.

— На корму! Скорей! — крикнул я ей во весь голос.

Оттолкнув от проволочного барьера какую-то женщину, я перепрыгнул на край борта, потом на нижнюю палубу. Матрос уже отдавал кормовую чалку. Он выругался по адресу Фины, но она, не обратив на это никакого внимания, быстро перепрыгнула через шалман на пароход.

— Хорош девка! — похвалил ее сидевший на корме татарин. — В вода скакал и не утонул!

Поздним вечером вышли на палубу. В воде, как в огромном зеркале, отражались темные берега, светлые бакены и корпус нашего парохода. На высокой мачте фонарь и в воде, вниз головой, фонарь. По берегам — рыбацьи костры. У одного кто-то махал пароходу горящей головешкой, веером сыпались искры. За пароходом треугольником расходились высокие валы.

Вот прошли и последнюю пристань. Скоро будет Строганово. Мы стали готовиться к выходу...

Проводив Фину, я, несмотря на ночной час, явился к Андрею Ивановичу и подробно рассказал ему о своей поездке.

— Эх, опоздал, Сашка!

— Как опоздал? Я в тот же день выехал из города.

— Бычков без тебя получил срочный приказ и выполнил его.

— Какой приказ?

— Зачислить в волостной комиссариат на должность военного руководителя Чудинова Мишку, а инструкто-

рами Охлупина и Романова. По этому случаю у Романова сегодня даже вечеринка была в поповском доме.

Я пошутил:

— Тебя, Андрей Иванович, не приглашали?

— Нет. Да я и без приглашения присутствовал на вечеринке, хотя меня там и не было, — многозначительно сказал он.

— Что же это за вечеринка?

И Панин рассказал мне:

— Они там «своих» людей поприветствовали и некоторых учителей. Стол был богатый, в графинах старая водка, красное вино. Гражданский инженер Кобелев явился первым, спросил Чудинова, где он достал всю эту снедь и выпивку, и посетовал, что когда-то и у него «был чудесный погребок». Чудинов говорит: «Не грустите, Аристарх Владимирович, все обернется в другую, в лучшую для нас сторону, а пока пользуйтесь доверием большевиков». Понимаешь, на что намекал Чудинов?

— На вечерок на этот, — продолжал Панин, — приехали из Никольского трое командиров из десятого кавалерийского полка. Если закрыть глаза, можно было подумать, что к Романову собрались не командиры Красной Армии, а старорежимные офицеры. То и дело слышалось: капитан, поручик, прапорщик, есаул, ротмистр... Ну ладно, на сегодня хватит. Айда спать, а утром к своим комиссарам.

— У нас один комиссар, Бычков, — удивился я.

— Мы Федота Сибирякова ему в помощь посадили. Хоть не военный, да свой. А с тобой мы еще не виделись...

— Сам не знаю, что ли.

— Лишний раз предупредить никогда не вредно.

3

Гражданская война постепенно захватывала весь Урал. Иностранцы империалисты и белогвардейцы стремились овладеть источником военной и экономической мощи молодой Советской республики.

Надвигались грозные события.

В конце мая сильные, хорошо вооруженные отряды интервентов заняли Челябинск.

На Средней Волге и в Сибири был организован мя-

теж военнопленных из чехословацкого корпуса. Используя их, белогвардейцы захватывали города Урала. На Воткинском и Ижевском заводах начали мятеж кулаки и эсеры. В Самаре было создано белогвардейско-эсеровское правительство.

25 июля войска интервентов и белогвардейцев заняли город Екатеринбург.

Мы стали готовиться к предстоящим боям. По вечерам на покотине раздавались команды, крики «ура», трещали винтовочные выстрелы. Инструкторы волостного военного комиссариата учили военному делу бурлацкую и крестьянскую молодежь.

К концу лета была подготовлена первая партия бойцов.

В один из серых дней из всех десятен в село походным маршем шли на смотр красные роты.

На площадь стали собираться любопытные, пришли старые фронтовики, чтобы покритиковать молодежь. Ребяташки облепили крыши домов, церковную ограду, деревья в саду.

У трибуны стояли в ожидании комиссары, военрук Чудинов, батальонный инструктор Охлупин, Меркурьев, Ефимов.

Накрапывал мелкий дождик. Люди кутались в шинели, в пальто, прятались под березы. Чудинов то и дело поглядывал на ручные часы.

— Идут! Идут! — закричали ребята с крыши исполкома.

Первая рота под командованием Романова точно, из минуты в минуту вступила на площадь. Бойцы лихо оттопали команду «На месте!» и, как один, после команды «Стой!» в три приема опустили винтовки «к ногам».

— Смирррно! — Романов подбежал к Бычкову и отрапортовал:

— Товарищ комиссар! Первая рота учебного батальона явилась на смотр в полном составе...

Бычков поздоровался с бойцами, и они получили разрешение стоять вольно.

Из-под горы послышалась песня «Смело, товарищи, в ногу!».

Так же, как первая, появились вторая и третья роты.

Пока собирался учебный батальон, за околицей села Пирогов выстраивал отряд Красной гвардии. В отличие

от батальона, вооруженного учебными винтовками, каждый из нас имел боевую. У всех гранаты и запас патронов.

Меня, самого молодого, поставили впереди колонны со знаменем. По правую и левую стороны стали Варвара Игнатьевна с винтовкой и Фина Суханова с сумкой, на которой был вышит красный крест. В хвосте колонны стали пулеметчики с ручным пулеметом.

С какой радостью, с какой гордостью нес я свое родное красногвардейское знамя!

Вот и площадь. Четко отбивая шаг, мы подошли к трибуне.

Меркурьев снял шапку, поднял руку и, приветствуя нас, прокричал:

— Первому войску рабочих и крестьян — Красной гвардии, ура!

Чудинов поднял руку, и батальон грянул мощно и организованно:

— Ура! Ура! Ура!

— И этому научил буржуйский сын, — проворчал за моей спиной Панин.

После митинга батальон, построившись повзводно, прошел под аркой и с песнями направился по главной улице села.

— Эх! Оркестра нет! — сокрушался Меркурьев. — Сейчас бы церемониальный марш!

4

Обстановка с каждым днем становилась все тревожнее. Восточный фронт настойчиво требовал пополнений. В нашей губернии была объявлена мобилизация всех возрастов.

В волость приехала комиссия: врачи, представители командования кавалерийского полка. В состав комиссии вошли наши комиссары, Панин, военрук Чудинов и я, как старший писарь.

В первый день мобилизации на комиссию вызвали командиров. Романова и Охлупина оставили в штате военного комиссариата и отпустили домой.

Явился Пирогов. Военный врач, с вытянутым бритым лицом, задал обычный вопрос:

— На что жалуетесь?

— Здоров и годен, — отрапортовал Пирогов.

— Поздравляю, поручик. Значит, зачисляетесь в кавалерийский полк, — сказал председатель комиссии, один из командиров кавалерийского полка.

— Разрешите не согласиться. Здесь тыл. Я желаю на фронт.

— Через день, через два может случиться, что все пойдет наоборот: здесь будет фронт, а там — тыл, — возразил председатель.

Доктор, воспользовавшись разговором членов комиссии с Пироговым, успел раздеть Ефимова и, несмотря на его протесты, вертелся вокруг со своей трубкой.

— Дышите... глубже... еще! А сколько вам лет?

— Тридцать восемь.

— Очень хорошо... Хрипы, ослабление сердечной мышцы, миокардит... Годен ограниченно.

Ефимов запротестовал:

— Товарищ доктор! Я знаю, что у меня с сердцем неважно. Меня с флота уволили по белому билету. Но не в этом дело. Я — большевик! И обязан идти на фронт. И пойду, не считаясь ни с болезнями, ни с вашей комиссией.

— Куда же вас направить? Наш десятый полк, как вы знаете, хотя и кавалерийский, но сухопутный, — пошутит кавалерист.

— Прошу на общих основаниях, в распоряжение уездного военкомата, — попросил Ефимов. — Вместе с рядовыми.

— Никуда не пойдешь! — вдруг заявил Панин. — Здесь тоже надо кому-то защищать Советскую власть. Пиши, доктор, что у Ефимова чахотка, тиф и всякие болезни.

И доктор в карточке Ефимова вывел: «Не годен».

В деревнях готовились провожать мобилизованных. Варили брагу, гнали самогон, стряпали шаньги, сушили сухари.

На деревенских угорах собирались старики и судачили:

— Большевики с германцем пошли на мировую, а гонят наших сыновей с ружьями брат на брата... В прошлый раз на пристани был, проезжающий рассказывал...

— Я еще на японскую ходил. Знаю эту войну. Совет-

ская власть пришла, хорошо думали жить, да вот последнего кормильца отбирают...

— Можно и не ездить на войну. Всех силой на паром ход не загонишь...

Подобные разговоры слышались повсюду. Мы, как могли, объясняли крестьянам, что не большевики затеяли войну, а буржуи, что они хотят снова отобрать у мужика землю, у рабочего — заводы. Приходится защищаться. Но среди населения толкались разные «проезжающие» шептуны и будоражили народ. Появились листовки с призывом к мобилизованным отказаться от выезда из деревень, а большевиков выгнать из Строганова.

Панин ругал комиссаров:

— Ребят только шагистике учили да как колоть штыком соломенные чучела. На откуп офицерам ребят отдали. Не занимались с ними, не объясняли, для чего нам нужна Красная Армия.

А Федот Сибиряков оправдывался:

— Кому объяснять? Из бедноты сами знают, для чего надо учиться военному делу, к чему готовиться. А ты скажи, на какой черт мы готовим всех без разбору? Ведь вместе с моим сыном учились и племянник Зобина, и псаломщик — все учились, кому и винтовку нельзя доверить. Такие-то и бузят больше всех.

— Выучили вояк на свою шею, — ворчал Панин. — Я бы только своих людей брал в Красную Армию, а кулацкое отродье — в город, канавы копать! Эх, позднею мы спохватились!

Мы спали с оружием. Под подушкой наган. Рядом винтовка. А офицеры — и наши и члены комиссии, — как позднее выяснилось, спокойно ночь в полночь разгуливали по селу, ходили в гости в семьи мобилизованных из зажиточных.

В последнюю ночь перед отправкой мы собрали красногвардейский отряд и расставили секреты вокруг села.

А утром начался пьяный мятеж.

Мобилизованные разъезжали по селу на тройках, горланили похабные песни, на нижней улице, где жили семьи водников, они почти во всех домах повывивали стекла. На площади свалили арку, сломали трибуну и запалили костер. Сбили замки с кооперативной лавки, расхватили товары.

Меня беспокоило, что с Финей. Ведь она живет на

нижней улице, и хулиганы ее, конечно, в покое не оставят.

Захватив с собою пару гранат, я под прикрытием высокого берега побежал в конец села. Около пристани проскользнул на огороды и подобрался к дому, где жила Фина. Чтобы попасть во двор, пришлось войти в переулок. Здесь меня окружили подвыпившие парни.

— Попался, комиссар!

Я ухватился за верхнюю жердь прясла и снова оказался в огороде. Поднял гранату со снятым кольцом. Парни, не ожидавшие такого отпора, ринулись врассыпную.

Сильно заколотилось сердце, когда я увидел выбитое окно в комнате Фины. Открывая ворота во двор, вымазался в чем-то липком. Запахло дегтем. «Гады! Ворота вымазали».

Дверь в избу была подперта колом. Сильным пинком я выбил подпору, распахнул дверь.

Фина с теткой, прижавшись друг к другу, хоронились за печкой. Они даже не смогли толком объяснить мне, что произошло. Фина плакала, старушка безмолвно жевала беззубым ртом. У нее дрожали руки.

В комнате у Фины и на кухне полы были усыпаны битым стеклом. В избе не осталось ни одного целого окна. Бумаги на письменном столе залиты чернилами.

Я выглянул на улицу, оглядел с крылечка переулок. Нигде не было ни души.

— Надо уходить отсюда, пока не поздно, — решил я. — Второй раз если придут погромщики, так еще хуже будет.

Закрыв ворота на засов, я вывел перепуганных женщин через калитку в огороды.

По хорошо знакомой дорожке спустились под берег Камы.

Было слышно, как сотнями голосов гудела сельская площадь. Надо было спешить. Мы с Финой взяли старушку под руки и быстро добрались до кирпичных сараев. Здесь я спрятал своих женщин.

Со всех сторон по задворкам и огородам подтягивались к площади красногвардейцы. Я присоединился к ним и очутился в церковном саду.

На каменной стене церковной ограды стоял человек в шляпе и, отчаянно жестикулируя, держал речь. Это был

бывший начальник милиции Чирков. Его сильный голос далеко разносился по площади.

— Большевики — шпионы кайзера Вильгельма! Хвастают декретом о мире, а сами посылают вас на войну. Из Сибири к нам идут хунхузы — наши кровные братья, такие же крестьяне, как и мы с вами. Неужели вы подчинитесь приказу большевиков? Неужели у вас поднимется рука на своего брата?

Чирков поднял кулаки над головой и истерически выкрикнул:

— Смерть большевикам!

Вдруг рядом с ним очутился Ефимов.

— Рано нас хоронить задумал, предатель.

Чирков выхватил револьвер и в упор выстрелил в Ефимова. Почти одновременно засвистела тяжелая свинчатка. Ефимов пошатнулся и упал на руки подбежавших красногвардейцев, а Чирков мешком свалился за церковную ограду.

Красногвардейцы ринулись на площадь.

В тот же миг поднялась паника. Мужики с ожесточением нахлестывали лошадей, выбираясь с площади на дорогу. Мобилизованные бросались из стороны в сторону, всюду натываясь на штыки красногвардейского кольца.

На церковную ограду залез батальонный инструктор Охлупин и скомандовал:

— Батальон! Ко мне!

И многие мобилизованные — бывшие бойцы учебного батальона, в силу привычки подчиняться приказу своего командира, выстроились у церковной стены.

В золотистом небе ярко пылало солнце, по-прежнему щебетали беззаботные птицы. А мы стояли, склонив головы, над своим тяжело раненным товарищем. Панин снял куртуз и сказал:

— Ты выполнил свой долг, как подобает большевику, Паша! Мы жестоко отомстим за твои раны.

Через площадь по направлению к нашей группе, понурив голову, шел Ушаков. Он держал на ремне свое охотничье ружье. На груди висел открытый патронташ, набитый медвежьими «жаканами».

— Я человека убил, — хмуро проговорил Ушаков, подходя к нашей группе.

— Контрреволюционер Чирков — не человек, — злоб-

но сказал Панин, догадавшись, чья пуля насмерть сразила паразита.

Ушаков пристально поглядел на побледневшее лицо Ефимова, что-то хотел сказать, отвернулся от нас и зашагал к реке.

Через час за Камой вспыхнул пожар. Горела избушка Ушакова. Пламя быстро охватило ее, и она сгорела до основания.

В тихом воздухе над лесом долго не рассеивался клубок серого дыма. Потом и он, перемешавшись с редкими облаками, исчез совсем.

5

«Готовь сани летом, а зимой телегу». Крепко придерживался этой народной поговорки председатель волисполкома Меркурьев — мужик хозяйственный.

Надвигалась осень, и его в последнее время заботила заготовка дров на зиму. Раньше дрова выписывали в лесничестве, прошлую зиму жили на старых запасах. А как быть нынче? Лесничества нет, рубить дрова в местных колках — значит оставить население без дров и жердей. А дров-то потребуется немало. В волости три школы, два фельдшерских пункта, волисполком, военкомат, нефтебаза, мельница, кооператив, склады...

Меркурьев запросил указаний в уездном совдепе, а тамошнее начальство возмутилось. Зачем, дескать, обращаться в вышестоящую организацию, когда можно проявить власть на месте...

И Меркурьев решил проявить на месте свою власть. Стал он ежедневно подолгу сидеть на берегу Камы. Мы думали, что старый капитан опять по реке затосковал, но оказалось совсем другое.

Однажды, когда Меркурьев был на своем посту, из устья Обвы на Каму выплыл за парохом большой плот.

Председатель быстро сбежал под берег и, когда парох подошел ближе, дал из нагана два выстрела и закричал:

— Ставь плот к берегу. Не то всех перестреляю!

На плоту спустили якорь. От парохода отделилась лодка. Выехал сам капитан.

— Алексею Петровичу! — поздоровался капитан. И это не было странно. Меркурьева знали все капитаны на Каме. — Ты чего развоевался?

— Здравствуй, Володя! Знаешь, нынче власть на местах. Подтягивай плот к берегу, и никаких разговоров.

— Не могу, Алексей Петрович. Я вроде извозчика, сам понимаешь. На плоту уполномоченный. Ему и приказывай, если ты власть.

— Ты, Володя, со мной не шути! — сдвинув брови, буркнул Меркурьев. — Делай, что говорю. А то ссажу на берег и сам все сделаю. У нас в Строганове без тебя найдутся капитаны.

— Кто отвечать будет? — спросил капитан Володя.

— Я — власть, я и отвечаю. А ты ни при чем.

Капитан возвратился на пароход. Плотовщики вывезли на берег чалку и подтянули плот к песку. Из «казенки» вышел уполномоченный — молодой человек в кожаном пиджаке и таких же штанах. Спросил:

— Что за остановка? Почему задерживаете плот?

— Это не остановка, а выгрузка, — разъяснил Меркурьев. — Выходи на берег. Казенка и дрова мои.

— Вы что? Рехнулись? — возмутился уполномоченный. — Кто вы такой?

— Председатель волисполкома. Имею распоряжение из уезда.

— Дикое распоряжение.

— Как так дикое? Ты, парень, контрик, что ли? Против Советской власти идешь? — припугнул уполномоченного председатель.

— Дикое распоряжение, — продолжал спорить уполномоченный. — Дрова заготовлены для завода, а не для вас.

— А мне плевать, для кого они заготовлены. Здесь моя власть...

Пока уполномоченный ездил в село Никольское на телеграф, пока суд да дело, плот разгрузили, дрова развезли. На берегу даже виц и клиньев не осталось.

Вскоре мне пришлось побывать в Никольском. Зашел я и в тамошнюю больницу навестить Павла Ивановича. Рассказал ему о меркурьевском способе заготовки дров.

Ефимов страшно возмутился:

— Неужели не понимаете, что наши заводы сейчас работают на армию? Надо Меркурьева, да и вас с ним

заодно, и уездный исполком привлечь к революционной ответственности... Ведь мы же так сами разрушаем тыл Красной Армии, анархию разводим... Как держат себя ваши комиссариатские офицеры?

— Хорошо. Охлупина в партию приняли.

— Зря это сделали.

— Почему? — возразил я. — Чудинову, как сыну капиталиста, не следует доверять, а Охлупин вышел из крестьян.

— Все это очень подозрительно.

Я пошутил:

— Ты, Павел Иванович, не заразился от товарища Панина лишней дальновзоркостью?

— Не знаю, — ответил Ефимов. — Только у Панина зрение куда лучше, чем у нас с тобой, хотя он и спровоцировал мятеж мобилизованных.

ВРАГ ПЕРЕВАЛИЛ ЧЕРЕЗ УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ

1

Однажды по дороге в комиссариат я зашел в исполком. Среди дежурных крестьян заметил двух молодых парней из Боровской десяти, где уже несколько дней Романов занимался с допризывниками.

— Вы, ребята, зачем сюда приехали? С занятий сбежали, что ли?

— Нет! Нас сегодня сам Романов отпустил.

— А остальные занимаются?

— Нет. Он не сам отпустил — ему велел отпустить какой-то дядя...

— Пошли со мной. — И я привел их к Панину.

— Рассказывайте, какой дядя велел вас отпустить.

— А большой отряд конных мимо проехал в сторону Алексеевского. Как поравнялись с нами, ихний начальник, толстый, с саблей, трубка у него, как самовар, а крышка серебряная, подъехал к Романову и говорит: «Кончайте занятия, поручик».

— А Романов что?

— Слушаюсь, говорит. Даже руку к козырьку приложил. И отпустил нас домой. А нам-то что.

Ребят больше не задерживали, а Пирогов с отрядом выехал в Боровскую десятню.

В конце дня строгановские крестьяне привезли к нам полумертвого паренька. Оказался он моим товарищем по работе — делопроизводителем военного комиссариата в соседнем селе Алексеевском, Борисом Голдобиним.

Когда Голдобин отогрелся немного и пришел в себя,

он рассказал нам такое, что у меня мурашки по коже поползли.

Утром он шел из деревни в село на службу. На окраине, у хлебного сарая, увидел каких-то верховых. У каждого из них на груди был приколот красный бант. Голдобин прошел мимо и направился к военкомату. Навстречу попался комиссар. Рядом шел военный, толстый, с трубкой в зубах.

— Не помнишь, была у трубки крышка? — спросил Панин.

— Помню! С крышкой. Она, как жестяная.

— Дальше рассказывай.

Голдобин слышал, как комиссар называл военного товарищем Ефремовым. Когда они, и Голдобин тоже, проходили мимо исполкома, вдруг на них набросились какие-то солдаты. Комиссара и Голдобина втащили в исполком, а Ефремов куда-то исчез.

— Я поглядел в окно. Идет по улице наш начальник милиции, — говорил Голдобин. — Вдруг к нему подъехал верховой и шашкой голову отрубил. Я закричал, а меня по голове чем-то ударили.

— Арестное помещение, — рассказывал дальше Голдобин, — до отказа забили. Там уже сидели не только партийные, но и все беспартийные советские работники. Из дома приезжих привели никольского судью и двух командировочных — они там случайно остановились — подводы ожидали.

Последним втиснули председателя исполкома Некрасова и закрыли дверь на замок.

Товарищи пропустили Некрасова в дальний угол, где свалена была куча пихтовых веток, приготовленных для украшения исполкома к празднику. Некрасов до того был избит, что не держался на ногах. Его уложили в углу на пол и закидали ветками в надежде на то, что, может быть, именно эта «соломинка» спасет председателя от гибели.

Арестованных вывели на берег речки за селом, и всех порубили шашками. Удалось спастись одному Голдобину. После ухода палачей он очнулся в гряде трупов и пополз к стогу сена, где его и подобрали приехавшие за сеном строгановские крестьяне.

— А что с Некрасовым? — спросил Панин.

— Не знаю. Он в камере оставался...

Наш отряд прочесал все окрестные леса и лога, но шайка бандита, называвшего себя Ефремовым, исчезла, как будто ее и не было совсем.

— Кулачье, — сделал вывод Панин. — Сделали налет, а теперь сидят спокойно по деревням.

Некрасову спастись не удалось. Когда уже стемнело и банда оставила село, он вылез из-под прикрытия и вышел из открытой камеры. Но едва только он появился на улице, его задержали местные кулаки и прикончили ударом топора-колуна.

Чтобы не допустить такого же неожиданного налета на Строгановскую волость, мы у себя объявили военное положение, выбрали ревком.

Бычков обратился с просьбой к командованию десятого кавалерийского полка, чтобы выделили хотя бы эскадрон для патрулирования по дорогам. Один из командиров полка, бывший капитан Корочкин, ответил, что воинская часть в местные гражданские дела не вмешивается и с бабами не воюет.

В глухое осеннее время, забрызганный грязью, я возвращался домой из поездки по деревням. Село уже спало, на грязной улице было черным-черно. Я опустил поводья, предоставил коню самому выбирать дорогу. Когда проезжал мимо дома, где жила Fiна Суханова, лошадь свернула с дороги и ткнулась мордой в ворота. Я потянул было за повод, но она повернула ко мне голову и заржала.

Делать нечего, пришлось постучать. Вышла Fiна и открыла ворота. Въехав во двор, я поставил коня под навес и пошел в избу. На столе в комнате Fiны горел огонек, а сама она, по-видимому, еще и не ложилась спать.

— Сумерничаешь? — шутя спросил я Fiну.

— Не то. Не до сна... Да ты не знаешь, наверное...

— Что такое?

— Несчастье, большое несчастье. Эсерка Каплан стреляла в товарища Ленина... Ленин тяжело ранен...

Мы долго сидели в молчании.

— Я боюсь одна оставаться, — заговорила Fiна. — Тетка уехала в гости. Мне страшно одной.

— Одевайся, Fiна. Едем.

Усадив Fiну в седло, я взял в руки повод и зашагал по грязной дороге.

Когда мы с Финой зашли в исполком, на нас никто не обратил внимания, все внимательно слушали, что вполголоса говорил Меркурьев.

— До чего дело дошло, товарищи. В июне Володарского убили, теперь Урицкого. На Владимира Ильича Ленина руку подняли. В ответ на гнусные действия врага партия большевиков объявила красный террор.

— Убийцам — никакой пощады! — как-то глухо сказал Панин. — Всем Романовым — смерти!

— При чем Романовы? — спросил Бычков. — Наш инструктор Романов в командировке.

— У меня в чижовке сидит ваш Романов... Он был правой рукой Ефремова. Ефремов-то ведь это бандит Бородулин. Помните, который в первое время Советской власти на дорогах разбойничал.

— Откуда он появился?

— Из Сибири приехал, от Колчака. И Романова с собой привез.

2

В начале ноября Павла Ивановича Ефимова выписали из больницы. На попутной подводе он ехал домой в Строганово.

Моросил мелкий дождик вперемешку с крупой. Лохматая лошадка шла осторожно, обходя лужи и ямы на дороге.

Ефимов сидел на одной стороне телеги, возница — пожилой крестьянин, свесив ноги, — на другой.

Обычно дальняя дорога располагает к откровенным разговорам.

— Как жизнь идет? — спросил Ефимов. — Я чуть не три месяца в больнице пролежал, ничего не знаю.

— Ничего, слава богу, жить начали безбедно. Видишь, лошадку имею, телега своя. Землю дали — спасибо. Только нынче осечка получается.

— Какая осечка?

— Новый налог придумали драть с нашего брата. Не по карману, а по душам. У меня, я говорю, восемь душ. Мне придется с каждой души все до зернышка отдать, а богатому да бездетному мужику — лафа.

— Подожди-ка, подожди, — прервал Ефимов. — О каком ты налоге говоришь?

— Какой-то, слышь ты, чрезвычайный, говорят.

— Читал в «Известиях», — вспомнил Ефимов. — Чрезвычайный одновременный налог на кулаков... А ты при чем? Комитет бедноты что смотрит?

— Не знаю. Засорили наш комбед. Говорю, все до зерна описали... Какой-то большой комиссар из города приехал и орудует. Собрал мужиков и давай, и давай! Война, говорит, мировая заваруха.

— Сколько верст до Строганова? — мрачно спросил Ефимов.

— Версты три... Ну ты, окаянная! — крикнул крестьянин на лошадь. — Не ленись в последний раз. Скоро ноги протянешь. — Он огрел кобылу вожжой, кобыла брыкнула задними ногами и прибавила ходу.

С горы показались постройки Строганова.

У исполкома Ефимов простился с возницей и посоветовал ему:

— Объясни соседям, что чрезвычайный налог на бедноту не распространяется. Так всем и говори.

Мы радостно встретили Павла Ивановича, а он с нами поздоровался сухо, как чужой человек. В исполкоме сидел и представитель из губернии по проведению чрезвычайного налога. Это был человек лет пятидесяти, с мясистым носом на бритом лице.

Ефимов спросил его:

— Это вы отвечаете за проведение налога в нашей волости?

— Что вы! Мое дело маленькое. Вчера на общем собрании ваши мужики сами постановили собрать налог с души, по примеру некоторых соседних волостей, где я тоже побывал. Я пропагандист.

— Знаем мы таких пропагандистов. Один такой вроде вас подвизался уже. Брать налог с души незаконно! — сказал, как отрезал, Ефимов и обратился к нам: — А вы где были?

Под жестким взглядом Ефимова многие из нас опустили глаза.

— Я спрашиваю, как вы могли приравнять бедняка к кулаку?

— Постановление правильное, — сказал уполномоченный. — Чем больше соберем хлеба, тем лучше. Между прочим, какая у вас беднота? У вас волость кулацкая.

— Ерунда! — возразил Ефимов. — Надо немедленно,

товарищи, всем выехать в десятни, объяснить народу, что допущена ошибка, а у кулаков весь хлеб выкачать. А ты, гражданин, отправляйся домой и доложи своим хозяевам, что в Строгановской волости существует Советская власть.

— Не забывайте! — вспыхнул представитель. — Я член партии.

— Какой партии? — И Ефимов повернулся к нему спиной.

Представитель бочком вышел из комнаты. Ефимов напустился на Панина:

— Как же ты, старый бурлак, чекист, попался на удочку?

На вчерашнем собрании один лишь Панин резко протестовал против неправильного, контрреволюционного, как он выражался, постановления общего собрания, навязанного представителем и кулаками. Я ожидал, что Андрей Иванович станет оправдываться, но он ответил:

— Виноват, Паша! Подкачал, как баржевой качек.

— Как подкачал?

— Не арестовал этого фрукта.

— Ладно. Потом разберемся. Скоро Кама станет, и, если не принять самых срочных мер, не успеем хлеб по воде отправить.

Мы выехали в десятни, а вслед за нами отряд Красной гвардии.

И хлеб стал поступать в Строганово непрерывным потоком.

У хлебных амбаров, которые стояли заколоченными с четырнадцатого года, Варвара Игнатьевна распахнула двери, открыла отдушины.

Работники кооператива едва успевали принимать зерно. По широким настилам они втаскивали пятипудовые мешки в амбары, засыпали просторные закрома.

На пристани грузили зерно в крытую баржу. Однажды мы с Паниным и Меркурьевым пошли поглядеть, как идет работа.

Крестьяне с мешками, кто на плече, кто в охапку, боясь свалиться в воду, чуть ли не на четвереньках ползали по узким трапам с берега на баржу.

— Бурлаков-то и не видно, — посетовал Панин. — Так-то им до заморозков не погрузиться.

На борту ходил с багром, на всякий случай, борода-
тый водолив и ворчал на неопытных грузчиков.

Мне захотелось вспомнить старинку. Я крикнул водо-
ливу:

— Дядя водолив! У тебя подушки есть?

— Сколь хошь! Эти обормоты ни черта не понимают,
без подушек кожатся.

Я сбегал на баржу за грузовой подушкой.

— Ай да Сашка! — похвалил меня Панин.

— Давай накладывай! — и я подставил спину.

— Эх! Поднимем-ка еще его разок! — Мешок мягко
лег на подушку.

— Еще накладывай! — попросил я товарища.

Нас обступили крестьяне.

— Десять пудов хочет унести! С пула, парень, со-
рвешь.

— Сам не сорвись. Я якорья по сту пудов нашивал, —
соврал я. — Во второй раз уташу всю твою телегу вместе
с кобылешкой.

Привычно, по-бурлацки, держа правильный шаг, я
подошел к трапу, шагнул на прогибающиеся доски и по-
плыл, как на волнах, на баржу, где ко мне подскочили
сам водолив и матрос.

— Раз его, взяли! — И тяжелый груз был снят с по-
душки.

— Ты, парень, видать, нашей бурлацкой породы, —
восхищенно сказал водолив. Он пожал мне руку, а мат-
росу приказал:

— Степанко! Давай две подушки!

На берег вышли уже три крючника.

— Эх, елки-палки! — выкрикнул бывший бурлак За-
платный и хлопнул себя по бедру. — И мне гони по-
душку.

— Сам возьмешь, не переломишься, — ответил водо-
лив, подставляя спину под мешок с зерном.

Андрей направился на монитор.

— Андрюха! — попросил Меркурьев. — Давай и мне
неси.

Алексей Петрович был так широк в плечах, что с тру-
дом напялил самую большую подушку, но зато на него
нагрузили сразу три мешка.

Некоторые мужики, видя, что так носить груз много
удобнее, тоже взяли подушки. Но с первым же случилось

несчастье. Он сделал неверный шаг на середине трапа и пошатнулся, мешок сполз в сторону и потянул неопытного крючника в воду.

Я шел следом за ним и крикнул:

— Бросай!

Мешок шлепнулся в воду. Фонтаном брызнула вода, мужик упал на четвереньки и чуть было сам не бултыхнулся вслед за мешком.

До темноты помогали мы крестьянам грузить баржу и впятером за три часа перетаскали столько зерна, сколько десятку неопытных грузчиков и за три дня не перетаскать бы.

— Поработали в охотку, — говорил Меркурьев, когда мы шли домой. — Надо в следующий раз нам всем, бывшим бурлакам, выходить на пристань, да и помогать, где силы или соображения не хватает. Помните, как за Камой в коммуне работали?

На другой вечер мы вышли на погрузку уже большой компанией. Водолив, заранее предупрежденный, вместо скрипучего трапа сделал настоящие широкие мостки, собрал на пристани и в селе все подушки и тачки.

В три вечера баржу нагрузили до отказа. Буксирный пароход помчал ее вниз по Каме, туда, где город, заводы, фронт.

3

С закрытием навигации съехались в село речники. Приехал с Волги на побывку дядя Иван и велел сказать Меркурьеву, что приглашает его к себе в гости. Я передал приглашение.

— Обязательно поеду, — оживленно заявил Меркурьев. — Это ведь не просто твой дядя, а знаменитый капитан бронепарохода. В боях был под Самарой, награду имеет. Надо уважить Ивана Филипповича.

Запрягли лошадей. Вышел Меркурьев вместе со своей женой Августой Андреевной.

— Надо солидно, — шутил он, — не по-холостяцки в гости ездить.

Когда уселись в просторную кошеву, кучер вскочил на козлы, и мы покатали по снежной дороге.

На развилке дорог кони пошли не туда, куда надо, а

совсем в противоположную сторону. Я хотел перехватить вожжи у кучера, но Меркурьев остановил меня.

— Правильно едем... Сиди и не рыпайся!

По обе стороны дороги в домах мелькали вечерние огоньки. Редкие прохожие шарахались в стороны и долго глядели нам вслед.

— Подумают, что председатель загулял, — пошутила Августа Андреевна.

— И все-таки едем мы не в ту сторону, Алексей Петрович, — повторил я.

— Как раз в самую ту, в твою сторону, товарищ Ховрин! — с усмешкой ответил Меркурьев.

Только когда кучер осадил лошадей у квартиры Фины Сухановой, я понял, куда и зачем мы приехали.

Снова завизжали стальные подполозки, засверкали искры из-под копыт резвых лошадей.

— Вы не стесняйтесь, Фина! — говорила Августа Андреевна. — Мы с Иваном Филипповичем вместе много навигаций провели, зимовали вместе. Про вас скажу, что племянница.

— Так он и поверит вам. Знает, что я не ваша племянница, что вообще я никакая не племянница, что у меня и дяди никакого нет.

— Скажем, что вы его, Ивана Филипповича, будущая племянница. Дело к тому идет...

Выехали на открытые места. Вдали мерцали огоньки прикамских поселков, справа синел горный увал.

Поднялся огромный красный месяц в радужных рукавицах. Рядом с нами побежала верткая тень. Кучер крутил вожжами, а кони и без того мчались так, что дух захватывало.

Вот и деревня. Через широко раскрытые ворота мы въехали во двор дяди Ивана.

На столбе ярко горел пароходный фонарь. Дядя встретил нас во дворе и повел в избу.

Тетка Александра хлопотала у печки. Она подбежала ко мне и, не дав раздеться, со слезами на глазах крепко обняла.

— Не думала я и увидеться больше. Такого страху летось приняла, что и говорить боязно.

— Где, тетушка?

— На войне. На пароходе со стариком страху наприжимались.

— Не ври! — шутливо сказал дядя. — Ты-то действительно трусила, а про меня этого не скажешь.

Дядя сбрил бороду, отрастил длинные усы, волосы на голове снял под машинку, помолодел. Одет в гимнастерку, на груди орден Красного Знамени. Я заметил, что у него на правой руке нет среднего пальца.

Когда разделись все и перездоровались, дядя пригласил нас в горницу.

Большой стол под белой скатертью был уставлен посудой.

Дядя наполнил вином три стакана и две рюмки и предложил:

— Прошу, гости дорогие, для сугрева с дорожки, пока пельмени варятся.

Меркурьев поднял стакан.

— Что же, друзья! Нельзя обижать хозяина. Выпьем за его здоровье.

Фина поднесла к губам рюмку, прищурилась и выпила. Я глотнул чуть не полстакана и раскашлялся. А Меркурьев выпил до дна и потянулся за соленой капустой.

Мне вино ударило в голову, захотелось говорить. Я спросил дядю:

— Ты где палец потерял?

— На войне. Из-за этого проклятого пальца и домой приехал. Ромашева Кольку знал? У штурвала убило. Я сам взялся за колесо. Чик! — и пальца нет. До конца достоял... только потерял много крови, голова немного кружилась. В рубке-то у нас ни единой тряпки не нашлось, чтобы руку перевязать, а свою рубаху драть было некогда.

Принесли пельмени. Еще выпили.

Дядя достал из шкафа что-то завернутое в чистое полотенце. Развернул осторожно и показал нам грамогу, полученную в награду «за героизм, проявленный в боях за освобождение от белогвардейщины города Самары».

После ранения и трехдневного пребывания в госпитале дядя привел в Пермь нобелевскую баржу с мазутом и получил отпуск. Он рассказывал нам:

— Заводы мы обеспечили, а пароходы перевести на мазут не успели: закончилась навигация... На будущий год уже не будем канителиться с дровами. Запас сделан большой. В Левшине все баки заполнены нефтью. На три навигации хватит.

Некоторое время в горнице стояла тишина. Тетка все угощала меня пельменями:

— Кушай, дитятко!

— Нашла дитенка, прости господи, в косую сажень. Его давно женить пора, а ты — дитятко! — смеялся дядя Иван.

— Для меня все одно, — ответила старушка. — Сколько годочков живет от дома на особицу.

— Мы с тобой, старуха, всю жизнь жили на особицу. Раньше, извините, бабам жить на пароходах не полагалось, — рассказывал дядя. — Ну и жили — зиму вместе, лето врозь. При Советской власти — другое дело. Даже на войну вместе со старухой ходил. При Советской власти все вместе. Скажем про нашу компанию. Я — капитан, Алексей Петрович вроде волостного старшины — председатель, Фаина Ивановна — учительница, Сашка — матрос, голытьба, Максим — мужик, крестьянин, старухи наши — хозяйки. Одним словом — союз рабочих и крестьян и всех трудящихся. В старые годы разве пришла бы ко мне в гости учительница? Хотя я лоцман был, да малограмотный. Какой мог быть между нами разговор? Если бы старшина посадил рядом с собой за стол Максимку, Кама бы вспать пошла. А капитан Меркурьев стал бы разве сидеть рядом с матросом? Никогда. Нынче все в союзе, кто за Советскую власть... Старуха! Подсыпь-ка нам еще пельменей. Чокнемся еще по маленькой, за союз, за наше товарищество!..

Возвращаясь из гостей в Строганово, мы на восточной стороне увидели огненную вспышку.

— Товарищи! Калинники играют.

Меркурьев протер глаза и сказал удивленно:

— Какие калинники? Зимой?

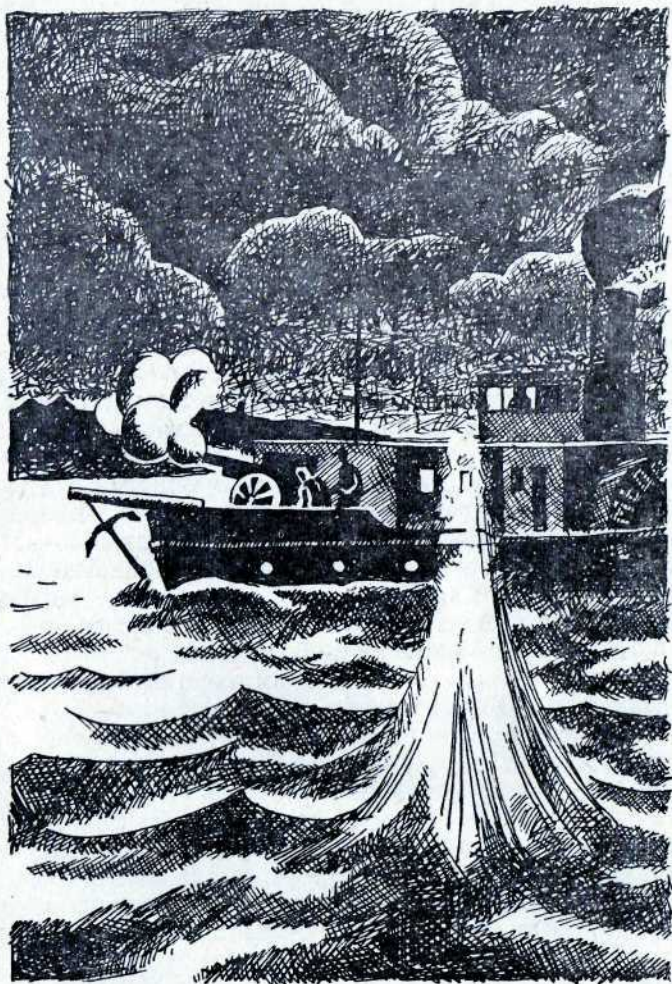
Снова появилась вспышка, другая, третья...

В промежутке между вспышками мы услышали глухой удар.

— Что это, Алексей Петрович? — спросил я тревожно.

— Это — война, товарищ Ховрин!

КНИГА ТРЕТЬЯ



ПУТЬ К УРАЛУ

ЭВАКУАЦИЯ

1

В конце декабря ударили сорокаградусные морозы, такие, что птицы замерзали на лету. Покрытые куржевиной, маячили в студеном тумане сельские постройки. На улице не видно ни проезжих, ни прохожих. Не слышно ребячьих голосов. Закрылась школа.

На мельнице замер локомобиль. В сторожке у Панина перестало гореть электричество. Стояла она пустая и холодная, с разбитыми стеклами окон. На полатах спасались воробьи, прыгали по полу в поисках хлебных крошек.

Но не злой мороз загнал жителей с улиц в избы. В обычное время в декабре ребята делали катушки, в школе было шумно, по вечерам ставились спектакли.

К Строганову приближалась война. Белые полчища Колчака и части чехословацкого корпуса генерала Гайды перевалили Уральские горы и подходили к левому берегу Камы. По ночам в морозном воздухе слышались глухие раскаты орудийной пальбы.

По дороге мимо села из соседних волостей и заводов двигались обозы с эвакуируемым имуществом и семьями коммунистов. Путь их лежал на запад через наше село в Никольское и дальше до железной дороги.

Однажды вечером и мы на пяти подводах отправили свои семьи. Фина Суханова уехала со школьным имуществом. Нам даже не удалось проститься как следует. Варвара Игнатьевна увезла товары кооператива. Комиссар Бычков с канцелярией военного комиссариата уехал еще раньше.

Августа Андреевна наотрез отказалась уезжать. Она заявила Меркурьеву:

— Двадцать лет бурлачили вместе, делили горе и радости. Раз пришло такое время, будем вместе до самой смерти. Никуда я без тебя не поеду!

У Меркурьева было по горло хлопот. Он махнул рукой.

— Шут с тобой! Оставайся, Августа...

Когда закатилось солнце и спал туман, в неподвижном воздухе стали сильнее слышны звуки недалекого боя.

Мы отправили последний воз с кассой и сами стали готовиться к отъезду. Во дворе стояли уже запряженные лошади.

В исполкоме было пусто и неуютно. На полу бумажный мусор, черными дырами зияли раскрытые пустые шкафы.

Меркурьев ходил из угла в угол, отшвыривал попадавшиеся под ноги комки бумаги и ворчал:

— Как на барахолке, прости господи!

Нас осталось совсем немного. Меркурьев с женой, комиссар Федот Сибиряков, Охлупин с Чудиновым, комбед Александр Бородин, Захар, мы с Паниным, Ефимов да пятеро красногвардейцев.

Панин был так зол, что не подходит.

— Работали, работали — и все к чертям! — ругался он. — По-моему, белякам ничего не надо оставлять. Я бы все село к лешему спалил. Исполком, мельницу, школу!

— Ты, Андрей, не ерунди! — успокаивал его Меркурьев. — Не навечно оставляем село. Отступаем временно. Мы еще воротимся.

— Сам знаю, что временно, да обида берет.

— Ладно... Присядем по старому обычаю, да и на коней! Нечего рассусоливать.

Все сели, кроме Охлупина.

— Ты чего? — спросил Меркурьев.

Охлупин в офицерской шубе с мерлушковым воротником, на боку шашка, с правой стороны револьвер, стоял и улыбался.

— Я не собираюсь удирать, — ответил Охлупин.

Меркурьев возразил ему:

— Мы не удираем, а эвакуируемся. Что, герой, задумал?

— Нас четырнадцать человек, — начал объяснять Охлупин. — Вооружены чудесно. Имеем пулемет, два ящика гранат. Я предлагаю без боя не отступать от Строганова. В обход наше село не возьмешь — снега саженьные. Можно только с Камы, а с Камы горный берег. Местность на двадцать верст просматривается. Позиция великолепная. Наша группа при умелой организации обороны будет крепким орешком для противника.

— Василий Макарович прав, — поддержал Охлупина Чудинов. — Да и тыл наш крепко обеспечен. Забыли вы, что ли, что в Никольском кавалерийский полк. Мы с вами можем сделать историческое дело — остановить продвижение передовых частей противника на северном фланге. И обойти нас нелегко: надо перебираться через Каму да попутаться в лесах.

— С юга могут обойти, через Гари, — сказал Панин.

— А с гаревскими товарищами связаться надо. Съездить, объяснить положение. Пусть заставу организуют.

Отъезд отложили, лошадей, с вечера стоявших в запряжке, распрягли.

Для связи в село Гари решили послать меня.

Когда я садился в сани, из исполкома вышел Захар.

— Куда ты? — спросил я его.

— Пост сменить. Прощай, Сашка.

До Гарей верст двенадцать от нашего села вниз по Каме. Дорога идет по берегу. Место открытое и веселое.

Меня вез меркурьевский кучер Максим. Он помахивал вожжами, напевал что-то себе под нос и не обращал внимания на орудийные вспышки, которые освещали небо.

Ехали около часа. Подъехали к исполкому. Долго стучали в дверь. Наконец проснулся дежурный и впустил меня.

— Как, товарищ, дела?

— Ничего пока. Идут.

— Ваши эвакуировались?

— Нет еще, не выковырялись.

— Ну и ладно. Зови председателя.

Дежурный растолкал спящего милиционера.

— Будь другом, сходи за председателем...

Явился председатель, заспанный, сердитый.

— Кого черт носит по ночам? А, из Строганова! Здравствуй! Что хорошенького скажешь?

Я рассказал о цели приезда.

— Это правильно вы решили, — оживился председатель. — Белые где-то еще верст за пятьдесят. Я не знаю, зачем заставили имущество вывозить. Вам хорошо — прямо по тракту ехать, а мы, знаешь, в стороне. Погрузились было, да задержались пока. Послал на случай ребят в Никольское к кавалеристам. Они ведь сейчас эвакуацией командуют. Жду ответа, а там видно будет... Не хочется, парень, с родного-то места трогаться... а заставу мы обязательно поставим... На всякий случай собирай всех, Никифор! — приказал председатель дежурному.

Я простился с председателем, и мы поехали домой.

Не успели полверсты отъехать от Гарей, как там поднялась стрельба.

Наша лошадь метнулась в сторону, помчалась без дороги по целине и влетела в пустое остожье. Я сбросил тулуп и вывел ее на дорогу.

— Отродясь такого страху не принимал, — разговорился Максим, когда мы уже далеко отъехали от Гарей и не стало слышно выстрелов. Он выскочил из саней и побежал вприпрыжку, хлопая рукавицами. В нырке вскочил в сани и задумался, а потом сказал:

— Слышь, парень! Мы ведь с тобой на вершок от смерти были. Задержись в Гарях — и прямая могила.

Во всю дорогу Максим больше не вымолвил ни слова.

Я тоже молчал. У меня было желание объехать свое село и направиться в Никольское. Может быть, строгаковский обоз все еще там находится? Сидит, поди, моя Фина на забитой обозами дороге и мерзнет на ветру... А может быть, и там тоже стреляют.

Вернувшись домой, я все рассказал товарищам. Панин слушал меня очень внимательно, а Охлупин многое пропускал мимо ушей.

— Слушай, Охлупин, — спросил его Меркурьев. — Что за стрельба, по-твоему? Не белый разбезд?

— Не может быть, — ответил Охлупин. — Регулярные части белых далеко. По-моему, это просто кучка местных кулаков напала на гаревских коммунистов, и они встретили их с боем. Вот и стрельба. Можно еще раз съездить туда и выяснить...

В Гари послали Федота Сибирякова, а мы с Паниным пошли проверить посты.

Спустились под гору в конец села, где у нас был самый важный пост на проселочной дороге в Боровскую десятню. Здесь должен был стоять Захар Егорович. Но на месте его не оказалось. Снег кругом был истоптан и измят.

— Пропал Захар ни за грош, ни за копейку, — сказал Панин. — Его контрики сняли. Видишь, как снег измят. Боролся Захар Егорович.

Когда возвращались обратно, на Никольском тракту взвилась ракета. Ускорив шаги, мы быстро дошли до исполкома. Панин предупредил меня:

— Офицерам ничего не говори... ни о Захаре, ни о ракете. Я тоже не верю, что начали орудовать белые. Помнишь вечеринку у Романова? А поведение командиров из десятого полка во время мобилизации?

— Ты думаешь?..

— Ничего я пока не думаю. Нам с тобой хорошо известно, из кого составлен кавалерийский полк. Тыл у нас совсем ненадежный, Сашка... Вот что я думаю.

Была глухая полночь. В исполкоме чадила десятилитровая лампочка. Меркурьев рвал на мелкие клочки какие-то бумаги. Августа Андреевна сидела в сторонке и вязала чулок.

Вдруг распахнулась дверь, и в исполком вбежал мой сосед по поселку Симаков.

— Беда, товарищи!

— Что случилось?

— В бурлацком поселке белая банда, — запыхавшись, говорил Симаков.

— Откуда у вас могут быть белые? — с усмешкой сказал Охлупин. — С неба свалились, что ли?

— Белые казаки, — объяснял Симаков. — С саблями, в погонах...

«Белые казаки? — подумал я. — Не из десятого ли полка?»

— Как они тебя выпустили из поселка? — допытывался Охлупин.

— Я тоже в солдатах бывал, — ответил Симаков. — Не пошел к ним за пропуском, а на коня и к вам в Строганово — предупредить. Да и сам-то я в списках бедноты. Белые не помилуют. Поеду вместе с вами.

Не успел Симаков закончить рассказ, как в исполком нетвердой походкой вошел красногвардеец.

— За селом стреляют! — сообщил он.

— Пост оставил, мерзавец! — крикнул на него Охлупин.

Красногвардеец выронил винтовку, пошатнулся и опустился на пол. Когда с него стащили полушубок, на рубашке увидели пятно крови... Красногвардеец умер через несколько минут.

Мы вышли на улицу. При лунном свете было видно, как по правому берегу реки от Гарей перебегает цепью противник, а дальше маячат верховые; а мы-то ждали нападения с левого берега.

Мне стало понятно, что какой-то еще неизвестный враг, разгромив Гари, просочился в наши деревни и окружает Строганово.

— Сила солому ломит, — проговорил Ефимов, посоветовавшись с Паниным и Меркурьевым. — Запрягайте лошадей.

— Без единого выстрела оставить село! — запротестовал Охлупин. — Я, как коммунист и как командир Красной Армии, не согласен...

— Мы не намерены зря отдавать свои головы, Охлупин, — сказал Панин. — А боевые патроны нам еще пригодятся.

Стали рассаживаться на подводы. На первую взгромоздился Меркурьев с пулеметом, на последнюю сели мы с Паниным. За нами двинулся Симаков верхом на своей лошади.

Когда выехали из Строганова, Панин ткнул меня под бок.

— Сигналят гады! — И показал на церковь. На колокольне сверкал огонек.

— Эх, пулемет у Меркурьева! — пожалел Панин. — Сыпануть бы очередь по сигнальщику.

От нас до Никольского на запад от Камы был проложен вглубь уезда хороший тракт. Летом со всего севера губернии шли по нему на Строгановскую пристань обозы. Зимой мимо нашего села ездили на станцию железной дороги и в город, до которого было больше ста верст.

Тракт укатан, как катушка на масленице, за два часа можно доехать до Никольского. Но Меркурьев свернул вправо, в лес, на заброшенный проселок, и лошади пошли шагом.

Еще и войны не было, а уже нет Захара, не вернулся комиссар Федот Сибиряков, убит красногвардеец. И осталось нас, вместе с Симаковым да Августой Андреевной, всего-навсего двенадцать человек.

Ехали долго. Постепенно начало светать. Из мрака начали вырисовываться верхушки деревьев. Показалось село Ивановское, в стороне от Никольского.

И здесь в исполкоме, как у нас в Строганове, все разбросано. Какой-то коротконогий человек бросал в огонь чугунной печи пачки бумаг и помешивал кочергой.

— Ты что делаешь, товарищ?

— Грехи жгу. Наворотили бумаги наши писаря. Всю ночь жгу.

— Где ваши начальники?

— Дрыхнут. Чего им делать-то? Садитесь поближе, погрейтесь.

Августа Андреевна принесла из сеней мешок с продуктами. Затвердевшие пирожки разложила на печурке, они быстро оттаяли.

Только сейчас, когда она дала мне пирожок, я вспомнил, что у меня сутки ничего во рту не бывало.

Стенные часы пробили шесть, и в исполкоме стали появляться местные руководители. Пришел председатель, знакомый Меркурьеву.

— Что за цыганский табор? — шутил он, здороваясь. — Всему уезду известно, что ты, Алексей Петрович, самый первый цыган. Всю жизнь кочуешь. Кого благодарить за посещение?

— Не знаю пока. То ли белых, то ли черных. Черт знает кого... Вы эвакуировались? — спросил Меркурьев.

— Вчера отправил семьи коммунистов и советских работников. Молодежь пока осталась. Сидим у моря и ждем погоды. Вы через Никольское ехали? Как там?

— Нет, — с кривой усмешкой ответил Меркурьев. — Мы ехали через лес, по дровяной дороге, прямо к вам. Никольское стороной объехали.

— Почему не по тракту? Почему стороной?

Тут в разговор ввязался Панин:

— В Никольском неблагополучно.

Он отошел с председателем в сторонку и поделился своими подозрениями, рассказал о событиях в Гарях, о том, что конные заняли бурлацкий поселок, о нападении на Строганово.

— Мы туда обозы отправили, — забеспокоился председатель, — семь на десяти подводах...

— Мы тоже, — сказал Панин.

— Придется кому-нибудь съездить туда, узнать, что делается, — предложил председатель. — Может, напрасно тревожимся.

В небольшое помещение исполкома набралось, кроме нас, человек двадцать местных коммунистов. Стали советоваться.

— Мы живем ближе к Никольскому, — говорили ивановцы. — Нас там всякая собака знает. Лучше из ваших послать — из строгановских.

— Пошлите меня, — предложил я. — Кстати, узнаю, что с нашим обозом.

Чудинов съязвил:

— Не обоз тебя интересует.

— Ну и что? Одно другому не мешает, — отрезал Панин. — Собирайся, Сашка.

Я переоделся в нагольный полушубок, надел лапти с шерстяными онучами, на голову нахлобучил малахай и стал ходить на деревенского парня. Одну из наших лошадей перепрягли в простые дровни. Я попрощался с товарищами и поехал в Никольское.

Это большое торговое село — бывшая графская вотчина. Здесь были даже фабрики — кожевенная и ткацкая, механический завод, большие паровые мельницы. Обыкновенное волостное село, оно по своему экономическому положению являлось центром всего верхнего Закамья. В старое время в Никольском размещалось воинское присутствие, как в уездном городе, и жили на постое воинские части. В восемнадцатом году здесь был сформирован десятый полк красной кавалерии. Но только по названию был он красным. Командовали им старые казацкие и кавалерийские офицеры, бойцы были почти сплошь из сынков богатеев.

От села Ивановского до Никольского верст восемь, но с горы оно казалось совсем близко.

Незаметно я доехал до окраины. Меня остановил часовой. Он был в обычной красноармейской форме, в шинели с отворотами на рукавах, но на плечах у него нарисованы химическим карандашом погоны.

Часовой подошел к моей лошади и хотел взять ее под уздцы.

— Не задевай, дядя: лошадь кусается, — предупредил я его.

— Куда едешь?

— Лошадку подковать.

— Пропуск имеешь?

— Нету. Завсегда ездили в кузницу без пропуска, а при теперешней Советской власти идешь в баню — и то пропуск бери.

— Давай какой есть документ, — приказал часовой.

Я сунул руку за пазуху. К нам подошел другой солдат.

— Зря привязываешься к этому дураку, — сказал он. — Видишь, лошадь не кована. Проклятый мороз, в шинелке насквозь пробирает. Когда, парнюга, обратно поедешь, не забудь взять в комендатуре пропуск да самогончику достань бутылочки две. Без пропуска не выпустим.

— Кумышку тоже в комендатуре выдают? — нарочито наивно спросил я.

— Ну и дурак! — сказал солдат. — Ты в комендатуре не обмолвись о самогонке. К бражницам сходи, на рынок.

Солдат стал наплясывать, приговаривая: «Чай, сахар, белый хлеб!» Я подхлестнул вожжей лошадь и благополучно двинулся в село.

Не успел проехать полквартала, как нарвался на конный патруль.

— Чего болтаешься по улицам? — спросил меня усатый кавалерист.

Я опять объяснил, что приехал в кузницу лошадь ковать. Надо, мол, снопы возить, дорога затвердела от морозов, а лошадь не кована.

— Гони в комендатуру. Там разберутся.

— Куда править-то?

— Видишь на горе белый дом? Правь туда, — показал мне кнутом конник. — И не бойся! Не к большевикам едешь. Проверят документы, и поезжай куда надо... Вчера всех большевиков уничтожили, а крестьян не обижаем.

Я поехал вперед, к белому дому, а за мной кавалерист.

Когда подъехали, конвоир слез с лошади. Я стал привязывать свою лошадь к столбику у ворот и, обдумыва-

вая, как бы выкрутиться, не торопился. Солдат терпеливо ожидал.

Страхнув с лаптей снег, мы вошли в комендантуру. В большой комнате бывшего графского дома прямо на полу сидели крестьяне. Посредине расхаживал солдат с нагайкой, с белыми лычками на настоящих погонах. Лицо с глубокими оспинами. Под носом белесые усики.

— Привел документы проверить, — доложил конвоир. — На улице задержал.

— Водите сюда каждого встречного... И так все подвалы забили арестованными, — заворчал солдат с лычками. — На улице проверяй, если ты патруль. Натаскали мужичья, а большевики на свободе гуляют... Ты большевик? — вдруг спросил он меня в упор.

— Мы малограмотные, нас не принимают.

— А если бы грамотный был, пошел бы в большевики?

— Нет! — ответил я. — Они нас под корень разорили.

— Паспорт покажи, — уже более мягким тоном предложил солдат.

Я растегнул драную шубейку и достал затрепанное удостоверение личности, в котором было записано, что «предъявитель сего Степанов Сергей Федорович является действительно тем лицом, что и значит, Ивановской волости крестьянским сыном деревни Мозолята, от роду 16 лет, что подписом и приложением печати удостоверяется».

— Кто здесь из Мозолят? — спросил солдат.

— Я из Мозолят, — ответил пожилой мужик с небритой бородой, в нагольной шубе с борами.

У меня глаза затянуло как туманом. Передо мной сидел наш комиссар Бычков.

— Знаешь этого углана? — спросил солдат.

— Как не знать. В соседях живем. Парень — сирота.

— А ты, Степанов, его знаешь?

Я сообразил, что, если сказать, — знаю, меня могут спросить, как его звать, а если сказать, что не знаю, — подведу самого Бычкова. Тот, видя, в каком я оказался затруднительном положении, быстро проговорил:

— Кто в волости не знает Григория Яшманова?

— Правильно, — весело подхватил я подсказку Бычкова. — Как не знать дядю Григория, если соседи.

— Видишь, что делается? — сказал солдат с лычками патрульному. — Не знаете, кого ловить. Патрули, черт бы вас задрал. Иди сам за пропусками, и пусть едут домой. А ты, Яшманов, все-таки в следующий раз бери с собой удостоверение.

Я решил играть до конца и попросил:

— А нельзя за пропуском завтра прийти? Мне еще лошадь ковать надо.

— Негде ковать, — ответили мне. — Все кузнецы удрали. Приезжай денька через три. Расскажи в своей деревне мужикам, что в Никольском власть советская уничтожена и всем безобразиям конец. С часу на час ждем народную армию. Завтра привезут в магазины белый хлеб, ситец, керосин.

Сами себе не веря, что находимся на свободе, мы вышли на улицу. Я дрожащими руками отвязал лошадь и отвел ее от ворот...

Чтобы не нарваться на патруль, я поехал проулками, а не по главной улице. Вот и пост. Раздался дикий окрик:

— Стой! Стрелять буду!

Я остановил лошадку. К нам подбежали два солдата и проверили пропуска.

— Езжай да не оглядывайся! Иначе пулю получишь, — предупредили они нас.

Верст пять я гнал лошадь без передышки. Она уже начала храпеть и брызгать слюною.

В Ивановском нас встретил Андрей Иванович. «За меня беспокоятся», — с благодарностью подумал я.

— Сашка! — обрадовался Панин. — Живой да еще с гостем... Кто такой? Да это ты, Бычков. Бороду отпустил, как Гришка Распутин.

— Сегодня остригу! — шутил Бычков. — Десятому полку оставлю на память.

— Что в десятом полку?

— Бунт подняли против Советской власти.

2

С затаенным дыханием мы слушали рассказ о событиях в Никольском.

— Я приехал туда утром двадцать четвертого, — рассказывал Бычков. — Из некоторых сел уже ушли обозы

на станцию, а в Никольском еще и не думали эвакуироваться. Надеялись на защиту кавалерийского полка. Подводу нашего комиссариата тоже задержали.

Стемнело. На краю села живет у меня двоюродный брат. Я остановил подводу в ихнем комиссариате, а сам пошел к родственнику переночевать. Мы только сели за стол чайку попить, как за окном послышались выстрелы, а тут еще в ворота сильно застучали. Ничего не поделаешь, я бросился в сени и — на чердак. Кто его знает, что за люди ломаются? Слышал, как хозяин открыл ворота и прошел с кем-то в избу. Потом проводил его обратно до ворот. Слышал я, и как этот человек приказывал: «Окна закрыть, свет не зажигать, на улицу не выходить, никого в избу не пускать!»

Я подошел к слуховому окну и взглянул на дорогу. Вижу: из-за угла дома показалась грива лошади, а потом и подвода. Откуда ни возьмись выбежал солдат, остановил подводу, потом выстрелил в упор, и кучер упал в снег. Еще прибежало несколько солдат. Набросились со штыками на сидевших в кошеве. Тут ребенок заревел.

Я отшатнулся от окна, а когда снова выглянул, на дороге уже было пусто. Стрельба в селе прекратилась, только откуда-то слышались слова команды: «Взвод, пли!» Потом залпы.

— Что делать? — продолжал рассказывать Бычков. — Я до утра просидел на чердаке. Когда рассветать начало, опять подобрался к окну и увидел две подводы. На первой ехала Варвара Игнатьевна, на другой Фина Суханова...

— Что с ними? — вырвалось у меня.

— Убили...

Я уже не слышал конца рассказа: как Бычкову удалось выбраться на улицу и каким образом он оказался в комендатуре. Не помня себя, я рванулся к выходу.

— Сашка! Куда? — пытался остановить меня Андрей Иванович. Я оттолкнул его, схватил винтовку и выбежал на улицу.

Часовой на краю села потребовал пропуск. Я оттолкнул его и побежал по дороге в Никольское, в логово мятежного полка. Видимо, узнав меня, часовой не стрелял.

Около села было болото, заросшее чахлым лесом, называли его Подзеленькино. Этим урочищем старые люди пугали ребят. Там, дескать, всякая нечисть водится. Жи-

тели бросали в болотину дохлых кошек, закапывали са-
моубийц в старое время.

Пытаясь пройти в село задворками, я попал в Подзе-
ленькино. Снег кругом был примят. В одном месте из-
под сугроба высовывалась человеческая нога без вален-
ка. Я прибавил шагу. Выбежав на открытое место, уви-
дел кучи трупов. Как шальной, ходил среди них. Увидел
Фину. Она лежала рядом с Варварой Игнатьевной...

Без шапки, — я уже не помнил, где ее потерял, — по
насту через огороды я побежал в село.

На улице не было ни души. Жители попрятались по
домам от своих «избавителей». Но вдаль послышался го-
пот. Патруль. Ехали пятеро, впереди офицер в серой
папахе. Я припал к куче снега у ворот дома, дрожащими
пальцами взвел курок и выстрелил. Передового сразу же
сбил, остальные повернули обратно. Я выпустил по ним
всю обойму патронов... В это время меня чем-то тяже-
лым ударило по голове, и я упал. Помню только, что
надо мной склонилась бородатая физиономия и кто-то
сказал: «Знаю его — из чрезвычайки... строгановский».

Я попытался было встать, но тут на меня навалилось
человек пять солдат, меня избили и связали. Не помню
уже, как я очутился в каком-то сарае.

Придя в себя и оглядевшись, я заметил, что в углу
есть еще кто-то, кроме меня. Окликнул. Ко мне подполз
пожилой крестьянин — вся борода в сосульках.

— Развяжи! — попросил я.

— Все равно смерть! — пробормотал мужик и стал
распутывать узлы у меня на руках. А ноги я уже развя-
зал сам.

— Спасибо, товарищ, — сказал я. — Ты кто? Откуда?

— Из Чермоза я. Дежурил в исполкоме. Сюда ба-
рахло волостное привез, а они всех убили. Когда стали
стрелять, я со страху под розвальни залез и живой пока
остался. Не знаю, за какие грехи меня заарестовали.
Я не по своей воле ехал. И лошадь у меня сдохла на мо-
их глазах... Убили лошадь. А за что? Она — тварь бес-
словесная... — И у мужика голос сорвался.

Мороз все крепчал. Хотя у меня болела спина и ныли
руки, я всеми силами старался как можно больше дви-
гаться, чтобы окончательно не замерзнуть. А крестьянин
снова закутался в армяк, забрался в свой угол и за-
мер там.

— Замерзнешь! — сказал я. — Шевелиться надо.

— А мне все равно, — ответил он. — Уснуть бы совсем до смерти. Живой останусь, так куда мне без лошади? Все равно подышать.

Вечером нас вывели из сарая и, погоняя прикладами, повели к мосту через Обву.

Здесь уже мерзло на ветру человек тридцать таких же, как мы. Вокруг стояли кавалеристы десятого полка. На пригорке у пулемета копошились пулеметчики. На сером в яблоках коне разъезжал офицер в башлыке, играя плетеным кожаным кнутом.

Под мостом чернела во всю ширину реки прорубь.

«Уж не топить ли собираются», — подумал я. Но подумал как-то безразлично, как будто самого меня все эти приготовления не касались. Мысли о собственной смерти не было. Я не представлял себе, что вот живу и вдруг меня не будет. Я был твердо уверен, что враг ничего не сможет сделать со мной и я еще отплачу ему за все. Такое настроение придало силы, я упорно думал, как бы выручить попавших в беду людей. Все они стояли, опустив головы, покорные судьбе. У одного побелели уши, можно было бы снегом оттереть, а он и рукой не пошевелил. Тот, что сидел со мной в сарае, что-то шептал себе под нос. Может, молитву, может, прощался со своей семьей.

Солнце было уже на закате. Мост, наша группа обреченных окрасились в красный цвет. На церкви монотонно стонал колокол...

«Что же бы такое сделать? Что сделать?» — Я с такой силой сжал кулаки, что ладоням стало больно...

Послышалась команда:

— Становись в одну шеренгу, такие-растакие! Пошевеливайся!

Люди топтались на месте. Кавалеристы пустили в ход приклады винтовок и кулаки.

Я встал первым, ко мне молча подтянулись остальные.

— Налево! Шагом марш!.. Стой! — И мы оказались на мосту, а я у самого края его, где на дороге была большая выбоина.

— Раздевайсь! — приказали нам. Пришлось стаскивать с себя верхнюю одежду, валенки. Некоторые делали это быстро, а многие медленно, дрожащими руками и, казалось, неумело... Я тоже сбросил полушубок.

— Штаны скидывай! — кричали нам солдаты. — Пойдешь к рыбам, штаны не понадобятся.

Наискосок моста уже построился взвод с винтовками, к пулемету прильнул наводчик. Перед моими глазами чернел кружок пулеметного ствола. «Нажмет, — думаю, — наводчик рукоятку, и из этого кружка полетят прямо в мою голову пули... Если стоять спокойно, обязательно убьют. Но ведь можно...»

К мосту подъехал офицер, сказал своим:

— Скоро стемнеет. Кончайте эту волюнку. Одежду можно и с мертвецов стянуть.

Когда раздалась команда: «Взвод!», я помедлил секунду и, крикнув «Ложись, товарищи!», прыгнул в выбоину в конце моста. Офицер крикнул «Пли!» — и раздался залп. Пули просвистели высоко над моей головой.

Я метнулся на обочину дороги в кустарник. А рядом был лес.

Я успел заметить, как несколько человек упало с моста в прорубь. Те, что остались живы после первого залпа, бросились врассыпную от моста. Раздались крики, беспорядочная стрельба.

Закатилось солнце. Сгустились сумерки.

Проваливаясь до колен в снег, выбирая твердый наст, я шел и прятался за деревьями, хотя по мне не стреляли и никто за мной не гнался.

Когда мы стояли на мосту, я поморозил уши и лицо, а сейчас, когда бежал по лесу, так разогрелся, что от меня шел пар. Но все сильнее и сильнее сказывались вчерашние побои. У меня подкосились ноги, и я опустился в снег у большой пихты.

Вдруг сверкнула молния, другая, раздался грохот, и через лес с характерным клокотанием понеслись снаряды.

Я вышел на дорогу. На выручку мне ехал Панин с товарищами.

Начался орудийный обстрел Ивановского. Запылали крестьянские избы, раздались вопли женщин, стоны раненых. По дороге мчались к нам эскадроны мятежного полка.

Мы вместе с ивановцами на восемнадцати подводах — было нас около сорока человек — отступили на север в приуральскую тайгу.

ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД

1

*Еду, еду, еду, братцы, еду,
Покидаю край родной...*

И так было тошно, а тут еще кто-то из товарищей пел эту грустную солдатскую песню.

Я ехал вместе с Андреем Ивановичем. В наших саях стоял прикрученный веревками ящик с гранатами. «Стоит только, — думал я, — снять кольцо со своей гранаты — все будет кончено...»

Дорогу перебежал заяц.

— Нет! Будем жить, — вслух проговорил я. — А бандитам — смерть.

Панин строго посмотрел на меня и сказал:

— Смерть буржуям — это правильно. А хорохоришься ты зря. Всем тяжело, Сашка. Много еще прольется крови за Советскую власть. Сиди и молчи. Я тебе говорю!

Нудно скрипели полозья саней. В вершинах деревьев шумел ветер. Иногда хлопья снега с них падали прямо нам на головы.

Ехали до позднего вечера, не останавливаясь. Не попалось нам ни единого хуторка, ни лесной избушки. Только заваленная снегом дорога говорила о том, что в этой тайге, кроме зверя, иногда бывает и человек и что где-то впереди должна быть деревня.

Наконец замелькали огоньки. Лес расступился. Перед нами оказалось небольшое северное село Успенское соседнего уезда.

Здесь еще не знали о восстании кавалерийского полка, к эвакуации не готовились. Но мы были вынуждены прекратить это мирное житье.

Чтобы враги не застали нас врасплох, пришлось вокруг села спешно рыть окопы с ходами сообщений, в лесу устраивать завалы — рубить и валить поперек дорог деревья. Сил своих, конечно, не хватало, мобилизовали население.

Работали всю ночь, а утром мы, ивановцы и местные коммунисты собрались в школе, чтобы обсудить, что делать дальше. Ведь война не минет ни этот северный край, ни село Успенское.

На собрании выступил Ефимов.

— Из-за восстания десятого полка в Никольском мы отрезаны от железной дороги, от наших войск. Нам остается одно — организовать партизанский отряд и всеми способами тревожить противника, покоя ему не давать, бить в хвост и гриву. Нас сейчас уже больше пятидесяти человек. Почти целая рота... Не в лесах же нам скрываться от войны, товарищи, когда нашу рабоче-крестьянскую родину топчут враги.

Предложение было принято. Командиром северного отряда красных партизан мы выбрали Ефимова, начальником разведки — Панина, на хозяйственную часть — Меркурьева, а комиссаром — Бычкова.

Меня вызвали к Ефимову.

— Вот что, Ховрин! Получай боевое задание, — приказал он. — На мельнице у нас будет застава. Тебя назначаю начальником. С тобой бойцы: Чудинов, Охлупин, Бородин, из успенских товарищей Можжев и Леготкин. На мельнице в группу возьми засыпку Ефима Власова. Он коммунист. А сейчас зайди к Панину. Он подробно объяснит боевую задачу.

Мы подождали ночи, стали на лыжи и в кромешной тьме гуськом двинулись по опушке леса на место заставы, за пять километров от села.

Я старался мягче скользить по снегу, не шуршать лыжами. Внимательно прислушивался, но кругом была мертвая тишина. Охлупин, который шел за мной следом, брюзжал:

— Даже артиллерии не слышно. Ясно, что вся губерния в руках белых. Если не попадем к ним, так нас свои расстреляют за дезертирство...

На мельнице работали все три постова. Журчала вода.

Под навесом хрупали сено лошади.

Я заглянул в сторожку. На скамьях и вповалку на полу спали помольцы — хозяева своей мельницы.

Мы поселились в пустом кулацком доме. Расставили посты.

Я прилег немного отдохнуть, но когда брызнули первые лучи солнца, я уже был на ногах.

С одного из постоев привели на заставу незнакомого человека. Это был испитой мужик, обутый в лапти. Из шубы, когда-то покрытой хорошим сукном, смешно, во все стороны торчали клочья ваты.

Он стал у притолоки, вынул из внутреннего кармана очки в золотой оправе, снял малахай, начал истово креститься на передний угол. И уже потом только поздоровался.

— Хлеб-соль милости вашей, дорогие господа! Заждались мы вас, соколиков. В кои-то веки удалось лицезреть своими глазами спасителей православной России от большевистских антихристов...

«В своем ли он уме?» — подумал я.

Власов, сидевший рядом со мной на лавке, многозначительно подтолкнул меня под локоть.

Мужичонка встал на колени перед Охлупиным.

— Ваше высокородие! Не погнушайтесь хлеба-соли нашей. Милости просим вас на хуторок, освободители вы наши. — И он поцеловал руку Охлупина.

Подошел Чудинов и сказал:

— Ошибаешься, старик. Не за тех нас принимаешь.

Тот снизу вверх уставился на офицера.

— Господи! Перед кем, ваше высокородие, скрывать-ся-то? — сказал он. — Видно по одежде, что вы офицер, по выправке. Нам все известно. Пермь уже двадцать пятого числа освобождена от большевиков. Большевики смазали пятки и удрали до Вятки. А которым не пофартило, только до Успенского доползли. Вот и приказывает его высокородие капитан Корочкин своим помощникам: «Господа, говорит, офицеры! Так и так, мол, в Успенском красненькие. Узнайте, что это за красненькие и сколько их. Узнайте, мне скажите, а я, говорит, pošлю туда православное войско, и красненьких всех — к ногтю». — Мужик показал, как это к ногтю.

— Ты кто такой? — грубо спросил Чудинов. — Провокатор, шпион?

— До старости дожил, ваше высокородие, а таких

слов не слыхивал. Кто я такой? Я хозяин здешней мельницы. На хуторе скрываюсь, в скиту. Удостоен знакомства с таким человеком, как Чудинов Григорий Михайлович. Ведь он правая рука господ Мешкова и братьев Каменских.

Чудинов прикусил нижнюю губу, спросил сквозь зубы:

— Где он? Все еще в скитах?

— Григорий Михайлович в Сибирь выехали. У него сынок, слышь, к большевикам переметнулся...

Чудинова передернуло.

— Меня не узнаешь, Севастьян Егорыч? — спросил Власов.

Мельник поглядел на него в упор и перекрестился.

— Свят, свят, свят! Ефимко! Разоритель мой. Как же ты попал в наши белые войска? Это Ефимко Власов, набольший большевик, ваше высокородие. Истинный господь. Хватайте его, хриstopродавца! — и мельник кинулся было к своему бывшему батраку.

— Отстань, падина! — сердито прикрикнул на бывшего хозяина Власов. — Савоська — бывший буржуй и контра... Здесь не белогвардейцы, а советская застава.

Я решил прекратить этот балаган и сказал Бородину:

— Товарищ Бородин! Веди в село к Панину.

— Отдай буксир, старче! — с этими словами матрос взял мельника за шиворот и пинком раскрыл дверь. Чудинов задержал их на пороге.

— Мне с Севастьяном Егоровичем надо поговорить.

— Без разговора обойдется. — сказал я. — Веди, Бородин, мельника... Тебе понятно?

Дверь за Бородиным закрылась. Чудинов сидел у стола и хмурился.

Минут через пять Бородин возвратился.

— Что так скоро? — спрашиваю его.

— Знаешь ли, случилась такая полундра. Отрубил мельник чалку — и самый полный, в скиты спасаться.

— Сбежал? — живо спросил Чудинов.

Матрос ответил:

— Ко дну пошел божественный старичок.

Чудинов вскочил на ноги, брызгая слюной, накинулся на Бородина:

— Тебя расстрелять надо. Не имеешь права убивать военнопленных.

— Какой это военнопленный? Это паразит Савоська, — озлился Власов. — Красных с белыми перепутал. Белых они в скитах ждут не дождутся. Принял нас за белых и опростоволосился. Туда ему и дорога...

Мы выяснили, что в соседнем селе Конец появился карательный отряд в составе ста сабель. Орудует следственная комиссия. Распоряжается в ней лесоторговец Спирия Дудкин. Вся беднота поголовно перепорота шомполами, готовится кровавая расправа над всеми, кто сочувствовал Советской власти.

И вот однажды на рассвете наш отряд рассыпался цепочкой на опушке леса вблизи села.

Каратели жили беспечно. Даже постов на дорогах не было. Им, вероятно, и в голову не приходило, что в глубоком тылу могут появиться красные.

Ползком по глубокому снегу мы подобралась к задворкам. Нас заметили лишь тогда, когда мы просочились в самое село.

Вдоль улицы сыпнули пулеметные очереди. Каратели в одном белье выбегали из домов и, ничего не понимая, сами лезли под пули.

Через час все было кончено. Мы забрали с собой десятка два пленных, в том числе и Спирию Дудкина.

Страшную картину представляло собою село после того, как там похозяйничал карательный отряд. По речке в прорубях стояли раздетые догола, замороженные люди. Заскочивши в один из домов с выбитыми окнами, я в ужасе отшатнулся. На полу в мусоре лежали два детских трупика. В углу в крови сидела едва живая женщина — мать растерзанных ребят. У нее была оборвана нижняя челюсть. Должно быть, кто-то из бандитов расправился с семьей крестьянина, бросив в дом гранату.

Многие крестьяне вступили в наш партизанский отряд. Сопровождать пленных в Успенское было приказано Бородину, а он знал, как их сопровождать...

Через день чуть ли не целый полк карателей насел на Успенское. Мы вынуждены были отступить дальше в тайгу. Через сутки попали на глухой кордон на границе с Вятской губернией и построили шалаши и землянки.

В лесу было тихо. По снежным кронам елей прыгали какие-то зимние птички. Из дебрей на дорогу выбегали зайцы. И только треск деревьев от мороза, похожий на выстрелы, напоминал, что идет война.

Землянка у Меркурьева была сделана основательно. Дверь обита мешковиной с сеном, чтобы было теплей. У стенки добротный стол на березовых столбиках.

Собравшись в меркурьевской землянке, мы обсуждали новый план действий отряда. Пригласили лесообъездчика, жившего отшельником в тайге. Он в лесу был как дома, знал все скрытые тропки и все ближние селения.

— Недалеко, верст за семьдесят отсюда, есть женский монастырь, — объяснял он нам. — Богатейший! Дорога, конечно, туда плохая — никто не ездит, а у вас кони добрые и по насту промнут дорогу...

— Надо съездить туда, — предложил Ефимов, — небольшой группой, человек в десять, и разведать обстановку.

Командиром группы назначили Бородину. Из строга-новских в число бойцов зачислили меня и Чудинова с Охлупиным.

Ехали мы день и ночь. И только утром следующего дня открылся перед нами, как на картинке, женский монастырь.

Большая каменная церковь, многочисленные службы, поселок из двухэтажных красивых домов — все это раскинулось на хорошем месте, под защитой горы от северных ветров. Христовы невесты умело выбрали себе местечко.

Мы остановились под прикрытием леса за полверсты от монастыря, и я отправился в разведку.

Обойдя поселок с горной стороны, выбрал я укромное местечко и стал наблюдать за улицей.

В церковь тянулись черные фигуры монашек. С палкой в руке брел нищий. Из монастырского дома вышли два человека в незнакомой одежде мышинного цвета. Головы закутаны платками, а поверх — серые шапочки набекрень.

Я переполз по снегу на другое место, чтобы посмотреть, что происходит в конце поселка. Выглянул из-за елки и отпрянул: по дороге ходит третий в сером. В руках у него ружье. Ясно стало, что это часовой, а те двое тоже военные.

«Только, что за чучело? — удивился я. — Шинель до

колен, на длинных, худых, как палки, ногах обмотки. Ботинки обвязаны тряпками. Не ноги, а колотушки».

К этому часовому подошла женщина с мальчиком, показала рукой на церковь, и часовой ее пропустил.

У меня сразу созрело решение. Выбравшись на дорогу, я спокойно зашагал к монастырю. Часовой, заметив меня, издали крикнул что-то на незнакомом языке. Я подошел поближе и, по примеру женщины-богомолки, тоже указал на церковь.

— Богу молиться, в церковь иду.

Часовой заулыбался и проговорил, как попугай:

— Костел, бог.

Посторонившись, он пропустил меня в поселок.

В церкви я купил свечку и осторожно, чтобы не потревожить молящихся, пробрался вперед, к клиросу. Поставив свечку у какой-то иконы и положив земной поклон, начал «молиться»...

В первых рядах стояло местное начальство, впереди всех — военный в голубой шинели, с нашивками на рукавах. Стоял он, вытянувшись в струнку, но не крестился.

Обедню служил молодой священник. Несмотря на его длинные космы, я неожиданно признал в нем бывшего чертежника изыскательской брандвахты Колокольниковова. Каждый раз, когда он выходил на амвон, он бросал взгляды в мою сторону.

«А вдруг выдаст?» — подумал я и решил немедленно удирать. Незаметно вышел из церкви и спросил на паперти нищую:

— Где, бабушка, отец Федор проживает? Не знаешь?

— Батюшка? — Старуха подняла клюку. — Видишь, сынок, первый дом с краю? Там и есть в первом этаже.

Я дал нищенке керенку.

— Спаси тебя Христос. За кого молиться-то?

— За раба божия Пентефрия, — ответил я и зашагал к дому Колокольниковова.

Мой расчет был простым. Если Федор донесет на меня, начнутся поиски. Во всех домах перешарят, а в квартиру попа зайти не догадаются. Если сам придет да шум начнет поднимать, так кулаки у меня не поповские, а бурлацкие.

В дом меня впустила старуха-монашка. Я сказался школьным товарищем отца Федора.

Сел к окну и стал выглядывать на улицу из-за косяка. Каждый раз, когда мимо проходили солдаты, мне казалось, что это за мной, что меня уже ищут.

Стукнула калитка. Я приготовился к защите.

Открылась дверь, явился сам хозяин и, к моей радости, без «хвоста». Он сбросил шубу и весело приветствовал меня:

— Здравствуй, бывший сослуживец! Куда, думаю, он из церкви девался? А ты у меня. Вот это славно! Мать Маремьяна, ты больше мне не надобна.

Монашка отвесила поясной поклон и ушла.

— Как ты сюда попал, Сашка? — стал допрашивать меня поп. — Белый ты или красный? Хотя мне все равно. Старые сослуживцы никогда не забываются.

— Слушай, Федя! — прервал я его излияния. — Как мне выбраться отсюда?

— Невозможно. Чехи никого не выпускают из поселка. Сюда — милости просим, а обратно — нельзя. Больше ста человек накопилось пришлого народа. Все подворье набито битком. А тебе куда торопиться? Погости недельку-другую.

— Нельзя, Федя! В другой раз, после войны, отгостимся. А сейчас меня ждут товарищи, — объяснил я.

— Товарищи? Значит, ты красный. А тебе я все-таки помогу.

Колокольников ударил себя по колену.

— Запряжем жеребчика и поедем. Я — как поп, а ты — как псаломщик. На требу! У меня хотя небольшой, да приход.

Мне пришлось согласиться. Колокольников порылся в шкафу, и на столе появилась бутылка.

— Что это?

— Вино. Кровь Христова.

Я выпил стакан кагора. Колокольников допил остальное прямо из горлышка бутылки. На щеках у него заиграл румянец, глаза подернулись влагой. Он попросил:

— Не забудь, Сашка, моей услуги. Когда придут красные, исходатайствуй для меня приход доходный. Чем я не поп?

— И вовсе ты не поп, Федя.

— Правильно! — согласился он. — Поп я ерундовый... Мать Маремьяна! — крикнул он в коридор. — Запряги жеребца в новую кошеву. Соборовать едем.

Колокольников достал из шкафа вторую бутылку, но я отобрал ее. «Напьется, — думаю, — и попадешь к вражьей стенке».

Мать Маремьяна быстренько запрягла коня. Мы уселись в уютной поповской кошевке и тронулись со двора.

Солдат на посту, узнав батюшку, приложил руку к виску и пропустил нас без единого вопроса.

— Сейчас можно, — сказал Колокольников и снова вытащил бутылку. Запрокинув голову, он вытянул все ее содержимое до дна.

Сколько было удивления, восторгов и шуток, когда пьяный Федя подвез меня к оставленным в лесу партизанам. Он рассказал о положении в монастырском поселке. Оказалось, что после нашего отъезда из Успенского туда прибыл на постой чехословацкий полк, в котором, кроме чехов, были латыши и русские казаки. В монастыре у них комендатура, всего восемь человек. Склады монастыря ломаются от продовольствия.

— Даже папиросы держит мать игуменья, — рассказывал Колокольников, — и николаевскую водочку, а сука — так всему вашему войску хватит на портянки.

Колокольников подробно объяснил нам, где у чехов комендатура, казарма, где посты, и в заключение предложил:

— Освободить надо святое место от иноплеменников, благодарственный молебен отслужу.

— Святое-то гнездо надо ко дну пустить, — заявил Бородин, — а задержанных в монастырском подворье освободить придется.

— Неужели ты без приказа командира отряда решишься сделать налет на монастырь? — спросил Охлупин.

— Там сейчас восемь солдат, а пока мы будем ездить в отряд да обратно, станет сотня, — возразил Бородин. — Отдать концы — и на всех парах в гости к христовым невестам!

Под вечер мы просочились в монастырский поселок и всех солдат захватили живьем без единого выстрела. Сумел скрыться только сам комендант, которого я утром видел в церкви.

На наши и монастырские подводы монашки и пленные грузили продовольствие и трофейное оружие.

Вдруг выяснилось, что нигде нет ни Охлупина, ни Чудинова.

— Сбежали, шкуры! Удрали вместе с комендантом. Ведь рядом-то чехословацкий полк. Ну да ладно! Хоть Россия и велика, а ни один предатель от нас не скроется. В земле найдем, — заявил Бородин. — Все гады получают по заслугам.

Пришлось быстро выехать из монастыря.

На возу со мной сидел пленный словак. Он часто курил, и, когда подносил спичку к трубке, его рука дергалась, на лице дрожали мускулы. Я спросил:

— Ты кто такой?

— Работный человек. Фабрика, — ответил он по-русски.

— Как попал в Россию?

Словак рассказал, что он был в плену в Сибири. После революции пленные хотели ехать на родину, а большевики, дескать, не пустили, и чехословаки стали воевать с большевиками.

Я как мог объяснил, что это неправда, что враги революции вроде генерала Гайды да английские и американские капиталисты обманули простых солдат и втавили их в войну против русского трудового народа...

Внимательно слушал меня пленный и о чем-то тяжело думал.

Рискуя до смерти загнать лошадей, мы без остановок мчались по лесу. Стали раздаваться голоса:

— Пристрелить пленных, чтобы легче было.

Бородин отцепил от пояса гранату, вставил капсюль и предупредил:

— Если будете бить пленных, гранату брошу! Чтобы я больше не слышал таких разговоров. Надо различать, кто пленный, а кто гад!

Когда мы приехали в лагерь, партизаны окружили обоз и с любопытством разглядывали пленных.

— Немцы, должно быть, или англичане?

— Какие немцы! Я немцев знаю, а таких не видывал.

— Вон чего бедняга на ноги-то намотал...

Мы собрались у Меркурьева и доложили командирам о выполнении задания. И как хохотал Меркурьев, когда я рассказал о похождениях монастырского попа! А Панин сидел у печки, курил монастырские папиросы и хмурился.

— Ни одному царскому офицеру верить нельзя. И поп Федька продаст за милую душу. Эх, мало я перебил их, сукиных сынов.

После доклада я пришел в свою землянку и с наслаждением растянулся на койке, убранной пихтовыми ветками. Только-только начал засыпать, как за дверью раздались крики. В одной рубашке я выскочил из землянки. Оказывается, задержали дезертира. Захватив порядочный запас продовольствия, один из партизан пытался уйти в лес.

Дезертир предстал перед Паниным.

— Чем недоволен? — спросил его Андрей Иванович.

— Воевать не желаю. Была надежда на поручика Чудинова, да обманулся я в ём. Сам убежал, а меня оставил...

— Какое ты к нему имеешь отношение?

— В пятнадцатом году у него в денщиках состоял...

Его расстреляли перед строем.

— Холуя уничтожили, а хозяева улизнуть успели, — сокрушался Панин.

РАЗГРОМ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА

I

Отряд все время пополнялся. К нам выходили из лесов коммунисты и советские работники северных уездов, отрезанных наступающей армией Колчака, бойцы 29-й стрелковой дивизии, разбитой белыми. Нам стало тесно на кордоне. Мы перебрались в поселок женского монастыря.

Наши боевые группы «гуляли» далеко за пределами партизанского района и обильно снабжали отряд оружием и боеприпасами.

Война перекинулась в Вятскую губернию, а мы сидели, как говорил Панин, на заливке у Колчака.

В начале января нашей разведке удалось связаться со штабом 29-й дивизии, и отряд включился в общий план разгрома колчаковщины.

Ефимов получил приказ освободить село Успенское.

Отряд выступал в полночь. Командиры выводили бойцов на площадь. После переключки они рассаживались по подводам и взвод за взводом выезжали из монастырского поселка.

Пришла и моя очередь. Я сел с Меркурьевым. Когда выехали за околицу, к нам бросился какой-то человек. Не успев вскочить в розвальни, он упал на дорогу, схватился за веревочную решетку розвальней и потащился волоком. Меркурьев по-медвежьи схватил его за шиворот и втащил на сани. Бедняга расправил воротник, и на нас глянула бородатая физиономия монастырского попа Колокольникова.

— Ты что придумал? — заворчал Меркурьев. — Мы не на богомолье поехали, а воевать.

— И я с вами. Без красных оставаться в монастыре боязно. Старухи за молитвы во здравие Советской власти мне глаза выцарапают. Я вам не помешаю. У меня и оружие имеется. — Колокольников вытащил из-под полы старинный «бульдог» с огромным барабаном и направил его на Меркурьева.

— Убери пушку, долгогривый. Где взял?

— У чехов на кагор выменял.

— Что же с тобой делать? — спросил Меркурьев с недоумением.

— А ничего... Поеду с вами и буду воевать... Жизнь моя бестолковая. Ховрин знает. Отец был захудалый дьякон, семья — семеро ребят. Сам я с детства пошел в люди. Учился в ремесленной школе, работал кровельщиком, столяром, матросом, чертежником. В семнадцатом попутал нечестивый — стал я сдавать экзамены на священника. У нас от отца к сыну переходила в наследство физгармония, я Сашке уже рассказывал, — и отец завещал ее мне, старшему сыну, если я выйду в попы...

— Где же, Федя, твоя физгармония? — спросил я. — Я что-то у тебя ее не видел.

— Нету. Когда я держал экзамены на священника, братья променяли ее на хлеб... Не гоните меня.

— Ладно, сиди! — согласился Меркурьев. — По-моему, ты, отец Федор, просто недотепа.

— Верно! — согласился Колокольников. — Мы с Александром Ховриным вместе на брандвахте бурлачили. Увидел я его нынче — душа перевернулась. У всех есть в жизни цель, у Сашки есть, у тебя, у многих. А у меня ничего нет. Решил я снять с себя священнический сан.

2

Отряд остановился за полверсты от Успенского. В тишине, проверив оружие, партизаны на лыжах один за другим исчезали в ночной темноте.

Нашей группе, под командованием Меркурьева, выпала задача — уничтожить полковую штаб-квартиру.

Где ползком, где перебежками, мы благополучно добрались до дома, в котором помещалось полковое на-

чальство. На крыльце стояли двое часовых. Не успели они опомниться, как Меркурьев схватил их за воротники, ударил лбами и отбросил в разные стороны.

— Ховрин, за мной! — шепотом приказал Меркурьев. — Остальные — на лестнице...

В доме мы, «сняв» дежурного офицера, захватили командира полка спящим. Несколько офицеров пытались оказать сопротивление. Раздавалась стрельба, крики белых о помощи. В маленьких комнатах негде было развернуться. Пошли в ход кулаки, тяжелые вещи, рукоятки наганов, приклады винтовок...

Покончив со штабом, мы выбежали на улицу, где уже трещали все наши четыре пулемета и раздавались винтовочные залпы.

Начало светать. На улице появились вооруженные солдаты. Они во весь рост перебегали через улицу, окружая нашу группу. Но где-то рядом затокал пулемет. Солдаты, как подкошенные, стали валиться в снег. К нам прибежал связной и передал приказ:

— Пробиваться к церкви, беляки там засели.

Выполняя приказ, мы не раз попадали под огонь противника. Стрельба шла с колокольни и из окон церкви. Во время минутной перебежки погибла половина нашей группы. Мы зарылись в снег.

И вдруг огонь с колокольни прекратился. От наступившей на миг тишины стало больно ушам.

С колокольни упал человек и разбился насмерть.

В церкви зазвенели стекла, в разбитые окна понеслись оттуда крики сотен людей и ружейная трескотня.

— Сами себя лупят, — догадался Меркурьев. — Своя своих не познаша.

В амбразуре колокольни взвился красный флаг. С пением «Марсельезы» из церкви вышли солдаты.

Опасаясь провокации, мы по-прежнему лежали в снегу, крепко сжимая в руках оружие. Поднялся во весь рост один только наш командир. Он крикнул:

— Стой!

Над головами подходивших просвистели пули предупреждающей пулеметной очереди, от пуль жалобно зазвенели церковные колокола.

От солдат отделился человек и, размахивая белым платком, приблизился к нашей цепи.

— Товарищи, не стреляйте! Мы латыши! — прокричал он.

Из сугроба поднялся Панин и побежал навстречу парламентарю...

Как львы, дрались перешедшие на нашу сторону латыши. Несмотря на приказ Ефимова не допускать бесполезного кровопролития, латыши не оставляли в живых ни одного беляка.

Взошло багровое солнце. В селе полыхали пожары. Тушить их было некому.

Партизаны грузили на подводы трофейное оружие, архив уничтоженного полка.

За селом на лесной прогалине копали братскую могилу.

Когда начался траурный митинг, появился Колокольников. Он был весь в снегу, истрепан и страшен. Тащил волоком на веревке полуживого человека.

Панин остановил Колокольникова.

— Кого приволок, святая душа?

— Иуду Искарриота, предателя, — ответил Колокольников. — Из штаба выскочил, в тайгу побежал, к лошадям пробирался. Тут я его и накрыл, раба божьего.

— Поверни-ка вверх лицом.

Колокольников грубо перевернул своего пленного на спину. Хоть и донельзя было искалечено лицо пленного, но Панин узнал его. Это был бывший поручик Охлупин...

Под грохот салюта первой роты мы похоронили своих товарищей. Чтобы над телами их не надругались враги, всю площадь завалили снегом.

ПУТЬ К УРАЛУ

1

После разгрома белогвардейского полка Ефимов получил приказ пересечь границу губернии, выйти на железную дорогу и соединиться с регулярными частями Красной Армии.

Мы шли из тыла белых. Чем ближе к фронту, тем труднее было пробиваться вперед. В непрерывных боях потеряли больше половины людского состава. Часто голодали. Забыли счет дням и ночам. Я во время этого трудного похода научился спать на ходу. Идешь, тычешься носом в спину товарища и даже видишь интересные, красивые сны.

Часть пленных — бывшие батраки и рабочие — получили оружие и вместе с нами переживали все трудности похода.

Андрей Иванович Панин нашел среди них приятеля, чеха, бывшего машиниста с фабрики, и до хрипоты спорил с ним о преимуществе дизеля перед паровой машиной. А о том, какой строй лучше — капиталистический или советский — споров между приятелями уже не было.

В конце января мы вышли, наконец, в расположение своих частей. Нас поставили на отдых недалеко от станции Бор, возле города Глазова.

В пристанционном поселке разместилась третья бригада седьмой дивизии, только что прибывшая из центра для защиты Перми. Панин ворчал:

— Надо было в декабре послать войска в помощь 29-й дивизии, тогда бы, может быть, и Пермь не сдали. Явились после драки кулаками махать.

Однажды Панин предложил мне:

— Съездим в бригаду, поглядим, что это за вояки живут в поселке на Бору?

Оседлав лошадей, мы отправились на станцию. У вокзала прямо на снегу валялись в беспорядке станковые пулеметы, патронные ящики и прочее. Возле груды военного имущества сидел часовой и... подшивал валенок. В сторонке у ящиков стояла его винтовка.

Когда мы подъехали, он вскочил на ноги и закричал:

— Куда прешь! — и разразился такой руганью, что я и от бурлаков не слыхивал.

Панин, наклонившись в седле, схватил за штык винтовку часового и дал шпоры коню. Часовой пустился было бегом за нами, а потом махнул рукой и сел на свой пост.

С «трофеем» мы въехали в поселок. По улице шлялись неряшливо одетые военные. Мы спросили у одного:

— Где найти командиров?

Военный заулыбался во всю рожу и ответил:

— У комбрига в очко режутся.

— Где штаб?

— В школе...

Охраны у штаба не было. Никто нас не встретил. Мы привязали лошадей и вошли в школу.

В одном из классов мы услышали голоса. Панин приоткрыл дверь и спросил:

— Можно войти?

— Минуточку! — послышался ответ.

Я заглянул через плечо Панина. За школьным столом сидело четверо военных. Один пожилой, остальные — безусая молодежь. Они спешно совали по карманам карты, деньги.

Панин перешагнул порог, я за ним.

— Начальник разведки партизанского отряда Панин! — отрекомендовался он хозяевам.

— Я — комиссар полка Мудрак, — не вставая со стула, сказал пожилой. — А это мои товарищи: комиссар бригады Тринкин, комиссары полков, как я, Гриша Мазурин и Степка Соловей.

Бригадному комиссару было лет двадцать, а Грише со Степой и того меньше. Комиссар бригады Тринкин встал, одернул гимнастерку, поправил желтые ремни и недовольным тоном заметил:

— Мне не нравится, когда в штаб бригады являются без вызова.

— А наш отряд не подчинен вашей бригаде, — ответил Панин. — Мы приехали сюда, как соседи.

На лице Тринкина заиграл румянец.

— Я этого не знал, товарищи. Прошу садиться.

Панин угостил комиссаров монастырскими папиросами и рассказал, каким образом он захватил у часового винтовку.

Поднялся неистовый хохот. Тринкин взял трубку телефона.

— Штаб-квартира? Пузырьков, ты? Топай сюда! Аллюр три креста!

В класс вошел воин. К какой он принадлежал армии, догадаться было невозможно. Одет в черкеску, на открытой груди вытатуирована нагая женщина, на голове что-то вроде папахи. За ремнем штык с красным бантиком. Открыл он дверь, не попросив разрешения, и спросил развязно:

— Чего надо?

— Снеси винтовку часовому на станцию.

— А пошто?

— Не пошто, а отдай ему винтовку, пока смены нет. Попадет от командиров, если узнают, что часовой винтовку проворонил. Неси!

— Товарищ комиссар бригады! — обратился Панин к Тринкину. — Того часового, что на посту подшивает валенки и не дорожит оружием, надо привлечь к военному суду, а не возвращать ему потерянную винтовку.

— Брось, товарищ Панин, — возразил Тринкин. — Пусть дисциплиной командиры занимаются, а мы — комиссары, наше дело — политика.

— А это разве не политика? Как же, выходит, у вас поставлена политическая работа? — спросил Панин. — Коммунисты в полках есть?

— Есть, — ответил Тринкин. — Какая же Красная Армия без коммунистов? В одном полку у нас целых три члена партии, а в другом пять человек. Только в третьем, кроме комиссара Степы Соловья, кажется, коммунистов нету.

— А вы откуда сами-то? — с плохо замаскированным ехидством спросил Панин.

Тринкин не понял и невозмутимо ответил:

— Из разных мест. Товарищ Мудрак, например, из Камской дивизии. Командовал батальоном. Прощтрафился немного, ну его и послали на исправление в нашу бригаду комиссаром полка.

— Ничего я не прощтрафился, — заговорил Мудрак. — И из партии меня исключили неправильно.

— Постой, постой! — остановил его Панин. — Тебя, говоришь, из партии исключили...

— Батальон разбежался, а я при чем?..

Молодые комиссары подняли хохот. Тринкин сказал сквозь смех:

— Товарищ Мудрак единственный в своем роде беспартийный комиссар.

— Ничего подобного! — серьезно запротестовал Мудрак. — Я не беспартийный, а исключенный из партии. Это большая разница.

По лицу Панина пробежала мрачная тень. Еле сдерживая себя, он сказал:

— Ну что ж! Вроде бы наговорились. Поехали, товарищ Ховрин!

Когда мы садились на коней, Панин возмущался:

— Какая может быть у них дисциплина, если в полках коммунистов нет, комиссарами малые ребята да «мудраки», исключенные из партии. Черт знает что!

Проезжая мимо вокзала, мы натолкнулись на строевые занятия. На перроне стояла шеренга солдат с винтовками. Возраст их был самый разный. Рядом с мальчишкой топтался бородач. Винтовки держали они каждый по-своему: кто у левой, кто у правой ноги, кто к себе затвором, кто от себя.

Командир вызвал из шеренги «старичка».

— Как стоишь? Как держишь винтовку?.. На пле-е-е-чо!

Воин лениво поднял винтовку на правое плечо вверх затвором и заулыбался: знай, мол, наших, как я умею держать на плече «оружию».

— Ты пожилой человек, — возмущался командир, — неужели никогда в армии не служил, неужели в руках винтовка не бывала?

— На войне не бывал, — ответил воин. — В германскую маслобойный заводик содержал. Некогда было воевать-то. Первый раз на войне. Винтовку даже заряжать-то не знаю с какого конца.

— Как же ты будешь воевать?

— А мне наплевать на твою войну. Сам воюй, если желание имеешь.

Остальные, нарушив строй, сбились в кучу вокруг своего командира и расшумелись:

— Приварка нет, а с ружьями гоняют.

— Если хочешь, мы всю твою Вятскую губернию отдадим адмиралу Колчаку.

Командир вырвался из толпы и приказал:

— Становись! Стрелять буду!

— Всех не перебеешь! — заявил пожилой, из-за которого началась вся суматоха. — Пошли, ребята, отдыхать. Ну его к богу. — Он перед носом командира воткнул винтовку в снег и зашагал прочь от вокзала.

Не вытерпело сердце партизана.

— Назад! — крикнул Панин и пригрозил гранатой.

Толпа остановилась в оцепенении.

— Станови-и-ись! — прогремел Панин.

Когда все покорно выстроились, к нам подошел их командир и заявил претензию:

— Кто вы такие? Какое имеете право вмешиваться не в свое дело?

— Ты помалкивай! — сказал ему Андрей Иванович. — Один на один я бы научил тебя командовать, а при этих неудобно... Слушайте, вы! Больше чтобы не бужить, а не то!.. Занимайся, командир, да не забывай партизана Андрея Панина.

2

По приезде из «гостей» мы усилили охрану отряда, а деревню, где стояли на отдыхе, опоясали окопами. Было ясно, что на станции Бор стоят не наши красноармейские полки, а разный антисоветский сброд. И только после приезда на фронт комиссии Центрального Комитета партии и Совета Труда и Оборона полки эти были профильтрованы, липовые комиссары и командиры заменены опытными, боевыми, преданными власти командирами.

Решалась судьба нашего партизанского отряда, переведенного к тому времени на станцию Бор. Мы со дня на день ожидали, что наш отряд прикомандируют к одному

из полков 29-й дивизии, которой в то время командовал товарищ Ануфриев, любимый командир красноармейцев.

Однажды над станцией появился аэроплан. Наш или не наш? Кто его знает! Все население поселка высыпало на улицу, чтобы поглядеть на невиданное чудо.

Аэроплан кружился над станцией. Сделав несколько кругов, пошел на снижение.

— Садится! На землю садится! — раздались крики любопытных. Вдруг от аэроплана что-то отделилось и с визгом пролетело над нашими головами. Около вокзала раздался оглушительный взрыв. Аэроплан скрылся за лесом.

Не успели мы потушить начавшийся от бомбы пожар, как воздушный хищник снова появился над поселком. Под защитой железнодорожной насыпи мы открыли по нему винтовочную стрельбу.

Вдруг что-то грохнуло рядом со мною. Перехватило дыхание. Стало невыносимо больно ушам, и я потерял сознание.

Очнулся в полумраке и жуткой тишине. Кто-то потрогал меня за руку и сунул под мышку стеклянную трубочку. С головы снимали какую-то повязку. Я лежал на постели, которая почему-то раскачивалась. Спросил:

— Где я? Что случилось?

Но я не слышал ни своего голоса, ни ответа окружающих меня людей в белых халатах.

Девушка с красным крестом на рукаве достала из кармана бумажку, карандаш и написала: «Вы в санитарном вагоне, и не кричите — здесь раненые».

Через сутки меня привезли в Вятку и положили в госпиталь.

Вскоре я получил письмо от своих товарищей. Когда мне принесли его, я попросил распечатать и с трудом прочитал: «Здравствуй, дорогой наш товарищ Ховрин! Как ты себя чувствуешь, а мы живем хорошо. Отправляют нас, кто бурлаки и водники, на Каму готовить флот для разгрома белых. Вся сила на нашей стороне. Скоро откроется навигация, и мы покажем им, где раки зимуют. Ни одного врага не выпустим с Камы-реки, будь то англичанин или русский белогвардеец. Адрес твой мы знаем и будем писать. Скорей выздоравливай и приезжай к нам во флот...»

Внизу письма была приписка: «Здорово ты подкачал,

старый бурлак». Конечно, кроме Андрея Ивановича, некому было сделать такую приписку.

«Действительно, подкачал, — с болью в сердце думал я. — Ранили не в бою с врагом, а далеко от фронта, и совсем глупо. Лежи теперь в госпитале, когда товарищи проливают кровь, очищая путь к Уралу. Уж лучше бы убили наповал...»

Медленно, тягуче шли дни. На двор пришла весна, а я все еще лечился в госпитале. Слух восстанавливался очень медленно, в связи с этим я стал терять речь. Ни днем, ни ночью не знал покоя. «Неужели глухонемым стану? Неужели до конца войны буду околачиваться по лазаретам?» Довел себя до того, что не мог спать, плохо ел, исхудал.

— Верните мне слух! — пытался кричать я врачу. — На фронт отпустите или отравите. Не хочу быть бесполезным человеком.

Напичканный лекарствами, исколотый шприцами, я иногда забывался в недолгом кошмарном сне.

Однажды накричал на молодую, ухаживавшую за мной сестричку Шуру. Та отвернулась к окну и заплакала.

— Прости меня, Шура!

Она написала на бумажке: «Я не о том, я не обижаюсь. Все раненые одинаковы. Мне за вас обидно. Вы сами себя губите...» И быстро вышла из палаты.

После этого случая я стал беспрекословно подчиняться всем требованиям сестры Шуры. Крепко подружился с ней. Она приносила мне книги, газеты, бумагу. Я описал ей, как погибла Фина Суханова. Сколько слез пролила Шура украдкой от меня и от врачей.

Пятого мая наши войска освободили Бугуруслан, белые готовились эвакуировать Уфу, очищен Глазов. А я все еще не могу выйти из больницы!..

Мне сделали последнюю — которую уже! — операцию. По глазам Шуры, когда меня принесли из операционной, я понял — или буду совсем здоровым или калекой на всю жизнь.

Молодость победила. Раз утром я, к радости своей, услышал сквозь раскрытое окно пение жаворонка. Я соскочил с кровати, закутался в одеяло и выбежал в коридор.

— Шура! Я слышу, слышу, слышу!

Шура бросилась ко мне и обняла, смеясь и плача.
Настал день, когда меня выписали из госпиталя. Мы с Шурой до вечера гуляли по городу. Потом у нее пили чай с сахаринном. И проговорили чуть не до утра. Она ушла в госпиталь, а меня по привычке потянуло на реку.

3

Речники формировали отряд для отправки на Каму. Мне только этого и надо было. Разыскал штаб и записался в отряд. Мне выдали флотское обмундирование.

Гуляя в городском саду с орденом Красного Знамени на форменном бушлате, в брюках клеш, я с удовольствием замечал, как на меня заглядываются местные красавицы, но думал только о сестричке Шуре.

Перед самой отправкой отряда нам объявили о медицинской комиссии. К врачам я явился одним из последних. Благополучно миновав почти всех врачей, я с замираньем сердца вошел в кабинет уха, горла, носа.

Доктор усадил меня на стул и начал внимательно осматривать.

— У вас была операция?

Пришлось сознаться.

— Правое ухо у вас совсем в порядке, — успокоил меня доктор. — Посмотрим левое... Хорошо! Встаньте, отойдите к стене.

Я отошел шагов на пять.

— Повторяйте за мной... — Доктор говорил что-то шепотом — я ничего не слышал.

— Подойдите поближе, — сказал доктор. — Закройте рукой правое ухо... Слышите?

— Очень хорошо слышу, — ответил я, хотя ни капельки не слышал.

И только когда доктор стал говорить громко, я несколько слов повторил правильно:

— Два, тридцать, восемь, девять...

— У вас нет и двадцати процентов слуха, молодой человек, — объявил мне приговор доктор. — К военной службе не годен...

Закружилась голова. Я опустился на диван. Запахло нашатырным спиртом.

— Ничего, ничего. Не волнуйтесь, — успокаивал меня доктор.

— Напишите заключение, что я годен, — стал я умолять его.

— Нельзя. И не упрашивайте... У вас вот и нервы не в порядке. Удивляюсь, как вас невропатолог пропустил... Кто следующий?

Не помня себя, я вышел из кабинета. Потребовал в канцелярии, чтобы мне возвратили мои документы. Писарь, улыбаясь, сказал:

— Поздравляю! Счастливый ты человек. Освобожден с белым билетом.

— Катись ты к черту, тыловая крыса! — бросил я ему в лицо и выбежал на улицу.

Меня поджидала Шура.

— Ну, как? — спросила она. — Благополучно?

— Негоден, — ответил я со слезами в голосе.

Мы сели на лавочку. Шура положила мне руку на плечо и сказала:

— Я не знаю, что со мной делается, Саша. Я и рада, что тебя не пускают на фронт, и не рада... Понимаю, что тебе обидно...

— Пока не разбит враг, Шура, не может быть личного счастья... А я все равно доберусь до Камы. Там видно будет, годен или не годен...

Простившись с Шурой, я отправился на берег Вятки, где блиндированный пароход отряда речников уже готовился к боевому рейду.

Разыскав командира отряда, я поведал ему о своей неудаче. Командир с улыбкой постучал себя по бедру. Вместо ноги у него была деревяшка.

— Ты бурлак? Вставай, братишка, к штурвалу, и наплевать на докторов. В лыжники мы с тобой не годимся, а на пароходе, да еще на боевом, как рыбы в воде...

По партизанской привычке командир Громыхалов решил начать боевой рейд темной ночью.

Матросы выкачали якорь. Я стал к штурвалу. Пароход тихим ходом сделал поворот. К борту пристала лодка с последними товарищами. Среди них — женщина с большой сумкой через плечо.

Мы вышли на фарватер. Капитан заткнул деревянной пробкой переговорную трубу, поглядел за борт, подошел к штурвальной рубке и закурил.

— Вы раньше на Каме служили? — не удержавшись, спросил я капитана.

— Двадцать восемь навигаций! — ответил он.

— На каких пароходах? Где?

Оказалось, что служил он везде и на многих пароходах. Хорошо знает моего дядю Ивана Ховрина, Меркурьева, Заплатного и многих других старых бурлаков.

— Плюснин моя фамилия. Илья Ильич Плюснин. Может, тоже слышал? Старик я, но придумал перед смертью повоевать. У меня два сына в Красной Армии...

Плес был мирный. На бакенах около невидимых островков, на перевальных столбах ярко горели путеводные огни. Впереди парохода по тихой воде бежал пучок света от фонаря на мачте. И только трехдюймовая пушка на носу парохода, закрытая брезентом, напоминала о том, что мы не на увеселительной прогулке.

Через несколько верст прямой плес кончился, река стала шарахаться из стороны в сторону. Пришлось до боли напрягать зрение, чтобы в темноте не наскочить на залитый внешней водой берег.

Утром после вахты, донельзя уставший, с отеками ногами, я с трудом спустился на нижнюю палубу и столкнулся... с медицинской сестрой Шурой.

— Ты откуда появилась? — не веря своим глазам, спросил я.

— Из каюты, — ответила Шура. — Для медпункта дали отдельную каюту. Я еще раньше тебя попросилась из госпиталя в отряд и знала, что ты от отряда не отступишься... Что ты бледный какой?

— Ночь не спал, с непривычки. Разнежился в госпитале.

— Голова не болит? — она приложила руку к моему лбу. — Шалишь, мальчик. У тебя температура. Давай-ка в каюту!..

Когда пришли в каюту — Шуруину медчасть, она дала мне градусник и стала рыться в аптечке. Пока она искала какие-то порошки, я быстро опустил градусник в стакан с горячим чаем, потом вытащил и по больничной привычке сунул его под левую руку.

Я привык видеть Шуру в белом халатике, в косынке. Тогда лицо у нее было круглое, а сейчас, в домашнем платье, без косынки, с гладкой прической, она напоминала мне чем-то Фину Суханову. Такое же продолговатое лицо, такие же бойкие карие глаза, такой же прямой нос, ямочка на подбородке.

Я подал Шуре градусник. Она взглянула на шкалу и изменилась в лице.

— Ложись! Сейчас же ложись! У тебя температура чуть не сорок три градуса.

— Не может быть! Нормальная же. Я ведь чувствую. — Но тут мне стало стыдно. — Прости, Шура! Я градусы-то в стакане нагнал.

— Фу ты! А я до смерти перепугалась... Как хорошо!

— Больше никогда не буду.

— Ладно. Только, чтобы исправить свою вину, ты все-таки ложись на койку и не разговаривай.

— Да я, Шура...

— Не слушаю. Я отвечаю за тебя, как... фельдшер.

Стоит ли говорить, что я отоспался за все предыдущие ночи. Встал только к ужину.

На палубе было тихо. Пароход стоял в узкой воложке под прикрытием густого ивняка. Плыли густые тучи, как из ведра лил весенний дождик.

Бойцы и команда парохода сидели в кубрике.

— Как, братишка, выспался? — Таким вопросом встретил меня Громыхалов.

Некоторые заулыбались. Кто-то захохотал. Но Громыхалов сразу же оборвал всех:

— Ну вот что. Нечего трепаться. Заткнитесь-ка на минутку! Такие дела: сегодня ночью придется идти ощупью. Без огней.

— Лишь бы сигналы были. Пойдем и без огней, — сказал я.

— В том-то и дело, что нет ни одного бакена. Бандиты всю обстановку сняли. Впереди нас сел на мель пассажирский пароход. Пассажиров ограбили, команду увели в лес.

Мы вышли на фарватер в начале ночи. Темень была такая, что хоть глаз выколи. На всякий случай по бортам парохода стояли матросы с баграми. Шли тихим ходом. Капитан вполголоса передавал мне сигналы наметчика. Опасные места на пути приходилось угадывать бурлацким чутьем.

Так несколько часов шли вслепую. Вдруг справа показался красный огонек. Я налег на колесо штурвала.

— Что делаешь? — услышал я тревожный вопрос капитана.

— Впереди красный. Видишь?

Плюснин, вместо ответа, подал в машинное отделение команду «стоп!» и приказал спустить якорь.

— Может, фальшивый этот бакен, — объяснил он мне. — Надо проверить.

Спустили на воду лодку. В нее село несколько вооруженных винтовками бойцов, пулеметчик с «льюисом» и я с кормовиком. Оттолкнулись от борта и осторожно, чтобы не стучать уключинами, поплыли на красный огонек.

Послышался шум ветра в верхушках деревьев. «Значит, — сообразил я, — где-то близко берег». Вот я достал кормовым веслом дно реки. Красный бакен был поставлен не к правому, как полагается, а к левому берегу. Ориентируясь на него, мы бы неминуемо врезались в яр.

Продолжая плыть, мы попали в освещенный бакеном круг. С берега раздался залп. У меня разбило кормовое весло. Фонарь бакена разлетелся вдребезги, и все погрузилось в темноту. Наш пулеметчик в сторону ружейных выстрелов разрядил целый диск.

Громыхалов чуть не избил пулеметчика, когда мы возвратились на пароход.

— Какого дьявола ты придумал стрелять по бандитам? — ругался Громыхалов. — Пусть бы они считали, что за ними милиция охотится. А ты со своим пулеметом выскочил! Каждому дураку понятно теперь, что это не милиция, а что-то посерьезнее.

— Разве они не знают про наш рейс? — вступился я за пулеметчика. — У них наверняка наблюдатели по берегу. А действовали они по-дурацки, обнаружили себя преждевременно.

— Тоже, адвокат нашелся. Ну, на сей раз прощаю, а в следующий, хоть брат, хоть сват, высажу к чертям на берег за подобные фокусы!

Я снова стал к штурвалу, капитан Плюснин занял свой пост на мостике. Пароход тихим ходом пополз вниз.

Через несколько дней мы выплыли на Каму, миновали Соколки, приближались к Елабуге.

На берегах попадались выжженные дотла деревушки, мертвые трубы заводов. Навстречу шли санитарные пароходы с ранеными. Значит, где-то там, в верховьях Камы, продолжаются тяжелые бои.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД

1

Около Сарапула белые загнали в баржу пленных красноармейцев и неугодных им людей вместе с семьями. Отступая под натиском частей Красной Армии, уничтожали пленных и всех, кто из местного населения попался им на глаза. Было ясно, что заключенным в барже грозит неминуемая гибель. Нас догнал катер с приказом во что бы то ни стало спасти их.

Мы и сами понимали, что опоздай мы на секунду, — палачи сделают свое черное дело.

Пароход шел вверх по Каме самым полным ходом. Из трубы валили густые клубы дыма. Капитан безостановочно приказывал в машинное отделение:

— Нажимай, механик! Самый полный, до отказа!

Крепко вцепившись в штурвальное колесо, я старался вести пароход по прямой линии, не давая ему рыскать в стороны.

С пушки на носу сняли брезентовый чехол. Около нее хлопотали артиллеристы. К пулеметам прильнули пулеметчики.

Пароход трещал по всем швам, звенело броневое железо, быстро-быстро проносились мимо прибрежные кустарники, но нам казалось, что ползем мы по-черепаши.

С характерным шелестом пролетел над нами снаряд и взорвался за кормой, другой снаряд упал рядом с бортом. За деревьями, на берегу, очевидно, расположилась часть белых.

— Лавируй! — приказывал мне капитан. Но как лавировать, если мы еще не у цели, если это снизит быстроту хода. И я не подчинился капитану. Меня поддержал командир.

— Правильно действуешь, братишка! — сказал он. — Двум смертям не бывать, одной не миновать! Проскочим!

Наши артиллеристы стали посылать ответные снаряды. Многие из бойцов затыкали уши паклей. Палуба так тряслась, что трудно было стоять на ногах. Наконец, пушка белых захлебнулась.

Обогнув косу, мы подлетели прямо к черной барже, стоявшей недалеко от правого берега.

— Тихий! Самый тихий! Стоп!

Все ринулись на борт баржи. Трюм был заколочен наглухо. Оттуда слышались гул и удары по бортам.

Бойцы ломami, топорами отдирали пришитый на «баковые» гвозди тяжелый люк.

С боку баржи, на четверть от уровня воды, вылетел обломок баржевой доски. В пробоине показались костлявые руки, послышались стоны задыхающихся в трюме людей.

Через минуту, которая нам казалась часами, бойцы отряда выворотили крышку люка, и вверх на палубу по крутой лестнице стали выходить заключенные: старики с изможденными лицами, женщины с мертвыми детьми на руках. Все в лохмотьях. Некоторые кутались в рваные мочальные рогожи.

Шура, которая первой спустилась в трюм с санитарной сумкой, вывела кверху седого старика. Я заметил, что у него на руке нет одного пальца. Присмотрелся к нему. Старик повернул голову в мою сторону. Из-под нависших бровей сверкнули знакомые черные глаза.

— Дядя Иван? Ты ли это?

Он бессильно опустил на деревянный кнехт.

— Племянник... Сашка, — прошептал он.

Мы хотели перенести старика на носилках. Он жестом руки отстранил санитаров.

— Сам поплетусь. Еще крепкая, небось, станковая жила.

Встал, пошатнулся. К нему подбежала Шура.

— Ты, девка, иди другим помогай, а я сам как-нибудь очухаюсь.

Мы с Шурой, несмотря на протесты, подхватили ста-

рика под руки и осторожно перевели по трапу на пароход. Увидев капитана, дядя поздоровался:

— Здравствуй, Ильич. Принимай гостя.

— Кто такой? — тихо спросил меня Плюснин, но дядя услышал его вопрос и посетовал:

— Эх, кум! Не узнал Ивана Ховрина.

— Иван Филиппович? Вот так встреча! Да как же это тебя так, дорогой мой! Милый ты мой! Айда скорей ко мне в каюту.

Баржу подтянули ближе к берегу. Устроили широкие мостки. И началась высадка с баржи чуть не до смерти истерзанных советских людей...

Из-за косы показалось военное судно. Артиллеристы загнали в орудие снаряд. Командир уже поднял руку, как на мачте неизвестного броневика взвился красный флаг.

— Свои! Товарищи!

Сделав оборот, тяжелое судно тихим ходом подходило к нашему пароходу. На мостике стоял Меркурьев. На корме из-за броневика выглядывал вымазанный в мазуте Андрей Иванович Панин.

— Ну и чертушко! — проговорил кто-то из наших матросов за моей спиной. — Шерсть-то у него растет на одной щеке. Погляди, ус один, а другого нету...

Но мне в эту минуту старый бурлак Андрей Заплатный, мой второй отец, показался самым красивым человеком на свете.

Вспомнилось, как мы с ним во времена керенщины бурлачили на катере в устье Обвы. Мне казалось, что Андрей Иванович вот-вот спросит:

— А что вы тут делаете, бурлаки?

Я крикнул громко:

— Андрей Иванович! Это я — Сашка!

2

Благодаря стараниям Шуры и крепкой бурлацкой натуре дядя Иван ожил на другой же день. Поднялся он в штурвальную рубку, побритый, подтянутый, и давай меня учить речной грамоте.

— Вон, большая коряга на берегу. Там тиховод, а ты идешь по быстрине. И штурвал не надо рвать из стороны

в сторону. У тебя пароход, а не фараонова колесница. Он сам сработает, только дотронься. Если штурвал паровой — не сила нужна, а наука... Так мы с тобой до осени до Перми не доползем.

— В Перми-то еще белые, дядя Иван.

— Значит, надо скорей гнать их из Перми. На нашем пароходе пушка, а у Меркурьева три пушки. Если бабахнуть из всей нашей артиллерии по белякам, они и костей не соберут... Куда правишь! Ослеп, что ли?

После смены вахты дядя рассказал нам с Шурой, как он попал в баржу смерти.

— Когда вы удрали из Строганова, — начал он свой рассказ, — ты, любезный племянничек, даже не пригласил меня, не сказал, что, мол, поедем вместе. Не подумал, небось, что я от самого Ленина награду имею, что белые за такое дело не помилуют.

— Мы не успели, дядя Иван.

— Ладно. Это я так, к слову сказал. Когда вы удрали, мы с теткой Александрой собрали котомочки, да и вон из Строгановской волости. Как пробирались, вам неинтересно. Благополучно добрались до города Сарапула. А родни там, сам знаешь, хоть отбавляй. До апреля лежал в резерве, а одиннадцатого апреля нагрянули в Сарапул эти ироды царя небесного.

— Тетка Александра где?

— Ты не перебивай! Если ты до меня добрался один, так мы с тобой вместе до тетки Александры как-нибудь доберемся... Тетка Александра в Москву улепетнула, когда из Сарапула эвакуировались. А я никуда не поехал. Упрямство нашло, никак свой характер не мог переломить. Обманул тетку-то. Сказал, что выведу со следующим эшелоном. Она и поверила, старая.

В каюте ярко горела электрическая лампочка. Мы стоя слушали рассказ дяди Ивана. Он сидел на койке. На худом лице, обтянутом желтой кожей, по-прежнему молодо горели черные глаза. Говорил он спокойно, с юморком, а Шура, пока дядя рассказывал, несколько раз утирала платочком глаза.

— ...пришли беляки и давай терзать нашего брата. Мне семьдесят годов. Я никогда не судился и в свидетелях не бывал, а они меня в тюрьму засадили! Как это понимать? Показал ихнему начальнику свидетельство, что я личный почетный гражданин. С короной, с орлом

свидетельство. А он хоть бы хны! Зря, говорит, тебе присвоили это звание. Как, спрашиваю, зря? Ты, молодой человек, послужи с мое на пароходах, так матушку-репку запоешь. А ему все равно — нуль внимания на мои заслуги. Посадили в тюрьму. Много нас там было, может, тысячи. Потом перевели на баржу. Темно, сыро, холодно было вначале, а потом стало душно. Неделию сидели без воды, без еды. Стали, больные которые да маленькие, умирать... Своей бы смертью — туда-сюда, а то с голоду в барже. А некоторые с ума сошли... — Он помолчал.

— Когда началась стрельба, — продолжал дядя Иван, — что было — никогда не забыть. Все стали стучать по бортам кулаками, ногами, выломали укосину — откуда и сила взялась.

Дядя Иван повысил голос:

— Ногтями царапали дерево! Зубами грызли!

3

Красные флотилии камских речников вплоть до Перми стали хозяевами на Каме. Были закрыты все переправы через реку на левый берег, куда хотели попасть белые банды, чтобы выйти на железнодорожные магистрали. Их полчища устремились к железнодорожному мосту — единственному их спасению. Часть белых сумела все-таки перекатиться в Пермь. Но «хвост» этот был отрезан и уничтожен Красной Армией.

Отступающий зверь огрызался жестоко. С правого берега по нашему пароходу били пулеметы, кругом рвались снаряды, со свистом проносились в воздухе горячие осколки, звенели броневые листы. Содрогался пароход и от выстрелов своего орудия. Давно уже были снесены обе мачты, в корпусе зияло несколько пробоин.

Широкая река давала возможность делать резкие повороты и сбивать с толку вражеских наблюдателей и наводчиков. Капитан Плюснин стоял рядом со мной и в трудных случаях сам брался за колесо штурвала.

Приближался город. Когда в орудийном дыму уже замаячило кружево железнодорожного моста, почти под самым носом парохода я увидел круглый предмет. Мелькнула догадка: «Мина!».

Крикнув в машинное отделение «стоп», я резко повернул пароход в сторону, с большим креном. Мина про-

плыла мимо. А ведь ниже по течению тоже наши суда. Пришлось спускать лодку, вытаскивать мину на берег и расстреливать из орудия.

Мы уже подходили к железнодорожному мосту, как вдруг одна из крайних ферм приподнялась кверху и рухнула в реку. Раздался грохот взрыва. На реке разыгралась волна.

В рубку поднялся дядя Иван.

— Что случилось?

— Белые мост взорвали! — с болью в голосе ответил я.

Красные части подошли к реке, и заговорили наши орудия. Снаряды рвались где-то за городом, на железной дороге. Там вспыхнули пожары.

— Так их! Так! — кричал дядя Иван. — Чтобы ни одной гадины не ушло из города.

Пройдя мост, мы заметили, как с правого берега белые солдаты сталкивают в воду лодки. Наши пулеметчики открыли огонь.

Через минуту на приплеске остались одни только группы.

Мы тихим ходом подходили к правому берегу. Из-за домов закамского поселка вылетели кавалеристы. Они прямо с хода соскакивали с лошадей, бросались в лодки и отталкивались от берега.

— Это наши! — радостно кричал дядя Иван. — Видишь, красное знамя.

Плюснин дал команду:

— Стоп, машина!

Пароход по инерции прошел еще несколько сажен и остановился. Пропустив лодки, мы снова пошли вверх по реке, обстреливая из орудия отступающие по железной дороге белые эшелоны.

Из-за Гайвинских островов навстречу вылетел моторный катер. Человек, сидевший на носу, махал флагом. Мы замедлили ход, катер подошел к борту.

— Белые из баков выпускают мазут, — кричали нам с катера, — а устье Чусовой забито пароходами!

Плюснин, срывая голос, scomандовал механику:

— Самый полный!

Удары колесных плиц слились в общий гул. Уже не от орудийных выстрелов, а от бешеной работы машины содрогалась палуба.

Катер, оторвавшись от нас, быстро помчался вперед, оставляя за собою крутые валы. На секунду он скрылся за приверхом острова, потом светлой точкой замелькал на широком плесе Камы.

— Вот бы нам такую скорость!

Выплыла Белая гора — первый отрог родного Урала. Ниже, в устье реки Чусовой, — сплошной лес мачт камских пароходов, а выше — огромные баки, хранилище горючего.

Верховой ветерок донес запах нефти.

Мы мчались напрямик к устью. Но не успели дойти до каравана. К небу взметнулось пламя, и черный дым закрыл солнце. Белые подожгли выпущенный мазут. Огненная лавина горячей нефти поплыла по Чусовой. И запылали речные красавцы пароходы.

Не сломили дядю Ивана ни белогвардейский застенок, ни баржа смерти, но, когда он увидел объятый пламенем пароход, на котором прослужил чуть ли не всю жизнь, не выдержало сердце старого бурлака. На глаза у него навернулись крупные слезы.

От горящего каравана отделились три пассажирских парохода и выплыли на Каму. Огонь настигал их.

Плюснин, стиснув зубы, приказал мне править в сторону пароходов. С риском сгореть самим мы взяли их на буксир и вывели к правому берегу на безопасное место.

Больше суток плыл страшный пожар в устье уральской реки Чусовой. Потушить его было невозможно.

4

В тот самый день, когда догорал речной флот Камы, мы проводили отряд речников на фронт добывать белую армию адмирала Колчака. С ними уехала и моя Шура. А меня на фронт непустили. Панин заявил начальству, что я когда-то пробовал стать водолазом и самостоятельно спускался в воду. И на меня, не спрашивая, желаю я или не желаю, надели водолазный скафандр. Надо было поднимать со дна реки утопленные белыми камские баржи и пароходы, восстанавливать разрушенное войной речное хозяйство.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга первая

На бурлацкой каторге

Глава I. Чужая сторона	7
Глава II. На карчеподъемнице	36
Глава III. С работы на работу	61
Глава IV. Конец бурлачества	99

Книга вторая

Красногвардейская атака

Глава I. Речная пехота	127
Глава II. Наступление	145
Глава III. Земля-матушка	163
Глава IV. Учебный батальон	180
Глава V. Враг перевалил через Уральские горы	200

Книга третья

Путь к Уралу

Глава I. Эвакуация	213
Глава II. Партизанский отряд	228
Глава III. Разгром белогвардейского полка	239
Глава IV. Путь к Уралу	243
Глава V. Последний рейд	255

**Александр Николаевич
Спешилов**

БУРЛАКИ

Редактор *С. М. Гинц*, Художествен-
ный редактор *М. В. Тарасова*. Тех-
нический редактор *Л. К. Крамаренко*.
Корректор *Е. П. Божанова*.

Сдано в набор 9.XII.1966 г.

Подписано в печать 3.II.1967 г.

Формат 84×108^{1/2}. Тип. бум. № 2. Бум. л. 4,125.

печ. л. 8,25 (усл.-прив. л. 13,86), уч.-изд. л. 13,77.

ЛБ02047

Тираж 30 000 экз.

Цена 55 коп.

Пермское книжное издательство.

г. Пермь, Карла Маркса, 30.

Книжная типография № 2 управления по печати.

г. Пермь, Коммунистическая, 57. Зак. 2206.